

Черновик 20 века.

Книга вторая

Варвара Романова

Черновик 20-го века. Книга вторая.

«Автор»
2026

Романова В.

Черновик 20-го века. Книга вторая. / В. Романова — «Автор», 2026

«Вернёте Яшу живым — тогда поверю каждому вашему слову».В Москве сорок четвёртого года до отравления вождя и сдачи страны врагу остаётся трое суток. Чтобы остановить заговор Берии и предотвратить будущий распад Союза в девяносто первом, Кире и Андрею предстоит совершить невозможное: провалиться на хроноприборе в март сорок третьего, выкрасть из фашистского лагеря старшего сына Сталина и успеть вернуться обратно. С собой у них — только отчаянная решимость, старая гимнастёрка, припасённая на Мясницкой, и исписанная от руки тетрадь, способная изменить ход всего двадцатого века.Это вторая книга цикла:"Черновик 20-го века"

© Романова В., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 51
Глава 3 97

Варвара Романова
Черновик 20-го века. Книга вторая.

Глава 1

Глава первая, в которой в холодном Смольном заключают сделку с вечностью, а двое пришельцев находят в себе чужую память

В феврале восемнадцатого года Петроград стоял заиндевелый, строгий и неузнаваемо тихий, словно огромный гранитный корабль, вышедший из жестокого шторма на ровную, глубокую воду. Не было на Невском ни погромных костров, ни голодного воя, ни озверелых патрулей, срывающих с прохожих шубы. Новая власть, с первых же дней пошедшая по мудрой, гибкой колее — оставив за собой банки, заводы-гиганты и железные дороги, но не тронув ни лавочника, ни ремесленника, ни крепкого пахаря, — сумела удержать страну на краю бездны. По торцовым мостовым деловито цокали копытами извозчичьи рысаки, в витринах кондитерских уже снова зажигались тёплые жёлтые огни, а над всем этим притихшим, работящим городом гудел студёный балтийский ветер.

В один из таких морозных вечеров к величественному бело-голубому фасаду бывшего Смольного института благородных девиц, где по обе стороны парадного подъезда дымили два небольших костра, у которых грелись красногвардейцы в тулупах с винтовками на ремне, подкатили лёгкие сани. Из них, поправляя сбившееся пенсне и прижимая к груди потёртый кожаный саквояж, вышел высокий, худощавый господин в бобровой шапке и длинной шубе — Андрей Викентьевич Целовский.

Узнав о том, что Россия избежала кровавой смуты и встала на невиданный доселе путь разумного созидания, московский чудак-изобретатель не усидел в благополучном Цюрихе. Свернув свою швейцарскую лабораторию, он первым же поездом через Швецию и Финляндию вернулся на родину — и не успел ещё толком разобрать чемоданы в своей квартире на Мясницкой, как получил из Петрограда короткую, но настоятельную телеграмму за подписью Председателя Совнаркома.

Пройдя по длинным, гулким, пахнущим карболкой, махоркой и мокрыми шинелями коридорам Смольного, мимо спешащих курьеров с портфелями и грохочущих за дверями пишущих машинок, Целовский поднялся на второй этаж. Секретарь, сверившись со списком, молча распахнул перед ним белую филёнчатую дверь.

Кабинет Владимира Ильича оказался на удивление скромным: простой письменный стол, заваленный газетами, декретами и гранками, жёсткие венские стулья, большая карта России на стене, испещрённая цветными карандашными пометками, да старенький кожаный диван у перегородки. Едва Целовский переступил порог, навстречу ему из-за стола стремительно поднялся сам Ленин — в неизменном тёмном костюме-тройке, с живым, быстрым блеском прищуренных глаз.

— А, батенька мой! Андрей Викентьевич! Наконец-то явились! — воскликнул Владимир Ильич с тем характерным, энергичным грассированием, в котором слышалась неподдельная радость. Он крепко тряхнул руку учёного и усадил его в кресло у стола. — Слышал, слышал о вашем возвращении! И весьма рад, что не остались в швейцарском болоте. Ну-с, признавайтесь сразу: саквояж-то тот самый привезли?

Целовский смущённо кашлянул, погладил бородку клинышком и похлопал ладонью по тугой коже саквояжа:

— Тот самый, Владимир Ильич. Усовершенствованный. В Цюрихе я почти довёл до совершенства калибровочный лимб. Теперь я могу отправлять материальные тела в любую точку грядущего столетия без прежних сбоев. Готов поставить сие открытие на службу новой России!

Ленин вдруг перестал улыбаться. Он опустился на свой жёсткий стул, сцепил пальцы на столе и долго, пристально смотрел на изобретателя тем пронзительным, тяжёлым взглядом, от которого у видавших виды комиссаров порой холодело под ложечкой.

— На службу России, говорите? — тихо и веско переспросил он. — А вы подумали, батенька, что случится с нашей Россией, ежели мы оставим эту вашу калиточку в будущее открытой?

Целовский растерянно моргнул за стёклами пенсне:

— Помилуйте, Владимир Ильич, но ведь наука... Мы сможем заглядывать вперёд, избегать ошибок, заимствовать передовые технологии...

— И тем самым в два счёта свернём себе шею! — отрезал Ленин, стукнув ребром ладони по столу. Он подался вперёд, понизив голос почти до шёпота, словно опасаясь, что даже стены старого института могут подслушать эту тайну: — Послушайте меня внимательно, Андрей Викентьевич. Вы человек умный, физик, а я — политик и практик. Я своими глазами видел в цюрихской гостиной, как из воздуха вывалились гости из девяносто второго года. И я своими глазами прочёл тетрадь милой Киры. Мы сейчас с вами получили величайший, неслыханный в истории шанс — построить могучую, справедливую, богатую державу без братоубийственной бойни. Конструкция эта сейчас — тоньше паутины! Любой неосторожный шаг, любой новый «путешественник» из грядущего, который сунется сюда со своими советами, или, упаси бог, какой-нибудь авантюрист, который проберётся к вашему прибору, — и вся наша новая история рассыплется в прах! Река времени снова сорвётся в кровавый омут!

В кабинете Смольного повисла тишина, нарушаемая лишь тихим потрескиванием дров в белой изразцовой печи да глухим стуком часового за дверью.

Целовский медленно опустил голову, глядя на свой кожаный саквояж. В памяти его вдруг всплыли его собственные слова, сказанные когда-то Кире на цюрихской набережной: о том, что реку времени нельзя поворачивать вспять по прихоти человека, ибо история беспощадно карает дерзких экспериментаторов.

— Выходит... вы предлагаете закрыть проект? — глухо спросил учёный.

— Не просто закрыть, Андрей Викентьевич, — мягче, с той особой, убеждающей теплотой, перед которой не мог устоять ни один собеседник, ответил Ленин. — Мы заключим с вами государственный договор. Вы собственными руками разберёте ваш хроно-излучатель и уничтожите все калибровочные таблицы, чтобы ни у одной живой души не осталось соблазна дёргать судьбу за хвост. А взамен... Взамен Советское правительство сегодня же подпишет декрет об основании в Москве Государственного института квантовой оптики и энергетики под вашим бессменным руководством! Направляйте ваш гениальный рубиновый луч не в прошлое и не в будущее, а сюда, в настоящее! Дайте стране невиданную связь, новые станки, чистую энергию, лазерную хирургию! Сделайте так, чтобы через семьдесят лет наша Россия сияла, как алмаз!

Целовский поднял глаза. Лицо его просветлело, в серых глазах вспыхнул знакомый лихорадочный, творческий огонь — но теперь в нём не было прежней тревоги за сломанные судьбы.

— По рукам, Владимир Ильич! — твёрдо произнёс изобретатель, протягивая руку через стол. — Слово русского физика: ни один луч больше не пробьёт завесу времени. Мы построим будущее своими руками, здесь и сейчас.

Сделка была скреплена в тот же вечер. Вернувшись в Москву, Андрей Викентьевич Целовский честно выполнил обещание: он разобрал цюрихский прототип до последнего винтика, сжёг в камине тетради с расчётами временных контуров и наложил негласный, священ-

ный запрет на любые опыты со временем. Основанный им институт за несколько десятилетий преобразил облик страны, подарив миру чудеса квантовой оптики и чистой энергетики, а о «цюрихском эксперименте» в семье академика Целовского-младшего сохранилась лишь полузабытая домашняя легенда.

И никто в этом новом, сияющем и безупречном мире не подозревал, что спустя семьдесят четыре года тишину Москвы всё-таки прорежет запретный рубиновый луч — потому что из исчезнувшей, горькой реальности в этот рай вернулись двое, принеся с собой последний, чужеродный хроно-резонатор.

На следующий день после возвращения в обновлённую Москву 1992 года Кира и Андрей сидели в просторной, залитой утренним солнцем гостиной её новой квартиры на Ломоносовском проспекте. За окном шумели широкие, утопающие в зелени проспекты незнакомой, процветающей столицы, но внутри комнаты царила напряжённая, почти звенящая тишина.

На полированном ореховом столе перед ними лежали две стопки документов: их собственные потрёпанные паспорта, с которыми они шагнули из старой реальности, и безупречно оформленные удостоверения этого нового мира — с дипломными корочками МГУ, пропусками в закрытые академические институты и свежими американскими визами.

— Я никак не могу уложить это в голове, Андрей, — тихо проговорила Кира, прижимая ладони к вискам. — Куда делись *me* Кира и Андрей, которые жили здесь до вчерашнего вечера? Мы ведь не могли просто вытолкнуть их в небытие, правда?

Андрей устало потёр переносицу и подошёл к окну, задумчиво глядя на бесшумно скользящие внизу элегантные автомобили.

— Я всю ночь думал об этом, опираясь на записи старого Целовского, — глухо ответил он. — Похоже, сработал закон сохранения личности, своего рода квантовая склейка. Во Вселенной не может существовать двух абсолютно тождественных сознаний в одной точке пространства-времени. Когда наш луч замкнул контур, наши с тобой личности не уничтожили местных двойников, а слились с ними, поглотили их, как река поглощает ручей. Для всего остального мира мы никуда не исчезали: вчера вечером младший научный сотрудник Кира Навроцкая и лаборант Андрей Громов просто вернулись домой, слегка утомлённые после работы. Само Время сгладило швы, чтобы не допустить логического разрыва.

— Значит, их память теперь внутри нас... — прошептала Кира и с внезапной тревогой потянулась к толстому кожаному фотоальбому, стоявшему на книжной полке.

Едва её пальцы коснулись тиснёного переплёта, в голове словно прорвало невидимую плотину. На неё хлынул мощный, но странно плоский поток чужих воспоминаний — будто она за одну секунду просмотрела длинный документальный фильм о жизни другой женщины, носившей её имя.

Кира открыла альбом, и перед глазами ожила новая, блестящая хроника рода Навроцких. Вот на пожелтевшем снимке двадцатых годов её прадед Николай Андреевич стоит в Нью-Йорке рядом с легендарным авиаконструктором Игорем Сикорским у первых опытных образцов летающих лодок. В памяти тут же всплыли семейные рассказы, которые в этом мире ей с детства пересказывала бабушка Алевтина: о том, как прадед, послушав совета «ростовской кузины», вложил весь вывезенный из Швейцарии капитал в зарождающуюся американскую авиацию; как в тридцатые годы, когда в Америке бушевала депрессия, компания Навроцкого устояла благодаря государственным заказам и поддерживала русскую эмиграцию. В альбоме бережно хранилась программка концерта в Карнеги-холле с дарственной надписью Сергея Васильевича Рахманинова — великому композитору прадед не раз помогал деньгами и устраивал гастроли, а в сорок четвертом году семья Навроцких на собственные средства построила и передала союзникам тяжёлый бомбардировщик для открытия второго фронта.

Кира перевернула страницу, и сердце её болезненно сжалось. Со следующей фотографии на неё смотрели красивые, счастливые молодые люди: её отец Сергей, сын Алевтины, приехавший в шестидесятые годы в открытую, процветающую Россию как представитель семейного авиационного концерна, и её мама — талантливый московский математик. В этой реальности отец не бросил семью; они с матерью построили в Москве совместное русско-американское конструкторское бюро, и Кира выросла в любви, достатке и окружении книг.

Но чем дальше она листала альбом, тем яснее видела неумолимый закон сохранения судьбы. Время не отменило её потерь, лишь сменило декорации. В памяти всплыла страшная осенняя телеграмма: когда Кире исполнилось семнадцать, её родители погибли при испытательном полёте нового трансатлантического лайнера. Бабушка Алевтина звала её в Нью-Йорк, но упрямая Кира осталась в Москве, с отличием окончила мехмат МГУ, устроилась в Институт прикладной математики и по вечерам играла на рояле в Доме учёных. Даже тяжёлая болезнь в юности и трусливый побег бывшего мужа Вадима повторились здесь почти точь-в-точь — разве что лечили её лучшие врачи, а за спиной стояла поддержка могущественного клана.

Кира закрыла альбом и подняла на Андрея растерянные, полные странной тоски глаза.

— Я всё это помню, Андрей... — тихо сказала она. — Помню, как мы с отцом запускали модели планеров на Воробьёвых горах, помню лекции на мехмате, помню шифр от институтской библиотеки. Но эти воспоминания какие-то... картонные, как раскрашенная открытка. А вот наша старая тесная кухня, где мы с бедной, уставшей бабушкой Алевтиной лепили пельмени, и холодный вечер у стены Цоя — это болит по-настоящему. Это моё.

Андрей подошёл, присел на край кресла и крепко сжал её холодные пальцы.

— У меня то же самое, Кира, — глухо признался он. — Я помню, как защищал диплом в Институте квантовой оптики имени Целовского, знаю имена всех коллег и расположение корпусов. Но внутри я всё равно тот самый парень из нищего девяносто второго, который паял резонатор на кухонном столе под борщ деда Варфоломея. Мы — чужеродные вкрапления в этом гладком мире. И что хуже всего — я не знаю, долго ли он будет терпеть нас такими.

Едва Андрей договорил, в прихожей зазвонил телефон. Кира вздрогнула и сняла трубку, услышав в мембране далекий, но удивительно бодрый голос с легким американским акцентом — звонили из Нью-Йорка.

— Кирочка, детка, я не разбудила тебя? — защебетала пожилая Алевтина Навроцкая. — У меня совершенно невероятная новость! Ко мне на Пятую авеню приезжали представители самого Фрэнсиса Форда Копполы. Они затевают в Москве грандиозную экранизацию «Войны и мира» и умоляют меня стать главным консультантом по старинному русскому быту и дворянскому этикету! Я уже почти согласилась, представляешь? На следующей неделе, если врачи разрешат перелет, я вылетаю в Москву! Наконец-то обниму тебя и познакомлюсь с твоим Андреем!

Положив трубку, Кира растерянно посмотрела на Андрея. В этом новом мире жизнь сама стягивала вокруг них невидимые нити, связывая прошлое и настоящее в один тугой узел.

Глава вторая, в которой на стерильном Арбате гремит запретный рок-н-ролл, «Вершина» срывает овации, а потомки жандармов попадают в околоток

Тоска по утраченному черновику жизни оказалась штукой до того едкой, что уже через три дня Андрей не выдержал. Ему до смерти осточертели чинные академические коридоры, вежливые разговоры о симфонических вечерах в Консерватории и пресная, безупречная скука этого благополучного мира, где даже уличные музыканты играли по нотам с печатью городской управы.

— Знаешь, Кира, если этот мир не знает ни Цоя, ни «Наутилуса», ни настоящего Высоцкого, мы ему их подарим! — заявил он однажды вечером, горящими глазами глядя на свой старый электронный синтезатор в углу комнаты. — Хватит ходить по струнке! Вспомним молодость!

Сказано — сделано. На другой день в перерыве между опытами Андрей обшарил лаборатории своего Института квантовой оптики и в два счёта сколотил подпольную музыкальную артель из троих таких же заскучавших молодых аспирантов: длинноволосого теоретического физика Пашки, лихо терзавшего контрабас в институтском оркестре, очкарика-электронщика Сени и ударника-лаборанта Митьки, который с первого раза уловил непривычный, рваный ритм.

По вечерам, заперевшись в пустой актовой зале института, они устроили настоящую репетиционную базу. Кира, с радостью сбросив с себя маску солидной сотрудницы Академии наук, села за клавиши, а Андрей взял в руки переделанную под электрогитару акустику. По крупицам, строчка за строчкой, они восстанавливали из своей «старой» памяти то, чего в этом сытом, спокойном мире никогда не существовало: чеканный, шагающий ритм «Группы крови» Виктора Цоя, надрывный, гипнотический марш «Скованных одной цепью» Вячеслава Бутусова и щемящее, ироничное «Прощальное письмо» — то самое «Гудбай, Америка, о-о, где я не буду никогда...». А напоследок Андрей вывел хриплыми, тугими аккордами суровую балладу Владимира Высоцкого о горах и высоте — в этом мире благополучный народный артист Высоцкий ставил спектакли на Таганке и писал изящные театральные куплеты, даже не подозревая о том, какие песни пел его двойник в другой реальности.

Для благовоспитанных советских аспирантов эти тексты звучали как дикая, немыслимая ересь: о каких цепях, о какой войне и о каком прощании с Америкой идёт речь, когда за окном сияет мир, достаток и дружба народов?! Но в самой музыке билась такая живая, неукротимая сила, что к пятнице вся четвёрка загорелась желанием выйти на люди.

В субботний вечер, прихватив переносные усилители на аккумуляторах, компания выгрузилась аккурат посреди Старого Арбата — напротив той самой гладко оштукатуренной стены, где в прежней реальности чернели надписи поклонников Цоя.

Не спрашивая ни у кого дозволения, Митька ударил по тарелкам, Сеня вывел тяжелый, рокочущий бас, пальцы Киры побежали по клавишам, а Андрей шагнул к микрофону и во всю мощь лёгких грянул:

— Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве!..

А следом, не давая публике опомниться, ударил по струнам жёстким, рубленым ритмом «Наутилуса»:

— Скованные одной цепью, связанные одной целью!..

Эффект оказался ошеломляющим. Прохожие на чинном европейском бульваре замерли как вкопанные. Уличный скрипач в накрахмаленной манишке, игравший в двадцати шагах менуэт Боккерини, так дёрнул смычком, что порвал струну. Пожилые дамы в шляпках в ужасе прижали руки к груди, солидные господа в котелках и галстуках вытаращили глаза, не понимая, на каком наречии кричат эти безумцы. А когда Андрей, поймав кураж, перешёл на «Прощальное письмо» и с отчаянным надрывом запел: *«Гудбай, Америка, о-о, где я не буду никогда...»*, — вокруг собралась огромная, ошалевшая толпа, а какой-то интурист в клетчатом пиджаке испуганно замахал руками, приняв песню за антиамериканский митинг.

Видя растерянность публики, Андрей хитро подмигнул Кире, перехватил гитару поудобнее и ударил по струнам стремительным, тревожным боем:

— Здесь вам не равнина, здесь климат иной —

Идут лавины одна за одной,

И здесь за камнепадом ревёт камнепад...

И тут произошло настоящее чудо. Едва над вечерним Арбатом зазвучали эти чеканные, полные ветра, риска и мужского братства строки «Вершины» Высоцкого, недоумение на лицах прохожих мгновенно сменилось заворожённым восторгом. В сытой, размеренной, лишённой великих потрясений жизни этим людям мучительно не хватало именно такой высоты, такого чистого, сурового порыва, от которого захватывает дух.

Когда Андрей, вложив в голос всю душу, закончил последнюю строфу и замер последний аккорд, над Арбатом на секунду повисла звенящая тишина — а затем площадь взорвалась настоящим фурором.

— Браво! — кричали солидные господа, срывая с голов котелки и шляпы.

— Ещё раз! Просим на бис! Спойте про горы ещё раз! — скандировали студенты и барышни, неистово аплодируя и бросая к ногам музыкантов цветы, купленные у арбатских цветочниц.

Сияющие Кира и Андрей переглянулись и, подхваченные всеобщим ликованием, грянули «Вершину» во второй раз, а толпа вокруг уже вовсю подпевала припеву, притопывая в такт на безупречной брусчатке.

Именно в этот разгар всеобщего триумфа из переулка с мелодичным, вежливым перезвоном подкатил сияющий лаком автомобиль городской полиции — в этом мире стражи порядка носили тёмно-синие мундиры с серебряным шитьём и назывались на старинный манер городовыми и приставами.

Двое рослых, безупречно вежливых полицейских с белыми перчатками с трудом протиснулись сквозь плотное кольцо восторженных зрителей, выключили усилитель и с выражением крайнего недоумения воззрились на взъерошенного Андрея и раскрасневшуюся от счастья Киру.

— Господа хорошие, — строго, но учтиво произнёс усатый пристав, под гул неодобрения публики. — Позвольте поинтересоваться: на каком основании вы устраиваете несанкционированное народное гуляние в неустановленном месте и исполняете произведения, не прошедшие регистрацию в Музыкальном обществе? И что это, позвольте спросить, были за подозрительные призывы насчёт Америки и каких-то цепей перед тем, как вы запели про альпинистов?

— Это искусство, господин пристав! — весело крикнул Андрей, чувствуя, как впервые за эти дни в груди разливается настоящее, живое тепло. — Рок-н-ролл! Голос поколения!

— Вот в участке мы и разберёмся, какого именно поколения сей голос, — вздохнул пристав и, невзирая на уговоры публики отпустить талантливых артистов, вежливо попросил всю компанию проследовать в экипаж.

В светлом, пахнущем свежей краской и хорошим табаком дежурном отделении Арбатской части, куда доставили всю рок-группу в полном составе вместе с контрабасом и синтезатором, царил полный переполох. Пожилой околоточный надзиратель в очках долго переписывал в журнал паспорта задержанных, качая головой при виде академических пропусков Института квантовой оптики и МГУ, и с недоумением перечитывал записанные со слов Андрея строчки про «группу крови на рукаве».

— Учёные люди, а ведёте себя хуже футуристов четырнадцатого года! — ворчал надзиратель, но без злобы — в этом благополучном мире серьёзных преступлений почти не случалось, и выходка молодых физиков стала для отделения настоящим развлечением.

Отделались они лёгким штрафом за нарушение тишины и торжественным обещанием впредь петь исключительно в стенах институтского клуба. Но когда глубокой ночью Кира и Андрей вышли из дверей полицейского участка на прохладный ночной Арбат, волоча за собой синтезатор, оба они смеялись так звонко и счастливо, как не смеялись с самого возвращения

из Цюриха. Впервые за всё время они почувствовали, что даже в этом выглаженном, чужом раю можно оставаться самими собой.

Глава третья, в которой фамильный сундук уходит с молотка в Атлантик-Сити, в Вашингтоне двое циников придумывают троянского коня, а в Калифорнии синьор Коппола собирает голливудскую армию

Всякая достойная и славная фамилия, сколь бы высоко ни вознесла её судьба, рано или поздно обзаводится собственной паршивой овцой — и могучий американский клан Навроцких не стал в этом смысле исключением.

В то время как старшая дочь Николая Андреевича, красавица Алевтина, преумножала славу отцовского авиационного дела, блистала в нью-йоркских благотворительных обществах и бережно хранила память о старой Москве, её младший брат, родившийся уже за океаном и крещённый Максимом, удался в совершенно иную породу. С малых лет Максим Николаевич питался не любовью к чертежам и аэропланам, а жгучей, лихорадочной страстью к зелёному сукну игорных домов и скаковому тотализатору.

После кончины старика Николая Андреевича в середине пятидесятых годов Максим, получив свою долю наследства, спустил её на бирже и в рулетку Атлантик-Сити с той лихой, бесшабашной скоростью, с какой проматывают состояния лишь русские повесы, оторванные от родной почвы. Оказавшись к началу девяностых годов по уши в долгах у сомнительных кредиторов, постаревший, обрюзгший Максим втайне от сестры Алевтины забрался на чердак старого фамильного особняка в Коннектикуте и выволок оттуда тяжёлый, окованный потемневшей медью дорожный сундук, с которым их семья когда-то бежала из Москвы в четырнадцатом году.

Не утруждая себя разбором пожелтевших от времени бумаг, Максим сбыл весь сундук со старыми фотографиями, квитанциями швейцарских банков и семейными дневниками заезжему перекупщику антиквариата за жалкие три тысячи долларов — аккурат на одну вечернюю ставку в блэкджек.

Так бы и сгинули эти реликвии в частных коллекциях, если бы осенью девяносто второго года перекупщик не попался на крупной контрабанде старинного русского серебра и редких икон. При обыске на его складе в Нью-Джерси агенты Федерального бюро расследований конфисковали весь товар, включая и медный сундук Навроцких.

Когда пыльные папки передали для описи в аналитический отдел в Вашингтоне, скучающий эксперт-архивист, владеющий русским языком, наткнулся на самом дне сундука на толстую кожаную тетрадь с серебряным замочком. Раскрыв её, он сперва принял записи за черновик какого-то дореволюционного фантастического романа, но уже через полчаса, бледный и взъерошенный, бежал по коридору в кабинет начальника специального отдела.

Каллиграфическим, бисерным почерком купца Николая Андреевича в тетради были зафиксированы июньские беседы 1914 года с таинственной «гостьей из 1992 года» по имени Кира. Там были и точные даты будущих мировых потрясений, и расчёты по развитию авиации, и упоминания о секретном письме, заложенном в депозитную ячейку Московского Главпочтамта, и — самое главное — наброски схем портативного рубинового излучателя физика Целовского, способного пронзать толщу времени!

В закрытом кабинете на Пенсильвания-авеню, где воздух, казалось, был насквозь пропитан казённой тайной, крепчайшим чёрным кофе и холодным, как лезвие бритвы, расчётом, за длинным столом, заваленным спутниковыми снимками Москвы и фотокопиями тетради купца Навроцкого, восседали двое: Маркус Торн и Саймон Грей.

Следует заметить, что оба принадлежали к той редкой и неприятной породе людей, которых во всех разведках мира держат для самых деликатных и беспощадных поручений. Маркус

Торн, выпускник Гарварда с пятнадцатилетним стажем тайных игр в Восточной Европе, изъяснялся по-русски так чисто и сочно, что любой московский профессор филологии прослезился бы от умиления. Он мог по памяти цитировать Толстого и Достоевского, но смотрел на человеческие души исключительно как на вскрытые консервные банки. Его напарник, Саймон Грей — поджарый, жилистый технарь с повадками степного волка, перекочевавший в полевой отдел спецопераций из закрытых оборонных лабораторий, — искренне презирал всякую гуманитарную лирику и верил лишь в три вещи на свете: в безотказность приборов, в хруст купюр и в бесшумный пистолет с глушителем.

— Вломиться в Москву с группой захвата мы не сможем, Саймон, — глухо произнёс Торн, брезгливо листая фотокопию дневника четырнадцатого года. — Нынешняя Россия — не расхлябанная страна, а перекормленная, зубастая держава с дьявольски цепкой контрразведкой. Любой наш боевик под видом дипломата или торговца окажется под колпаком в первую же минуту, не успев даже распаковать чемодан.

— Значит, подарим им пышный балаган, Маркус, — холодно усмехнулся Грей, постукивая карандашом по спутниковому снимку центра Москвы. — Мне плевать, под каким соусом мы туда зайдём. Мне нужен этот русский прибор. Ежели этот полоумный Целовский ещё в четырнадцатом году научился резать пространство рубиновым лучом, а его девчонка перекроила историю целой империи, мы обязаны утащить технологию в Лэнгли. Представь, что мы сотворим, когда получим доступ к временному контуру!

— Оставь бредни о мировом господстве для отчётов начальству, — цинично скривил губы Торн. — Сначала надо подобраться к объекту на расстояние вытянутой руки так, чтобы русские сами распахнули перед нами ворота и пропустили в центр города фуры с твоими пеленгаторами. И я знаю, как это устроить. Нам нужно великое, шумное искусство. Голливуд.

Грей недоверчиво прищурился:

— Ты на старости лет решил заделаться в продюсеры?

— Ни больше ни меньше, — улыбнулся одними губами Торн. — Мы учредим подставную компанию «Атлантик-Пикчерз», прогоним через швейцарские банки восемьдесят миллионов долларов и предложим лучшему режиссёру Америки снять новую, невиданную по размаху экранизацию толстовской «Войны и мира» на подлинной русской натуре.

— Крупный художник сразу почует фальшь, коли ему начнут диктовать условия, — буркнул Грей.

— А мы не станем диктовать! — парировал Торн. — Мы сыграем на его главном тщеславии. Нам нужен Фрэнсис Форд Коппола. После двух «Крёстных отцов» и «Апокалипсиса» он бредит грандиозными историческими полотнами. Ежели подкинуть ему готовый сценарий, пообещать полную творческую свободу и ни цента не пожалеть на массовку и пушки, этот шумный итальянский вулканический гений сам понесётся в Москву на всех парусах! А мы поедем в его свите: я — как исполнительный продюсер по связям с русскими властями, а ты — как главный инженер по лазерным спецэффектам. Внутри твоих кофров с софитами мы провезём в Москву квантовые пеленгаторы и уловим след прибора сквозь любые кирпичные стены.

Адская машина закрутилась с точностью швейцарского хронометра. Спустя неделю в солнечной долине Напа в Калифорнии, где в своём роскошном поместье среди виноградников Фрэнсис Форд Коппола лениво листал присланные студиями бездарные сценарии, попивая собственное каберне, раздался телефонный звонок от старого, проверенного голливудского агента, которого ФБР втёмную использовало как приманку.

На следующий день в калифорнийское поместье пожаловали двое респектабельных господ в безупречных костюмах — якобы представители европейского культурного фонда и новой независимой студии «Атлантик-Пикчерз». Они положили на дубовый стол перед режиссёром пухлую папку в тиснёном переплёте и чек с таким неприличным количеством нулей, что у

бывалого маэстро, привыкшего вечно выбивать гроши у жадных студийных боссов, перехватило дыхание.

— Синьор Коппола, — вкрадчиво запел Маркус Торн, пока режиссёр недоверчиво вертел в пухлых пальцах незажжённую сигару. — В девяносто втором году исполняется сто восемьдесят лет Бородинскому сражению. Россия сегодня открыта миру как никогда. Никто в истории кино не снимал Толстого с тем эпическим, шекспировским трагизмом, на который способны только вы. Никаких фанерных декораций в Италии, как у Кинга Видора в пятьдесят шестом! Только подлинные московские усадьбы, настоящие русские гусары и бескрайние поля под Москвой.

Коппола сперва хмурился, сопел, качал бородатой головой и ворчал, что сыт по горло историческими баталиями и комарами на натуре. Но стоило ему вечером, оставшись в одиночестве на веранде с бокалом густого красного вина, раскрыть привезённый сценарий и перечитать несколько глав старого томика Толстого, как его горячая итальянская кровь мгновенно вскипела, словно молодое вино в бочке.

— *Madonna mia...* — прошептал он, вскакивая из плетёного кресла и начиная стремительно мерить шагами террасу. — *Che tragedia! Che grandezza!* Какой размах!

В его распалённом воображении уже вспыхивали грандиозные, ослепительные картины, от которых захватывало дух. Он видел не просто пышный костюмированный маскарад, а трагедию целого поколения, затянутого в кровавую воронку истории.

— Я сниму это не как открытку, нет! *Mai!* — бормотал маэстро, размахивая руками в темноте калифорнийской ночи, точно дирижёр перед невидимым оркестром. — Первый бал Наташи Ростовой — это должен быть *un sogno*, золотой сон, где камера кружится в вальсе так, чтобы у зрителя в зале закружилась голова! А потом — *il fuoco!* Пожар Москвы! Багровое небо, рушащиеся стропила, раненый Андрей Болконский, глядящий в бездонное небо Аустерлица! *Magnifico!* Это будет мой главный шедевр, моя «Сикстинская капелла» в кинематографе!

К утру режиссёр уже не спал. Обложившись энциклопедиями по войне двенадцатого года, он лихорадочно строчил в блокноте заметки, рисуя раскадровки батальных сцен, и сам позвонил в офис «Атлантик-Пикчерз», потребовав немедленно начать кастинг и готовить экспедицию в Москву.

— У меня есть только одно условие, *amici miei*! — гремел Коппола в телефонную трубку так, что дребезжали стёкла. — Никакой дешёвой бутафории! И сыщите мне в Нью-Йорке настоящую русскую аристократку из старой эмиграции, которая помнит, как в те времена держали веер и кланялись на балах! Без этого я в Москву не полечу!

Едва получив карт-бланш от щедрых продюсеров, Фрэнсис Форд Коппола с истинно итальянским темпераментом принялся собирать свою голливудскую армию для похода на Москву. Кастинг превратился в сущий балаган и театральное представление, о котором вскоре гудел весь Лос-Анджелес, а Торн и Грей вынуждены были с каменными, постными физиономиями наблюдать за этими творческими муками, мысленно подсчитывая каждый потерянный день.

Первым делом маэстро позвонил своему давнему другу и любимому актёру — Аль Пачино, предложив ему ни много ни мало роль императора Наполеона Бонапарта. Но реакция великого трагика оказалась поистине вулканической. На другом конце провода повисла ледяная, гробовая пауза, после которой Пачино взорвался гневной тирадой с неподражаемым нью-йоркским акцентом:

— Послушай, Фрэнсис, ты что, решил поиздеваться надо мной на старости лет?! Сперва ты сделал из меня короля мафии Майкла Корлеоне, потом я сыграл кубинского гангстера Тони Монтану, а теперь ты хочешь нацепить на меня треуголку и заставить снова играть невысокого, нервного диктатора с манией величия?! *Basta!* С меня хватит мелких тиранов, Фрэнсис! Я хочу играть Гамлета или страдающего поэта, а не коротышку, который поджёг Москву!

Сколько Коппола ни уговаривал друга, расписывая трагизм одиночества Бонапарта на Поклонной горе, гордый сицилиец остался непреклонен и с треском бросил трубку, смертельно оскорблённый намёком на свой рост и амплуа.

С юной Вайноной Райдер, которую режиссёр видел идеальной Наташей Ростовой, приключилась прямо противоположная беда. Когда двадцатилетняя актриса приехала в калифорнийское поместье маэстро на пробы, она была бледна от ужаса и едва не плакала, нервно теребя в пальцах бахрому своей потёртой замшевой куртки:

— Мистер Коппола, я боюсь, что я всё испорчу, — искренне призналась она, глядя на режиссёра огромными испуганными глазами оленёнка. — Посмотрите на меня! Я выросла в коммуне хиппи в Северной Калифорнии, мои родители дружили с Тимоти Лири и битниками, я ношу рваные джинсы и слушаю панк-рок! Какая из меня русская графиня девятнадцатого века?! Я же запутаюсь в кринолинах на первом же шагу и свалюсь носом в паркет при первом же реверансе!

Коппола растроганно расхохотался, по-отечески обнял девушку за худенькие плечи и подвёл её к старинному зеркалу:

— Дорогая моя *bambina*, именно поэтому ты и есть настоящая Наташа! В ней нет ни капли чопорной салонной куклы — она живая, дикая, искренняя душа, которая готова петь и танцевать босиком на траве! А манерам и реверансам тебя обучит настоящая русская княгиня из Нью-Йорка, поверь моему слову!

Куда большее благоговение — смешанное, впрочем, с лёгким суеверным ужасом — вызывал у Копполы исполнитель роли князя Андрея Болконского. С Дэниелом Дэй-Льюисом не требовалось долгих уговоров: едва прочитав сценарий, британский актёр прислал короткую, учтивую телеграмму о согласии и в тот же день испарился из поля зрения прессы, приступив к своей знаменитой, пугающей системе полного перевоплощения.

— *Madonna mia*, этот англичанин доведёт меня до инфаркта ещё до первого дубля! — со смехом и ужасом жаловался Коппола на совещании в офисе «Атлантик-Пикчерз», крутя в пальцах незажжённую сигару. — Вы же знаете его дьявольские фокусы! Три года назад на съёмках «Моей левой ноги» он наотрез отказался вставать из инвалидного кресла даже во время обеда, сломал себе два ребра и заставлял ассистентов кормить его с ложечки! А перед «Невыносимой лёгкостью бытия» за полгода выучил чешский язык так, что пражские профессора принимали его за своего!

— И что же он вытворяет сейчас, мистер Коппола? — с деланым участием осведомился Маркус Торн, пока Саймон Грей у окна раздражённо постукивал пальцами по подоконнику, словно отбивая похоронный марш.

— Он уже месяц не снимает белый кавалергардский мундир и сапоги со шпорами у себя в лондонском доме! — в отчаянии развёл руками режиссёр. — Жена говорит, что он спит на походной солдатской койке, читает исключительно дореволюционную русскую классику, учится фехтовать на старинных шпагах и запретил прислуге обращаться к нему иначе как «ваше сиятельство»! Я боюсь, что к моменту прилёта в Москву он начисто забудет английский язык, потребует себе крепостного денщика и вызовет меня на дуэль, ежели ему не понравится освещение на Бородинском поле!

— Похоже, в этом цирке собрались одни буйнопомешанные, — процедил сквозь зубы Саймон Грей по-английски, когда за режиссёром закрылась дверь. — Ещё неделя таких сборов, и мы упустим русский след!

— Спокойнее, Саймон, — ледяным тоном ответил Торн, поправляя запонки. — Без этого балагана мы не провезём в Москву ни одного твоего датчика. Потерпи ещё немного — маэстро как раз заканчивает набор труппы.

И действительно, с ролью холодной, ослепительной светской львицы Элен Курагиной у Копполы не возникло ни секунды сомнений. Весной девяносто второго года весь мир сходил с

ума по новой голливудской звезде — Шэрон Стоун, чей хищный, ледяной взгляд и скандальная слава роковой красавицы гремели на всех континентах. Увидев её на закрытом показе, Коппола восхищённо щёлкнул пальцами:

— *Ecco!* Вот она, Элен! Вы посмотрите на эту женщину: мраморная античная статуя без единой живой мысли в голове, но с таким дьявольским магнетизмом, что мужчины готовы ради неё стреляться на дуэлях и спускать в карты целые губернии! Она сыграет порочную московскую сирену так, что у зрителей мороз пойдёт по коже!

Шэрон Стоун приняла приглашение с царственным снисхождением, тут же потребовав от костюмеров сшить ей дюжину бальных платьев с самым глубоким декольте, какое только позволяли приличия тысяча восемьсот двенадцатого года.

Но тяжелее всего пришлось с поисками Пьера Безухова. Коппола перебрал добрый десяток голливудских красавцев, но все они выглядели слишком подтянутыми, спортивными и самодовольными — ни в ком не было той трогательной, неуклюжей русской душевности и мучительного поиска смысла жизни. Отчаявшись, маэстро по совету своего нью-йоркского кастинг-директора отправился на крошечный офф-бродвейский спектакль в Манхэттене — и там, на тесной, пыльной сцене, увидел никому ещё не известного двадцатипятилетнего театрального самородка по имени Филип Сеймур Хоффман.

Едва пухловатый, светловолосый юноша в толстых роговых очках вышел к рампе, неловко поправил сползающий пиджак и заговорил тихим, удивительно глубоким, полным скрытой боли голосом, Коппола едва не вскочил с кресла.

— *Madonna mia...* Да это же живой Пьер! — прошептал режиссёр, впившись пальцами в подлокотники. — Посмотрите, как он неуклюже поворачивается, как щурится сквозь очки, сколько в нём этой детской, беззащитной искренности и скрытой медвежьей силы! К чёрту голливудских манекенщиков — я беру этого парня!

Молодой Хоффман, который ещё вчера перебивался случайными заработками и мечтал хотя бы о крошечной роли рядом с Аль Пачино, не поверил своим ушам, когда сам великий Коппола предложил ему главную роль в экранизации Толстого, и в тот же вечер засел за многотомный роман, обложившись словарями.

А на роль старого, мудрого и лукавого фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова Коппола без колебаний позвал великого валлийца Энтони Хопкинса, который как раз в ту весну получил свой первый «Оскар» за леденящую душу роль доктора Ганнибала Лектера в «Молчании ягнят». Узнав о том, что ему предстоит сыграть русского полководца, засыпающего на военных советах, но переигравшего самого Бонапарта, Хопкинс пришёл в тихий, сдержанный восторг. Обладая феноменальной, почти колдовской фотографической памятью — в молодости, работая в театре, он заучивал целые страницы текста наизусть, пробежав их глазами два-три раза, а потом развлекался тем, что мог процитировать любую главу с любого места, — сэр Энтони за одну неделю вызубрил все речи Кутузова так, что на репетициях даже не заглядывал в сценарий. Более того, увлёкшись русской культурой, Хопкинс, который в свободное от съёмок время серьёзно сочинял классическую музыку для симфонического оркестра и часами играл на фортепиано, принялся напевать русские народные мелодии и пообещал Копполе сыграть Кутузова так, чтобы зритель видел в одном его глазу хитрую крестьянскую мудрость, а в другом — бездонную усталость старого воина.

Когда список звёзд был окончательно утверждён и в Голливуде затрещали швейные машинки костюмеров, Маркус Торн и Саймон Грей приступили к финальной стадии своей хищной затеи. Внутри гигантских кофров с голливудскими софитами и кинокамерами Грей лично разместил сверхчувствительные американские пеленгаторы остаточного квантового излучения, замаскировав их под блоки питания для лазерных проекторов.

Оставался последний, самый изящный штрих — наживка, на которую Кира Навроцкая должна была клюнуть сама. Перед вылетом группы из Нью-Йорка Маркус Торн, надев маску

безупречного светского джентльмена, нанёс визит в роскошный особняк на Пятой авеню к восьмидесятилетней Алевтине Навроцкой. От имени мистера Копполы он с приторной учтивостью пригласил её поехать в Москву в качестве главного консультанта картины по дворянскому этикету, балам и старинному русскому быту.

— Поверьте, графиня, без вашего тонкого вкуса наш итальянский гений превратит московский бал в цыганский карнавал, — мягко ворковал Торн, целуя сухую, аристократическую руку старушки, а про себя хладнокровно отмечая: *«Старая лиса заглотила крючок. Через сорок восемь часов мы выйдем на её московскую внучку»*.

Пожилая аристократка, всю жизнь тосковавшая по родным местам и мечтавшая повидать свою московскую внучку Киру, с восторгом приняла приглашение — даже не подозревая, что в тот самый миг, когда её самолёт приземлится в Шереметьево, она станет главной приманкой в охоте двух циничных хищников на призраков черновика.

Глава четвёртая, в которой на Пречистенке воскресает двенадцатый год, дон Корлеоне демонстрирует павильону спину, а двое продюсеров задают лишний вопрос

На следующее утро после ночного концерта на Арбате и сердечного расставания с околоточными надзирателями в квартире Киры на Ломоносовском проспекте снова залился телефон. Звонили уже не из далёкого Нью-Йорка, а вполне по-московски, чисто и звонко.

— Кирочка, радость моя, мы прибыли! — пропел в трубке бодрый, чуть грассирующий голос бабушки Алевтины. — Врачи сжалились, самолёт перенесла превосходно, сижу в «Метрополе» и пью утренний кофе. К полудню жду вас с Андреем в усадьбе на Пречистенке. Сам Фрэнсис Коппола жаждет познакомиться с моей московской внучкой!

Ровно в двенадцать Кира и Андрей миновали чугунные ворота старинной усадьбы и попали в самую гущу великой голливудской суматохи. Площадка представляла собой диковинную помесь Бородинского поля с цирком шапито. По гравийным дорожкам чинно прогуливались заморские кирасиры, которые в перерывах между дублями с ненавистью стягивали с голов медные каски и жадно хлебали минеральную воду из пластиковых бутылок. Пожилой гусар, судя по выправке, нанятый из бывших мосфильмовских реквизиторов, поучал на чистом арбатском наречии ассистента режиссёра, как правильно вешать саблю, чтобы не запутаться в собственных ногах. Осветители тащили толстые удавы кабелей прямо через клумбы с анютиными глазками, а из-за мраморной беседки доносился отборный, сочный голливудский мат, означавший, что искусство требует жертв.

Бабушка Алевтина, элегантная и прямая, словно гвардейский полковник на параде, сияла от удовольствия. Она обняла Киру с такой искренней, тёплой нежностью, что у той мгновенно растаял ледок в груди, и принялась водить внучку по площадке, как редкий музейный экспонат. Чуть поодаль у осветительного фургона крутились двое безупречно одетых американцев — исполнительный продюсер Маркус Торн и главный инженер по комбинированным съёмкам Саймон Грей, не сводившие с гостей холодного, цепкого взгляда.

Первыми им представили главных звёзд. Юная Вайнона Райдер, утопающая в кружевах бального платья Наташи Ростовой, с жадным любопытством расспрашивала Алевтину, как именно русские барышни обмахивались веером, чтобы довести кавалера до белого каления, и искренне восхитилась серебряным браслетом Киры. Рядом стоял Дэниел Дэй-Льюис в белоснежном мундире князя Андрея. В роль он вжился с такой пугающей основательностью, что, казалось, вообще забыл, как сгибается позвоночник; говорил он тихо, с лёгким прононсом, и приложился к ручкам обеих дам с таким видом, словно сейчас пойдёт стреляться за их честь на Чёрную речку.

— А вот и наш великий кормчий, — улыбнулась Алевтина, когда к ним вразвалку подошёл коренастый, бородатый мужчина в клетчатой рубашке и твидовом пиджаке, с неизменной дымящейся сигарой в зубах.

Фрэнсис Форд Коппола оказался человеком шумным, радушным и до крайности экспансивным. Узнав, что Кира — математик, он захохотал и схватился за голову:

— О, боюсь, моя бухгалтерия на этой картине доведёт до инфаркта любого профессора! Пятьсот лошадей, тридцать пушек, и каждый статист требует двойной оклад за съёмку в пыли! Но, знаете, после того, как я воевал со студией на съёмках «Крёстного отца» и второй части, меня уже голыми руками не возьмёшь. Там боссы хотели уволить меня каждый вторник, а в итоге мы сняли классику!

— Я обожаю ваши фильмы, мистер Коппола, — совершенно искренне, забыв обо всякой конспирации, ответила Кира. — Особенно то, как глубоко вы показали трагедию Майкла Корлеоне.

Маэстро сокрушённо вздохнул, покрутил сигару и поглядел на колонны усадьбы с видом человека, которого мучает великая творческая засуха:

— Знаете, милая Кира, студия уже пятый год сидит у меня на шее и требует третью часть. Мол, публика желает завершения саги. А я упёрся рогом. Не вижу, куда вести Майкла! Душу он продал, семью растерял, сидит себе в кресле как каменный истукан. О чём снимать? Очередную пальбу в Бруклине? Скукота смертная!

Кира, расслабленная тёплым солнцем и обаянием живого классика, начисто забыла, что в этом сытом, благополучном девяносто втором году Коппола так и не снял фильм, который она сама смотрела в душном видеосалоне два года назад в своём прежнем мире.

— Ну зачем же пальбу, мистер Коппола? — с жаром возразила она, увлекаясь собственной мыслью. — Это же должна быть высокая античная трагедия об искуплении, которое не купишь ни за какие миллионы! Представьте: постаревший, больной диабетом Майкл пытается отмыть фамилию и легализовать империю через сделку с Ватиканским банком. Он хочет передать дела племяннику — горячему внебрачному сыну Сонни, Винсенту, но ставит жёсткое условие: тот должен отказаться от любви к дочери Майкла, Мэри.

Коппола замер с поднесённой ко рту сигарой, которая от изумления едва не вывалилась у него из пальцев.

— Постойте... Ватиканский банк? Сын Сонни? — просипел он, подаваясь вперёд всем корпусом. — А дальше?! Чем дело кончится?!

— А кончится всё в Сицилии, на ступенях оперного театра в Палермо, — продолжала Кира, не замечая, как вокруг них замерли даже осветители. — Майкл верит, что наконец очистился от грехов, но прошлое настигает его. Наёмный убийца стреляет на лестнице театра, но пуля попадает в его любимую дочь Мэри. И самый страшный крик Майкла на ступенях оперы — беззвучный, когда он держит её на руках. А спустя годы он умирает в полном одиночестве во дворе старого сицилийского дома, просто свалившись со стула, и рядом только маленькая собачка.

На площадке повисла такая гробовая тишина, что было слышно, как в кустах чирикает воробей. Дэниел Дэй-Льюис медленно выдохнул и с благоговением снял несуществующую шляпу, Вайнона Райдер прижала ладони к губам, а сам Фрэнсис Форд Коппола стоял бледный, как полотно, глядя на скромную московскую девушку так, словно перед ним явился сам дух Софокла в современной кофточке.

— Боже правый... — прошептал режиссёр, лихорадочно шаря по карманам в поисках карандаша. — Беззвучный крик на ступенях оперы... Это же гениально! Кира, дорогая, бросайте свою математику, я беру вас в соавторы на полный оклад!

И лишь двое людей в десяти шагах от них не впали в творческий экстаз. Маркус Торн, стоявший у фургона с аппаратурой рядом с Саймоном Греем, медленно опустил стаканчик

с кофе и обменялся с напарником коротким, ледяным взглядом. Они только что услышали готовый сценарий фильма, о котором сам Коппола ещё утром не имел ни малейшего понятия.

Дневные съёмки затянулись до самых сумерек, и когда вечерняя прохлада окутала усадьбу, Коппола наотрез отказался отпускать дорогих гостей, затащив всех на ужин. В просторном шатре в глубине липовой аллеи зажгли гирлянды тёплых фонариков. Пахло жареным мясом, дорогим коньяком и влажной травой. Гусары и кирасиры давно разъехались по домам, и за длинным столом остались только свои: бабушка Алевтина, Кира, Андрей, актёры и сам маэстро. Исполнительный продюсер Маркус Торн и инженер Саймон Грей скромно примостились на самом краю — они почти не пили, лишь крутили в пальцах бокалы с содовой и с вежливыми улыбками навострили уши.

Режиссёр скинул твидовый пиджак, расстегнул воротник клетчатой рубашки и, откинувшись в плетёном кресле, с удовольствием раскурил свежую сигару.

— Знаете, друзья, глядя на эти тихие московские липы, я вспоминаю, какой кромешный ад творился в Нью-Йорке в семьдесят первом году, — заговорил Коппола, пустив к небу густое облако дыма. — Сейчас «Крёстный отец» — гордость студии. А тогда боссы Paramount хотели вышвырнуть меня с площадки каждый день. Но студия — это ещё цветочки. Хуже всего было, когда за дело взялись настоящие ребята из нью-йоркских семей. Сперва они требовали вычеркнуть из сценария слово «мафия», били стёкла в наших машинах. А потом им, наоборот, так понравился размах, что они решили: картину надо выпустить в прокат как можно скорее, чтобы весь мир поглядел на их величие.

Режиссёр глотнул коньяку и обвёл взглядом притихших собеседников.

— Как-то поздним вечером возвращаюсь я один со студии монтажа в Бруклине, — понизил голос Коппола. — Иду через старый мост над Ист-Ривер. Вдруг рядом с визгом тормозит чёрный «Кадиллак». Выскакивают трое амбалов в длинных плащах, скручивают меня так, что я и мяукнуть не успел, переваливают через перила моста и хватают за лодыжки!

Вайнона Райдер ахнула, а бабушка Алевтина возмущённо всплеснула руками:

— Боже мой, Фрэнсис, какой варварский произвол!

— Вишу я вниз головой над чёрной ледяной водой, кровь прилила к лысине, в ушах шумит, — продолжал Коппола, дирижируя сигарой. — А один из них наклоняется через перила и так ласково, с сицилийским прононсом мурлычет: «Слушай сюда, режиссёр. Наш дон очень хочет поглядеть кино про нашу семью к Рождеству. Если ты не поторопишься со съёмками, в следующий раз мы отпустим левую ногу, а потом правую. Capisce?»

За столом повисла секунда тишины, а затем все дружно грохнули от смеха — уж больно артистично маэстро изобразил голос гангстера.

— И как вы выкрутились? — спросил Андрей, невольно поглядывая на часы.

— Пришлось монтировать по восемнадцать часов в сутки, — улыбнулся Коппола. — Нервы у всей группы звенели как струны. На площадке стояла такая похоронная тишина, будто мы и впрямь хоронили настоящего дона, а не снимали кино. Я сам уже готов был лезть на стену. И знаете, кто спасал нас от коллективного помешательства? Великий Марлон Брандо!

Дэниел Дэй-Льюис усмехнулся в усы, явно зная эту голливудскую байку, а Вайнона Райдер с любопытством подалась вперёд.

— Марлон ведь был страшным хулиганом, — с теплотой в голосе продолжал Коппола. — Когда он видел, что у меня от усталости уже дёргается глаз, а массовка спит на ходу, он выжидал самую драматическую паузу — прямо в своём строгом чёрном смокинге дона Вито Корлеоне, с седыми висками и ватой за щеками. Потом с самым царственным, невозмутимым видом поворачивался к камере и ко всей съёмочной группе спиной, низко наклонялся, одним движением сдёргивал брюки и во всей красе демонстрировал нам свой голый зад!

Бабушка Алевтина ахнула, густо покраснев, но тут же не выдержала и рассмеялась в кружевной платочек, а Кира и Андрей хохотали в голос вместе с актёрами.

— Представляете эту картину?! — разводил руками Коппола, сам покатываясь со смеху. — Грозный крёстный отец сицилийской мафии, перед которым трепещет весь Нью-Йорк, стоит нагнувшись без штанов посреди павильона! После такой разрядки вся группа лежала вповалку, напряжение снимало как рукой, и мы могли работать ещё шесть часов подряд!

Отсмеявшись, режиссёр повернулся к Кире, снова становясь серьёзным:

— Так что после гангстеров на мосту и проделок Брандо никакие ваши российские бюрократы мне не страшны. Но вот твоя идея для третьей части, Кира... Знаешь, она не выходит у меня из головы. Откуда в тебе такое точное чувство сицилийской трагедии, а?

Кира смутилась, почувствовав, как под столом Андрей осторожно сжал её колено, предупреждая о лишних словах.

— Просто очень люблю ваши первые два фильма, мистер Коппола, — уклончиво ответила она. — И, наверное, сработала математическая логика: любое уравнение должно приходить к закономерному финалу.

— Прекрасный ответ, — раздался с края стола ровный, бархатный голос Маркуса Торна. Он поднялся с бокалом в руке и с безупречной вежливостью кивнул своему напарнику Саймону Грею, который тут же обратился к Андрею: — Прошу прощения, что прерываем столь увлекательную беседу. Андрей, Маркус сказал мне, что вы занимаетесь квантовой оптикой и лазерами. Дело в том, что наша американская проекционная установка в соседнем фургоне весь вечер даёт странный сбой — словно рядом работает какой-то мощный посторонний резонатор. Не окажете ли любезность взглянуть на приборы свежим взглядом специалиста?

Андрей и Кира переглянулись. В тихом, благополучном девяносто втором году никто в Москве не мог знать слова «резонатор» применительно к их тайне — если только эти двое вежливых голливудских продюсеров не искали их намеренно.

Глава пятая, в которой ночная Москва хранит тревожные тайны, медный прибор угасает, а единственная надежда скрывается в стенах академического института

Ужин в усадьбе на Пречистенке закончился за полночь. Вежливо уклонившись от приглашения Маркуса Торна и Саймона Грея пройти в фургон с аппаратурой — сославшись на поздний час и утреннюю лекцию в институте, — Андрей взял Киру под руку, и они поспешили проститься с маэстро Копполой и растроганной бабушкой Алевтиной.

Однако стоило им выйти за чугунные ворота усадьбы на пустынную, залитую ровным светом фонарей Пречистенку, как оба словно по команде ускорили шаг, то и дело оглядываясь по сторонам. Тихая, благополучная Москва девяносто второго года вдруг перестала казаться им уютной гаванью.

— Ты видел их глаза, Андрей? — заговорила Кира, едва они захлопнули за собой тяжёлую дверь квартиры на Ломоносовском проспекте и щёлкнули английским замком. — Когда я, дура набитая, разболтала Копполе весь сюжет «Крёстного отца», этот Торн и его приятель-инженер переглянулись так, словно я только что выдала им шифр от сейфа Пентагона!

— А вопрос Грея про резонатор? — мрачно отозвался Андрей, снимая пиджак и проходя в гостиную. — В этом мире ни один киношник не употребит это слово применительно к осветительным софитам! Они никакие не продюсеры, Кира. Они знают, кто мы, и они ищут наш прибор. Я почти уверен, что от самой Пречистенки за нашим такси хвостом шёл тёмно-синий «Форд».

Не зажигая верхнего света, чтобы не привлекать внимания с улицы, Андрей прошёл к старинному книжному шкафу, отодвинул нижнюю полку и извлёк из тайника тяжёлый кожаный футляр. Опустив его на письменный стол, он откинул крышку и включил зелёную настольную лампу.

В тусклом свете тускло блеснула полированная медь, кварцевые линзы и стеклянная трубка самодельного хроно-резонатора. Андрей подсоединил к клеммам маленький лабораторный тестер, щёлкнул тумблером — и лицо его мгновенно потемнело. Стрелка прибора едва заметно дрогнула у самого нуля, а внутри стеклянной трубки вместо привычного, живого рубинового сияния промелькнула лишь слабая, угасающая розовая искра.

— Плохо дело, Кира, — глухо произнёс он, откладывая щупы тестера. — Двойной переход из Цюриха выжал кварцевый накопитель досуха. Прибор почти полностью разрядился. Здесь не хватит энергии даже на один короткий скачок в прошлое, не говоря уже о том, чтобы вернуться обратно.

Кира опустилась в кресло, обхватив плечи руками. В комнате повисла тяжёлая тишина, нарушаемая лишь тиканьем настенных часов.

— А ведь нам нужно сделать именно двойной прыжок, Андрей, — тихо, но с твёрдой решимостью произнесла она, глядя на угасший прибор. — Я всё обдумала за эти дни. Мы не сможем стать здесь счастливыми. Этот гладкий, сытый рай — чужой, мы в нём призраки с украденной памятью, а теперь за нами ещё и охотятся американцы.

— Но как вернуть всё назад? — Андрей присел на край стола напротив неё. — Даже если мы попадём в октябрь четырнадцатого года, Ленин уже знает о тебе, он уже вцепился в твои идеи!

— Нет, — покачала головой Кира. — Вся его новая программа держится на той самой тетради, которую он унёс из гостиной Навроцких в октябре. До революции остаётся ещё три года бурь, подполья и арестов. Без точных записей и расчётов, которые он унёс в кармане, он не сможет удержать партию от прежнего пути — всё пойдёт по нашему настоящему, суровому руслу. Мне нужно вернуться в тот самый цюрихский вечер, незаметно выкрасть или подменить эту тетрадь у Ленина, пока мы не исчезли — и тут же вместе с тобой прыгнуть обратно в наш настоящий девяносто второй год!

— Задумка дерзкая, — вздохнул Андрей, поглядывая на мёртвый резонатор. — Но для такого двойного скачка сквозь семьдесят восемь лет нам потребуется колоссальный импульс энергии. Домашняя розетка и старые конденсаторы тут не помогут — мы просто спалим проводку во всём доме. Нужен мощный промышленный квантовый генератор.

Оба на мгновение замолчали, и в один и тот же миг их взгляды встретились. Имя единственного человека в этой реальности, который мог им помочь, повисло в воздухе без всяких слов.

— Академик Целовский-младший, — одновременно выдохнули они.

— Внук нашего старого чудака с Мясницкой, — оживился Андрей, начиная быстро расхаживать по комнате. — Он возглавляет Государственный институт квантовой оптики и энергетики — тот самый, который его дед основал по договору с Лениным в восемнадцатом году! В их подземных лабораториях стоят сверхмощные импульсные лазеры, о которых в нашем мире физики могли только мечтать!

— Но согласится ли он помочь нам? — усомнилась Кира. — Ведь его дед дал слово Ленину навсегда закрыть опыты со временем и уничтожил все чертежи!

— Внук — настоящий учёный, Кира. Я видел его глаза у подъезда института в первый день: он сразу почуял, что мы непростые гости, — уверенно сказал Андрей. — В семейном архиве Целовских наверняка сохранилась легенда о цюрихском эксперименте и о девушке из будущего. К тому же, если мы объясним ему, что за нами по пятам идут агенты ФБР, охотящиеся за технологией его деда, он ни за что не отдаст семейную тайну американцам!

Решение было принято. Уложив разряженный резонатор в неприметный брезентовый рюкзак, Кира и Андрей договорились, что с первым же утренним светом, не заходя ни на лекции, ни в свои лаборатории, отправятся прямиком в кабинет академика Целовского — пока

вежливые «кинопродюсеры» Маркус Торн и Саймон Грей и их люди не успели захлопнуть вокруг них ловушку.

Глава шестая, в которой синьор Коппола не спит до рассвета, Кира едва не теряет голову от вальса, а бальный зал погружается во тьму под итальянские проклятия

Утром в квартире на Ломоносовском проспекте ни свет ни заря зазвонил телефон. Андрей, дежуривший у окна, за которым в утреннем тумане чернел знакомый «Форд» наружного наблюдения ФБР, вздрогнул и кивнул Кире.

Кира сняла трубку — и в тот же миг из мембраны на неё обрушился густой, взволнованный баритон с характерным итальянским акцентом, в котором слышались и бессонная ночь, и священный творческий восторг:

— Кира, дорогая моя, простите ради бога за столь ранний звонок, но я не сомкнул глаз ни на минуту! — гремел в трубке Фрэнсис Форд Коппола. — У меня перед глазами всю ночь вспыхивали кадры третьей части «Крёстного отца»! Этот Ватиканский банк, старый больной Майкл, ступени оперы в Палермо... *Madonna mia*, я вижу эту картину целиком! Умоляю, если вы не заняты сегодня утром, приезжайте ко мне на площадку, привезите ваши наброски и записи!

Кира на секунду замерла, глядя на Андрея, а затем в голове её мгновенно сложился дерзкий, спасительный план.

— Мистер Коппола, у меня нет никаких записей на бумаге, — мягко ответила она. — Но я с радостью приеду прямо сейчас, и мы всё подробно обсудим за чашкой кофе. Есть только одна маленькая просьба: не могли бы вы прислать за мной и Андреем ваш закрытый студийный лимузин с тонированными стёклами? На улице сегодня ужасно промозгло.

— *Subito!* Немедленно! — вскричал маэстро. — Через двадцать минут машина с охраной студии будет у вашего подъезда!

Саймон Грей и Маркус Торн, перехватившие звонок через аппаратуру прослушки, попали в собственную ловушку. Запретить режиссёру везти «соавтора» на площадку они не могли, не раскрыв своего прикрытия, а тонированный лимузин «Атлантик-Пикчерз» беспрепятственно проехал мимо постов наружного наблюдения. В салоне на коленях у Андрея скромно покоился брезентовый рюкзак с разряженным хроно-резонатором.

На съёмочной площадке в усадьбе на Пречистенке с самого утра кипела работа: готовили главную массовую сцену — первый бал Наташи Ростовой. Коппола встретил Киру как родную дочь, увёл в свой режиссёрский шатёр и полтора часа, жадно дымя сигарой и исписывая блокнот, расспрашивал её о деталях трагедии семьи Корлеоне. Маркус Торн и Саймон Грей крутились неподалёку, но подойти ближе не решались — маэстро рычал на любого, кто смел прервать его творческий транс.

Когда блокнот был исписан до последней страницы, растроганный Коппола с чувством сжал обе руки Киры:

— Кира, *bambina*, я хочу отблагодарить вас! Предлагать деньги внучке русской аристократки было бы оскорблением и мелочностью. У меня есть подарок получше: сегодня мы снимаем первый бал Наташи, а у меня с утра слегла с ангиной актриса на роль её кузины Сони! Роль без слов — нужно просто стоять в бальном платье рядом с Вайноной и смотреть, как танцует Болконский. Сделайте мне честь, войдите в историю кино!

Кира растерялась, но поймав быстрый, одобрительный взгляд Андрея, поняла: вот он, единственный шанс затеряться в толпе и ускользнуть от Торна и Грея!

Через полчаса костюмеры затянули Киру в воздушное шёлковое платье ампир цвета утренней зари, соорудили на голове высокие локоны с жемчужной нитью и вывели в огромный, сияющий сотнями свечей и софитов бальный зал усадьбы. И тут на Киру напал такой лютый, ледяной мандраж, какого она не испытывала даже на допросе в московской охранке в четырна-

дцатом году. Под прицелом трёх огромных кинокамер, в окружении сотни разодетых статистов и знаменитостей у неё задрожали колени, во рту пересохло, а руки словно налились свинцом.

Но стоило ей занять своё место у мраморной колонны, как рядом оказалась хрупкая Вайнона Райдер. Заметив, что новая «кузина Соня» готова вот-вот упасть в обморок, Вайнона незаметно для камер крепко сжала её ледяные пальцы своей тёплой ладошкой и лукаво шепнула на ухо:

— Эй, не дрейфь! Представь, что мы с тобой на рок-концерте, а эти ребята с камерами — просто зрители в первом ряду. Просто улыбайся мне!

А в следующую секунду мимо них торжественной, упругой походкой прошествовал Дэниел Дэй-Льюис в ослепительно белом кавалергардском мундире. Не выходя из образа князя Андрея ни на миллиметр, он на мгновение склонил голову в безупречном аристократическом поклоне, посмотрел на Киру своими глубокими, проницательными глазами и тихо произнёс по-русски с лёгким, благородным акцентом:

— Держите спину, кузина Соня. Весь этот свет сегодня смотрит только на нас.

И грянула музыка. Симфонический оркестр, укрытый за живой изгородью из оранжерейных пальм, заиграл такой упоительный, кружащий голову вальс, что у Киры захватило дух. В свете сотен восковых свечей зашуршали шёлковые шлейфы, зазвенели шпоры, закружились в зеркалах блестящие пары. Кире до слёз, до щемящей боли в груди захотелось забыть обо всём на свете — отдаться этой волшебной музыке, впитать каждый звук и блеск этого сказочного бала, в который она попала вопреки всем законам физики. *Но холодный разум математика неумолимо напоминал: у выходных дверей уже маячат мрачные фигуры Маркуса Торна и Саймона Грея. Кира бросила долгий, прощальный взгляд на статную, сияющую бабушку Алевтину у колонны — она знала, что видит её такой живой и счастливой в последний раз, но иного выбора не оставалось...»*

Едва Коппола крикнул в мегафон «Стоп! Снято!», американские агенты шагнули в зал, пробираясь сквозь толпу к Кире. Но Андрей, незаметно прокравшийся к щитовой и фургону реквизиторов с рюкзаком за плечом, действовал молниеносно.

Сначала он «случайно» задел локтем столик с пиротехническими дымовыми шашками, приготовленными для сцены пожара Москвы, и щёлкнул запалом — в ту же секунду из-под портьер повалили густые, непроглядные клубы белого дыма. А в следующее мгновение Андрей ухватился за толстые резиновые кабели у распределительного щита и с силой рванул их из разъёмов.

Брызнул сноп синих искр, и огромный бальный зал мгновенно погрузился в кромешную, абсолютную тьму!

И тут началось такое светопреставление, какое не снилось ни Льву Толстому, ни самому Булгакову. В темноте и густом дыму поднялся невообразимый гвалт: придворные фрейлины завизжали пронзительным фальцетом, какой-то дородный «генерал» с грохотом рухнул в кадку с оранжерейным фикусом, запутавшись в собственной сабле, двое гусар столкнулись лбами и покатились по паркету, опрокинув поднос с бутафорским шампанским, а массовка, обрадованная внезапным весельем и срывом утомительной съёмки, принялась хохотать, свистеть и улюлюкать в темноте.

Над всем этим хаосом, перекрывая визги и грохот, в мегафоне загремел отчаянный, срывающийся на фальцет голос Фрэнсиса Форда Копполы, который в порыве праведного гнева начисто забыл английский язык:

— *Porca miseria! Mannaggia la miseria!* Кто откусил провода, *diavolo*?! Всем стоять на месте! *Tutti fermi!* Не двигаться, безголовые макаронники, вы же мне в темноте все кринолины

порвёте и Бородинскую панораму растопчете! *Madonna santa*, дайте свет! Где этот чёртов электрик?!

Под аккомпанемент этих сочных итальянских проклятий, всеобщего хохота и звона бьющейся посуды Андрей на ощупь пробрался к мраморной колонне, поймал Киру за руку по шуршанию её шёлкового платья и увлёк за собой. Прямо в пышном бальном наряде кузины Сони, придерживая подол обеими руками и сверкая атласными туфельками, Кира выскользнула вслед за ним через чёрный ход сада в пустынный переулок, где они поймали первое попавшееся такси и помчались в Институт квантовой оптики к академику Целовскому-младшему.

Такси с визгом затормозило у стеклянно-гранитного портала Государственного института квантовой оптики и энергетики имени А. В. Целовского. Ошарашенный таксист ещё долго провожал взглядом странную парочку: молодого человека в помятой куртке с брезентовым рюкзаком за плечом и бледную девушку, которая выпорхнула из машины в пышном шёлковом бальном платье ампир цвета утренней зари и атласных туфельках, придерживая подол обеими руками.

Миновав растерянного вахтёра благодаря пропуску Андрея, они взлетели на пятый этаж, проскочили мимо ошеломлённого секретаря и ворвались прямо в просторный, пахнущий старыми книгами, трубочным табаком и озоном кабинет директора.

Академик Андрей Викентьевич Целовский-младший — сухощавый, седовласый старик с живыми, проницательными глазами и такой же аккуратной бородкой клинышком, как у его знаменитого деда на портрете над столом, — не выказал ни малейшего изумления при виде необычных гостей. Едва тяжёлая дубовая дверь за ними затворилась, он снял очки в тонкой золотой оправе, оглядел Киру в наряде девятнадцатого века и тихо усмехнулся:

— А я, признаться, поджидал вас ещё вчера. Дед оставил в семейном архиве запечатанный пакет, вскрыть который завещал в сентябре девяносто второго года. Там значилось: *«Ежели явятся двое, чьи очи помнят другой, горький век, — выслушай их без утайки и ведай цену времени»*.

Не теряя ни минуты, Андрей выложил на зелёное сукно академического стола брезентовый рюкзак, извлёк оттуда потухший медный хроно-резонатор и сбивчиво, перебивая себя, рассказал старому учёному всё: и про охоту заокеанских сыщиков Торна и Грея, и про выдохшийся кварцевый кристалл, и про их твёрдое желание подключить прибор к институтскому квантовому генератору, чтобы вернуться в октябрь четырнадцатого года, незаметно забрать у Ленина заветную тетрадь и шагнуть обратно в свой настоящий, суровый 1992 год.

Академик Целовский долго молчал, поглаживая бородку и глядя на знакомые по дедовским чертежам кварцевые линзы. Затем он тяжело вздохнул и поднял на них строгий, испытующий взгляд:

— Откройте вам стальные врата в подземный бункер к реактору? Вы и впрямь намерены стереть этот наш мир и вернуть колесо истории в прежнюю колею? Вы хоть отдаёте себе отчёт, какую кровавую кашу собираетесь заварить заново?

Кира горько усмехнулась и сжала пальцы на подлокотнике кожаного кресла, расправив шуршащие складки бального шёлка.

— Мы не просто отдаём отчёт, Андрей Викентьевич — мы в этой каше выросли, — тихо ответила она. — Но это *наш* мир, понимаете? Наш настоящий дом, со всеми его шрамами и болями!

— Помилуйте, голубушка, но ведь после семнадцатого года у вас там разверзся настоящий ад! — возразил Целовский, подаваясь вперёд. — По дедовским записям я знаю лишь в общих чертах, что ожидало Россию без вашей тетради. Но вы-то, люди оттуда, неужели не помните, чем обернулась та дорога?

Кира и Андрей переглянулись, морща лоб и с трудом выуживая из памяти сухие строчки институтских лекций по истории, которые в их прежней жизни казались такими далёкими, а теперь вдруг обрели страшную, осязаемую плоть.

— Помним, конечно... — неуверенно начала Кира. — Сразу после октября семнадцатого всё посыпалось как карточный домик. Вспыхнула Гражданская война, навалилась иностранная интервенция с четырёх сторон...

— Да и внутри страны начался полный развал! — подхватил Андрей, перебивая её и начиная быстро ходить по кабинету. — Старая буржуазия, чиновники и инженеры ушли в глухой саботаж. Заводы и фабрики встали, транспорт парализовало, в Петрограде и Москве начался жуткий голод!

— А крестьяне наотрез отказывались везти хлеб в города! — добавила Кира. — Зачем им было отдавать зерно за обесцененные бумажки, когда городу совершенно нечего было предложить деревне взамен? Ни ситца, ни керосина, ни гвоздей!

— Вот-вот! — щёлкнул пальцами Андрей. — И чтобы спасти республику от гибели и накормить армию, Ленину пришлось ввести политику «военного коммунизма»: запретить частную торговлю, послать в деревню продотряды, силой выгребать хлеб по продразвёрстке!

— И полыхнули крестьянские восстания, а в двадцать первом году грянул страшный голод, унёсший миллионы жизней, — глухо продолжила Кира, опуская глаза. — А потом, Андрей Викентьевич, чтобы западные державы прекратили поддерживать белое движение и сняли блокаду, Советской России пришлось отдать им почти весь золотой запас империи! Эшелоны царского золота ушли за границу за гроши... А дальше — высылка кулаков, жестокая коллективизация, тридцать седьмой год...

Академик Целовский слушал их, не перебивая, и в его глазах сквозь стёкла очков светилась глубокая, почти булгаковская печаль мудреца.

— А теперь выслушайте меня, дорогие мои путешественники, — негромко произнёс он, сцепив сухощавые пальцы на столе. — Ваш визит в Цюрих вовсе не превратил нашу историю в лёгкую прогулку. В октябре семнадцатого перед Лениным разверзлись ровно те же бездны. Но в нагрудном кармане у него лежала ваша тетрадь, Кира! Он знал наперёд, где порвётся тонкая нить. В первые же дни после переворота Владимир Ильич наотрез запретил разгонять старую техническую интеллигенцию и вызвал в Смольный крупнейших русских промышленников и банкиров — братьев Рябушинских, текстильных магнатов Морозовых и бывшего министра торговли Коновалова.

— И он сумел с ними договориться? — недоверчиво переспросил Андрей.

— Ещё как! — кивнул академик. — Ленин предложил им жёсткий, но честный договор: государство берёт под контроль армию, железные дороги, недра и тяжёлую индустрию, но фабриканты сохраняют свои заводы лёгкой промышленности, торговые дома и честную прибыль, ежели немедленно запустят станки для снабжения страны. Более того, он привлёк к работе лучших русских инженеров — Генриха Графтио и Глеба Кржижановского, которые сразу взялись за электрификацию и восстановление транспорта.

— И заводы не встали... — прошептала Кира.

— Ни на один день! — с гордостью ответил Целовский. — Мануфактуры Морозовых гнали ситец, заводы Коновалова давали керосин, гвозди и плуги, а вместо обесцененных бумажек государство сразу ввело твёрдый, обеспеченный золотом рубль. У города нашлось что дать русскому мужику в обмен на хлеб! Не понадобились ни продотряды, ни продразвёрстка — зерно потекло в Петроград и Москву по рыночным ценам. Белое движение сдулось, не найдя опоры в народе, иностранная интервенция захлебнулась, а царское золото осталось в казне страны! Правда, пройти по лезвию ножа оказалось куда труднее внутри собственной партии. Иосиф Сталин сколотил целую коалицию радикалов, которые яростно возражали против ленинского курса и сохранения буржуазии. В двадцать втором году Сталин попытался поднять

вооружённый мятеж — но Ленин, вооружённый вашей тетрадью, ударил первым. Мятеж подавили за одну ночь, а Сталин и его ближайшие соратники были расстреляны по приговору трибунала. А чуть позже, разгромив на съезде левую оппозицию, Ленин без лишнего шума выслал за рубеж и Троцкого, клеймившего его отступником от мировой революции.

Кира слушала, затаив дыхание, но вдруг взгляд её скользнул за спину академика — на огромную политическую карту мира, висевшую во всю стену. Кира сделала шаг ближе — и кровь отлила от её лица. Европа на этой карте была перекроена страшными, рваными шрамами: от самого Рейна до Одера тянулась широкая, заштрихованная красным полоса с надписью «Зона особого режима и карантина», а на полях висела таблица: *«Вторая мировая война: 1939–1948 гг.»*.

— Что это значит?! — прошептала Кира, чувствуя, как подкашиваются ноги. — Почему война кончилась в сорок восьмом?!

— А вы как думали, милочка? — жёстко усмехнулся Целовский-младший, и в его голосе вдруг исчезла всякая мягкость, сменившись ледяным, фанатичным металлом. — Ленин пощадил буржуазию, расстрелял Сталина и отказался от жестокой, надрывной индустриализации тридцатых годов. Страна жила сыто, варила масло вместо пушек и строила особняки вместо танковых заводов! И когда в сорок первом на нас обрушилась вся военная машина объединённой Европы, у России не оказалось ни уральских гигантов, ни тысяч танков! Мы воевали девять долгих, кровавых лет — до самого сорок восьмого, пока не выжгли пол-Европы атомным огнём! Вот цена вашего «мягкого пути»!

— Но тем не менее этот мир выстоял и стал властелином планеты! — продолжал академик, отступая к столу и тянясь рукой к скрытой кнопке тревоги. — И я ни за что не дам вам уничтожить его! Я не стану вам помогать. Ваш резонатор и вы сами сегодня же перейдёте в распоряжение специального отдела госбезопасности!

— Андрей Викентьевич, опомнитесь! — бросился к нему Андрей, пытаясь преградить путь к столу и убедить старика. — Посмотрите на эту карту! Это тупик, этот мир держится на штыках и радиации, мы должны вернуть всё на свои места, пока...

Андрей не успел договорить. За дубовой дверью в приёмной грохнули два глухих, приглушённых выстрела, зазвенело разбитое стекло, и раздался короткий вскрик секретаря. Тяжёлая дверь распахнулась от мощного удара ноги, и в кабинет ворвались запыхавшиеся, разъярённые после погони от Пречистенки Маркус Торн и Саймон Грей с бесшумными пистолетами в руках.

— Руки вверх, господа учёные! Охрана внизу нейтрализована! — рявкнул Саймон Грей, переводя чёрный ствол с ошеломлённого академика на Андрея и на замершую у карты Киру в её ослепительном бальном платье. — Спектакль окончен. Отдайте прибор, и никто не пострадает.

Глава седьмая, в которой бальное платье спускается в подземелье, пуля превращается в серебряную пыль, а рубиновый луч возвращает историю в прежнее русло

Дуло бесшумного пистолета Саймона Грея застыло в метре от груди Андрея, а Маркус Торн, закрыв за собой дубовую дверь кабинета и пряча во внутренний карман поддельные пропуска Министерства культуры, по которым они беспрепятственно прошли сквозь институтскую охрану под видом консультантов киностудии, брезгливо усмехнулся, окинув взглядом пышный наряд Киры:

— Надо же, как мило. Графиня Ростова собственной персоной. Я же говорил тебе, Саймон, что у этих русских всегда в запасе дешёвый театральный фокус. Рюкзак на стол, живо!

Академик Целовский-младший стоял ни жив ни мёртв, прижавшись спиной к страшной карте Европы, и смотрел на непрошеных гостей с выражением крайнего омерзения. Андрей же, внешне покорно поднимая руки, исподлобья оценивал расстояние до стола. Между ним

и дулом пистолета стояло тяжёлое дубовое кресло академика, а на лацкане пиджака старика поблёскивал магнитный ключ от подземного уровня.

— Саймон, забери прибор и обыщи парня, — приказал Торн, не сводя холодных глаз с Киры. — Если дёрнется — прострели ему колено, он нам живым не особо нужен. Нам нужна только девчонка и её память.

Грей шагнул к столу, протянув левую руку за брезентовым рюкзаком. Этой доли секунды Андрею хватило. Резким, отчаянным движением ноги он с размаху толкнул тяжёлое кресло на колёсиках прямо под ноги Грею, одновременно рванув с лацкана оторопевшего академика магнитный ключ и схватив со стола рюкзак.

Грей с проклятием рухнул на паркет, запутавшись в ножках кресла, и выстрелил вслепую — пуля с сухим треском разнесла хрустальный графин на столе.

— В лифт! Скорее! — крикнул Андрей, хватая Киру за руку.

Кира, забыв обо всякой светской чинности, обеими руками подхватила пышный шёлковый подол бального платья ампир и вихрем вылетела вслед за Андреем в боковую дверь, ведущую к служебному лифту. В тот самый миг, когда тяжёлые стальные створки кабины начали сходиться, в коридор выскочил разъярённый Маркус Торн. Две пули с глухим звоном сплющились о сталь закрывшихся дверей, и кабина стремительно понеслась вниз, на минус четвёртый уровень, в святая святых института — зал промышленного квантового реактора.

Выскочив в огромный, гудящий от низкочастотной вибрации бетонный зал, в центре которого под толстым стеклянным куполом переливалось холодным синеватым пламенем сердце лазерной установки, Андрей подбежал к главному распределительному пульту.

— Кира, держи медные клеммы! Я подключаю наш резонатор напрямую к импульсному накопителю! — кричал он сквозь нарастающий гул турбин, лихорадочно скручивая провода и выставляя на латунном лимбе координаты октября четырнадцатого года. — Семь секунд на зарядку — мы прыгаем в Цюрих, уничтожаем тетрадь, пока Ленин её не унёс, и сразу домой!

Кира, в своём растрёпанном бальном платье и сбившейся жемчужной нитью в волосах, крепко сжимала тяжёлый силовой кабель, глядя на индикатор заряда, где стрелка стремительно ползла вверх. В голове её не осталось ни тени сомнений: страшная карта Европы, выжженной атомным огнём до сорок восьмого года, стояла перед глазами как приговор. Этот «идеальный» мир держался на чудовищной цене, и её долг перед собственным временем был ясен как день.

И тут с оглушительным лязгом и снопом автогенных искр распахнулись бронированные двери бункера. На пороге стояли запыхавшиеся Маркус Торн и Саймон Грей с пистолетами наизготовку.

— Стоять, оба! Ни с места! — рявкнул Грей, целясь прямо в спину Андрею. — Отойди от пульта, парень, или я разнесу тебе позвоночник!

— Не стреляй, Саймон, реактор разнесёт к чертям! — быстро бросил Торн, делая осторожный шаг вперёд и растягивая губы в своей фирменной циничной улыбке. — Послушайте меня, Кира, Андрей. Зачем вам возвращаться в вашу нищую, разваливающуюся страну, где по улицам бродят бандиты, а деньги превращаются в бумагу? Отдайте прибор нам. В Вашингтоне вас осыплют золотом, дадут лучшие лаборатории, виллу у океана. Не будьте дураками!

Кира подняла голову и посмотрела прямо в холодные серые глаза американца. В её взгляде вдруг проснулась та самая гордая, неукротимая сила, с какой она когда-то смотрела в лицо жандармам в зале московского суда.

— Мы не торгуем Родиной, господин продюсер, — звонко ответила она. — Ни старой, ни новой. Включай, Андрей!

С этими словами Кира обеими руками с силой вдавила медную клемму в гнездо накопителя, а Андрей рванул вниз главный рубильник.

Подземный зал залило ослепительным, нестерпимым рубиново-золотым сиянием. Воздух запел высоким, хрустальным звоном, от которого заложило уши. Саймон Грей в ярости

спустил курок, но пуля, попав в закручивающуюся воронку хроно-луча, на глазах у остолбеневших американцев рассыпалась в мелкую серебристую пыль.

— Прыгаем! — крикнул Андрей, обнимая Киру за плечи и хватая раскалившийся докрасна резонатор.

В последнюю секунду, прежде чем ослепительный портал схлопнулся, оставив Маркуса Торна и Саймона Грея в пустом, дымящемся бункере прямо под дулами ворвавшихся сверху бойцов русской контрразведки, пространство вокруг Киры и Андрея закружилось в стремительном, беззвучном вихре.

Октябрь четырнадцатого года в Цюрихе встретил их пронизывающим до костей сырым туманом с озера и густым перезвоном трамваев на Банхофштрассе. Возникнув в тёмном переулке за углом от университетского пансиона, Кира и Андрей в первую же секунду поняли, что опоздали: тяжёлая дубовая дверь пансиона как раз захлопнулась, и по мокрой брусчатке быстрым, деловитым шагом удалялся невысокий коренастый человек в чёрном котелке и распахнутом пальто, прижимающий к груди тугой кожаный портфель.

— Унёс! — выдохнула Кира, чувствуя, как леденеют пальцы. — Тетрадь у него в портфеле! Если он дойдёт до конспиративной квартиры на Шпигельгассе и перепишет таблицы — всё пропало!

— Не дойдёт, — мрачно усмехнулся Андрей, оглядывая пустынную вечернюю улицу и пристраиваясь следом. — Держись за мной и подыгрывай.

Они нагнали Владимира Ильича у самого входа в уютную, пропахшую корицей, табачным дымом и свежими газетами швейцарскую кофейню «Одеон», куда вождь мировой революции имел привычку заглядывать по вечерам, чтобы просмотреть свежую прессу и сыграть партию в шахматы. Ленин уже уселся за угловой столик у мраморной колонны, положил портфель рядом на плюшевый диван и погрузился в чтение «Нойе Цюрхер Цайтунг», прихлёбывая горячий кофе из крошечной чашки.

План созрел мгновенно. Пока Андрей с самым невозмутимым видом прошёл вглубь зала и присел за соседний столик, раскрыв газету, Кира — всё ещё в своём шёлковом бальном платье ампир, накинув поверх плеч куртку Андрея — стремительно подошла к столику Ленина.

— Владимир Ильич! Слава богу, я вас застала! — воскликнула она взволнованным шёпотом, присаживаясь напротив.

Ленин вздрогнул, поверх газеты сверкнул на неё острым, прищуренным взглядом и мгновенно узнал недавнюю гостью из будущего:

— Батенька мой... Кира?! Вы снова здесь? Что стряслось? Неужели в расчётах прокралась ошибка?!

— Хуже, Владимир Ильич! — с самым трагическим видом зашептала Кира, бросая тревожные взгляды на входную дверь. — Царская охранка выследила наш пансион! Два филёра в штатском только что расспрашивали швейцара о «русском господине в котелке»! Они идут сюда с обыском!

Брови Ленина мгновенно сдвинулись. Будучи старым, битым конспиратором, привыкшим всю жизнь уходить от слежки, он поверил этой новости без малейших колебаний.

— Вот как? Негодяи и до Цюриха добрались! — глухо бросил он, машинально схватившись за ручку портфеля.

И в ту же секунду у соседнего столика грянул спектакль. Андрей, дождавшись нужного момента, громко чихнул, опрокинул на пол медный поднос с кофейником и, вскочив на ноги, принялся по-немецки с жаром спорить с подбежавшим кельнером, размахивая газетой и загородив собой проход к колонне.

Ленин на одно мгновение обернулся на грохот, прикидывая пути отхода через чёрный ход кофейни, — и этого мгновения Кире хватило. Бесшумно щёлкнув замком портфеля, она вытащила заветную кожаную тетрадь и спрятала её под курткой.

— Уходите через кухню, Владимир Ильич, я задержу их у входа! — шепнула она.

— Благодарю, милая Кира! Славная вы конспираторша! — быстро пожал ей руку Ленин, подхватил полегчавший портфель и быстрым, кошачьим шагом скрылся за дверью в глубине зала, даже не подозревая, что его главное сокровище осталось в руках беглянки.

Не теряя ни секунды, Кира и Андрей выскользнули из кофейни в глухой, заросший плющом тупик за собором Гроссмюнстер. Достав из кармана зажигалку, Андрей чиркнул колёсиком, и Кира поднесла к синему язычку пламени толстую кожаную тетрадь. Сухие страницы, на которых была записана иная, выглаженная судьба целого века, вспыхнули жадным оранжевым огнём; пепел закружился в сыром цюрихском воздухе и осел на мокрый булыжник.

Когда догорел последний уголок переплёта, Андрей достал из рюкзака раскалившийся докрасна резонатор, обнял Киру за плечи — и через мгновение рубиновый луч прочертил воздух в последний раз.

— Ну что, — тихо улыбнулся он, стискивая её ладонь. — Пойдём домой? На Старом Арбате у стены Цоя нас, наверное, уже заждались.

Глава восьмая, в которой на Лубянке развевается чужой флаг, учебник истории рассказывает о потсдамской измене, а двое пришельцев отправляются на поиски забытого учёного

Очнулись они на знакомой, облупленной чугунной скамье напротив станции метро «Лубянка» — но первое, что ударило в глаза Кире, когда рассеялся последний рубиновый отблеск, была не родная советская вывеска «Детский мир», а огромное, во весь фасад серого здания бывшего КГБ полотнище с белыми звёздами и красно-белыми полосами, вяло полоскавшееся на сыром осеннем ветру.

Сказка закончилась — исчезло роскошное бальное платье, уступив место её старой джинсовой юбке и тёплой кофте, а в кармане нащупался потрёпанный советский паспорт с пропиской в родной квартире. У ног их на асфальте лежал окончательно выгоревший, почерневший от перегрузки медный резонатор Целовского — стеклянная трубка его треснула, и больше он не годился ни на один скачок сквозь время.

Андрей осторожно поднял Киру со скамьи, вглядываясь в её лицо. Чужая, картонно-благополучная память навсегда растворилась, оставив только её собственный, живой и тёплый взгляд.

Кира медленно поднялась со скамьи, сжимая в руке почерневший, треснувший медный резонатор, и растерянно огляделась.

— Андрей... — тихо позвала она, чувствуя, как к горлу подкатывает холодный, липкий страх. — Посмотри наверх. Что это?

Андрей, потиравший ушибленное при падении плечо, поднял голову — и замер как вкопанный. Над массивным подъездом здания на площади висела свежая латунная доска на двух языках, где крупные английские буквы безоговорочно подавляли мелкую кириллицу внизу: *«U.S. High Commissioner Administration / Управление Верховного комиссара США. Московский сырьевой округ № 1»*.

Москва вокруг была до ужаса нищей, обшарпанной и какой-то придавленной. По разбитому асфальту с грохотом прополз ржавый, списанный американский школьный автобус с мутными стёклами, набитый угрюмыми людьми в заношенных пуховиках. На углу у подземного перехода стоял патруль: двое рослых американских военных полицейских в белых касках с аббревиатурой «MP» и винтовками наперевес лениво жевали резинку, а рядом с ними, услужливо заглядывая им в глаза, переминался с ноги на ногу местный полицай в мешковатой тёмно-синей шинели без звёзд на погонах.

— Мы промахнулись... — глухо выдохнул Андрей, судорожно ощупывая карманы. — Когда Саймон Грей выстрелил в бункере, пуля задела край воронки, сбила калибровку... Это девяносто второй год, Кира, но это *не наш* девяносто второй!

Спрятав мёртвый, бесполезный прибор в брезентовый рюкзак и стараясь не привлекать внимания патрулей, они почти бегом спустились в тёмное, пахнущее сыростью и дешёвым табаком метро. В вагонах горела лишь половина ламп, на стенах вместо привычных схем висели плакаты на английском языке с призывами записываться на вахтовые работы на нефтяные промыслы Сибири, а в переходе на «Университете» измождённые старики торговали с газет поштучными сигаретами и консервами из американской гуманитарной помощи, принимая в оплату исключительно засаленные однодолларовые бумажки и местные «колониальные центы».

К счастью, старый кирпичный дом на Ломоносовском проспекте стоял на месте, и ключ в кармане Киры подошёл к замку её тесной, запущенной двухкомнатной квартиры — здесь не было ни следа былой роскоши клана Навроцких, лишь облупившиеся обои, холодные батареи и густой слой пыли на книжных полках.

Едва захлопнув дверь на все засовы, Кира и Андрей бросились к письменному столу. На краю его, рядом с пожелтевшими тетрадями с математическими расчётами, лежал потёртый, в мягкой бумажной обложке школьный учебник «Новейшая история Евразийских территорий», изданный в Чикаго на русском языке. А рядом стоял старенький, громоздкий компьютер с гудящим модемом, подключённым к университетской телефонной сети — в начале девяностых сеть эта работала из рук вон плохо, обрываясь каждые пять минут, но всё же позволяла заглядывать в электронные каталоги публичной библиотеки.

До глубокой ночи, при тусклом свете настольной лампы, они листали глянцевые страницы учебника и вглядывались в мерцающий зелёный экран монитора, по крупицам восстанавливая страшную картину того, как рухнула их Родина.

Чикагский учебник «Новейшая история Евразийских территорий» был написан гладким, елейным, почти хвалебным слогом — в нём не было ни единого слова об измене или грабеже, но за каждым витиеватым абзацем проступала леденящая душу правда.

— Смотри сюда, Андрей... — прошептала Кира побелевшими губами, водя пальцем по длинной главе о завершении Второй мировой войны. — В нашей истории Сталин довёл страну до Победы и прожил до пятьдесят третьего года. А здесь написано: *«В ноябре 1944 года, в разгар тяжелейших боёв, верховный главнокомандующий И. В. Сталин, к великому сожалению, не выдержал колоссального нервного напряжения и скоропостижно скончался на ближней даче от апоплексического удара. Его достойным преемником на посту Генерального секретаря ЦК КПСС стал выдающийся государственный деятель Л. П. Берия, сумевший проявить невиданную политическую мудрость и гибкость»*.

— «Не выдержал напряжения» в сорок четвёртом году, когда фронт уже катился к Берлину и победа была в руках?! — мрачно усмехнулся Андрей, покачивая головой. — Слишком уж вовремя случился этот «удар». А в чём же заключалась хвалёная «гибкость» преемника?

— Читай дальше, тут целый гимн его миролюбию! — Кира перевернула страницу. — Летом сорок пятого на Потсдамской конференции Лаврентий Павлович Берия, как пишет учебник, *«отказался от имперских амбиций предшественника ради вечного мира и добрососедства»*. Он торжественно согласился немедленно вывести все советские войска с территорий Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Болгарии и Германии!

— Он сдал всю Восточную Европу одним росчерком пера?! — ахнул Андрей. — Да за что?!

— За то, что в следующей главе называют *«величайшим актом гуманизма Соединённых Штатов»* — за распространение на СССР американского «Плана Маршалла»! — с горькой

иронией ответила Кира, переходя взглядом на экран компьютера, где после долгого писка модема наконец загрузились экономические таблицы из университетского архива. — В учебнике поют дифирамбы американским инвестициям, спасшим страну от послевоенной разрухи. Но посмотри на сухие цифры в сети, Андрей!

Андрей наклонился к монитору, всматриваясь в столбцы статистики пятидесятых и шестидесятых годов. Картина складывалась без единого слова обвинений — чистая математика, от которой холодела кровь. Под видом «оптимизации и интеграции в мировой рынок» американские корпорации закрыли или перепрофилировали почти все советские машиностроительные, авиационные и приборостроительные гиганты. Кредиты «Плана Маршалла» шли исключительно в одно русло — в нефтяные вышки Западной Сибири, газопроводы, лесоповал и рудники. Все командные высоты в экономике перешли к заокеанским консорциумам, фундаментальные НИИ упразднили за ненадобностью, а в 1961 году на околоземную орбиту вышел не Юрий Гагарин, а американский астронавт Джон Гленн.

— Они просто купили Берию лестью и обещаниями золотых гор, сыграв на его тщеславии, — тихо, с холодной яростью проговорил Андрей, отрываясь от экрана. — А потом тихо превратили великую державу в бесправный сырьевой придаток. Без науки, без промышленности, без космоса и без собственного голоса.

В комнате повисла тяжёлая, звенящая тишина. За окном в ночной темноте провыла сирена американского военного патруля, напомнив о комендантском часе.

Андрей медленно перевёл взгляд на стол, где лежал треснувший, выгоревший хронорезонатор, а затем посмотрел на Киру. В его глазах больше не было растерянности — только твёрдая, упрямая решимость.

— Мы не можем оставить всё так, Кира, — сказал он. — Если в этом мире советскую науку удушили ещё в пятидесятых, то никакого величественного Института квантовой оптики здесь, скорее всего, нет. Но где-то в Москве обязан жить старик — Константин Викентьевич Целовский, внук нашего цюрихского изобретателя! Завтра с первым же рассветом, едва закончится комендантский час, мы найдём его. Чего бы нам это ни стоило.

Историческая справка

Потсдамская (Берлинская) конференция (в нашей реальности) прошла с 17 июля по 2 августа 1945 года во дворце Цецилиенхоф в Потсдаме (под Берлином) и стала третьей, заключительной встречей лидеров стран «Большой тройки» антигитлеровской коалиции после разгрома нацистской Германии.

Основные участники

СССР: Председатель Совнаркома И. В. Сталин (и нарком иностранных дел В. М. Молотов).

США: Президент Гарри Трумэн (сменивший умершего в апреле 1945 года Ф. Рузвельта; именно в Потсдаме Трумэн сообщил Сталину об успешном испытании в США нового сверхмощного оружия — атомной бомбы).

Великобритания: Премьер-министр Уинстон Черчилль (в середине конференции, после поражения консерваторов на выборах, его сменил новый премьер-министр Клемент Эттли).

Главные решения конференции

1. Судьба Германии (программа «четырёх Д»)

Союзники утвердили общие принципы оккупационной политики в Германии:

Демилитаризация — полное разоружение и роспуск германских вооружённых сил и военной промышленности.

Денацификация — ликвидация нацистской партии (НСДАП), отмена фашистских законов и предание главных военных преступников международному суду (будущему Нюрнбергскому трибуналу).

Демократизация — восстановление местного самоуправления, свободы слова, печати и демократических партий.

Демонополизация (декартелизация) — ликвидация крупных промышленных монополий и картелей, поддерживавших режим Гитлера.

2. Новые границы в Европе

Германия была разделена на четыре зоны оккупации (советскую, американскую, британскую и французскую), а Берлин — на четыре сектора.

Польша получила значительные германские земли к востоку от рек Одер и Западная Нейсе (Силезию, Померанию, южную часть Восточной Пруссии).

СССР получил город Кёнигсберг (ныне Калининград) и прилегающий к нему район Восточной Пруссии.

3. Репарации

Каждая держава-победительница должна была взимать репарации преимущественно из своей зоны оккупации. Дополнительно СССР получал 25% промышленного оборудования из западных зон (10% безвозмездно и 15% в обмен на продовольствие и сырьё из советской зоны).

4. Война с Японией и Потсдамская декларация

От имени США, Великобритании и Китая (26 июля 1945 года) была опубликована **Потсдамская декларация** с требованием безоговорочной капитуляции Японии.

Сталин подтвердил обязательство СССР вступить в войну против Японии ровно через три месяца после капитуляции Германии (СССР выполнил его 8–9 августа 1945 года).

Глава девятая, в которой храм науки превращается в сырьевую контору, на улицах гремит чужой рок девяностых, а великий физик торгует сигаретами в подземном переходе

Едва над серой, промозглой Москвой забрезжил мутный ноябрьский рассвет, Кира и Андрей вышли из подъезда. Утренняя столица встречала их суетливым, нервным гулом девяностых годов — но этот знакомый ритм был странным, вывернутым наизнанку, словно они попали в глухую провинцию заокеанской империи.

Вдоль разбитых тротуаров тянулись бесконечные ряды уродливых металлических ларьков и коммерческих палаток, обклеенных яркими импортными плакатами. Из хриплых динамиков, выставленных прямо на козырьки киосков, во всю мощь гремела американская музыка девяностых — надрывный гранж *Nirvana*, ритмичный рэп и слащавые поп-хиты, полностью вытеснившие привычные песни на русском языке. Над каждым вторым магазином и банком висели кричащие неоновые и пластиковые вывески исключительно на английском языке, где мелкий русский перевод ютился в самом низу, словно сноска в инструкции: *«Pacific Trust Bank»*, *«General Motors Service»*, *«Siberian Timber & Oil Corp»*.

По серой слякоти проспектов с ревом проносились чадящие, списанные из американских штатов жёлтые школьные автобусы, битком набитые угрюмыми москвичами, спешившими на смену, и старые, проржавевшие «Форды» и «Шевроле» восьмидесятых годов, привезённые сюда втридорога со свалок Нью-Джерси. Люди вокруг были одеты в пеструю, нелепую гуманитарную одежду из американского секонд-хенда — куртки с эмблемами чужих бейсбольных команд, растянутые свитера и стоптанные кроссовки.

На перекрёстках лениво прогуливались парные патрули: местные сотрудники муниципальной полиции в тёмно-синих куртках с нашивкой *«Municipal Security»* и рослые американские военные полицейские в белых фуражках с чёрными буквами **MP** на рукавах и рациями на

плече. Стоило из-за угла выскочить сверкающему чёрному внедорожнику с дипломатическими или корпоративными номерами США, как полицаи мгновенно вскидывали руку к козырьку, а водители старых «Жигулей» и «Фордов» шарахались к обочине, уступая дорогу хозяевам города.

По дороге к центру Кира и Андрей миновали квартал в районе Остоженки, наглухо отрезанный от остального города бетонными блоками и полосатым шлагбаумом с будкой частной американской охраны. За ограждением начинался другой мир — чистый, сытый, сияющий витринами супермаркетов и вывесками дорогих ресторанов, куда входили исключительно граждане США и сотрудники корпораций. На воротах висела латунная табличка: *«U.S. Personnel Only / Вход местному населению без пропусков воспрещён»*. А у самого шлагбаума уже с утра топталась длинная, молчаливая очередь москвичей — инженеров, учителей и бывших научных сотрудников, пришедших наниматься на подённую работу: разгружать фуры, мыть витрины и убирать дворы.

Чуть дальше, на углу Садового кольца, у бывшего гастронома, толпились люди с сумками и бидонами — там с утра открылся пункт выдачи гуманитарной помощи, где двое сержантов интендантской службы в камуфляже сгружали с грузовика коробки с сухим молоком, банками фасоли и дешёвыми соевыми концентратами, сверяя магнитные вкладыши в паспортах.

Первым делом Кира и Андрей направились к бывшему Институту квантовой физики — туда, где в прежнем девяносто втором году возвышался величественный стеклянно-гранитный дворец науки. Однако на знакомом месте их ждало горькое, удручающее зрелище. Парадный портал института был наглухо заложен кирпичом, позолоченные буквы названия сбиты с фасада так, что на сером граните остались лишь тёмные следы, а над главным входом кричала яркая пластиковая вывеска: *«Continental Oil & Timber Exchange / Континентальная нефтяная и лесная биржа»*. Во внутреннем дворе, где некогда прогуливались профессора, теперь громоздились ржавые морские контейнеры с маркировкой порта Хьюстона и деловито сновали грузчики под присмотром охранников с резиновыми дубинками.

Кира и Андрей долго бродили по окрестностям обнесённого оградой квартала, заглядывали в пустые переулки, расспрашивали редких прохожих, но никто ничего не знал: институт разогнали ещё в пятидесятые годы, уникальные лабораторные стенды вывезли за океан, и следы старых сотрудников давно затерялись в огромном, придавленном нуждой городе.

Озябшие и окончательно упавшие духом, они спустились в ближайший подземный переход у станции метро. Здесь, под тускло мигающими лампами дневного света, пахло сырым бетоном, мокрой синтетикой и дешёвым табаком. Вдоль облупленных кафельных стен плечом к плечу стояли молчаливые, измождённые москвичи — бывшие конструкторы, врачи, музыканты, — держа на картонных коробках нехитрый товар: поштучные сигареты, банки гуманитарной тушёнки, пожелтевшие книги из домашних библиотек и старинные фарфоровые статуэтки.

Кира и Андрей уже собирались пройти мимо к турникетам, как вдруг оба одновременно замедлили шаг. Неведомая, почти магнитная сила — то самое необъяснимое притяжение судьбы, которое в старой Москве порой сводит нужных людей на самом краю пропасти, — заставила их повернуть головы к сырой бетонной колонне в дальнем углу перехода.

Там, в стороне от шумного потока, стоял сухощавый, прямой, несмотря на глубокую старость, мужчина в поношенном, но аккуратно заштопанном твидовом пальто и старой каракулевой шапке. На шее у него на бечёвке висел фанерный лоток с тремя пачками американских сигарет «Лаки Страйк» и коробком спичек.

Андрей замер, вглядываясь в знакомый профиль — седую бородку клинышком, тонкие, аристократические пальцы в вязаных митенках и старенькие очки в роговой оправе, перемотанной синей изолентой.

— Кира... — тихо, едва шевеля губами, выдохнул Андрей, чувствуя, как по спине пробежал холодок. — Посмотри туда. Это же он... Константин Викентьевич!

Они подошли ближе, не веря собственным глазам. Старик, заметив остановившихся перед ним молодых людей, вежливо, с какой-то щемящей, старорежимной деликатностью приподнял шляпу и тихо произнёс:

— Сигареты поштучно, господа. Два колониальных цента за штуку, спички бесплатно. Прошу прощения, сдачи с бумажного доллара у меня, к сожалению, нет.

Кира посмотрела в его ясные, пронзительные серые глаза — в них не было ни попрошайничества, ни злобы, лишь тихая, гордая усталость человека, прожившего долгую жизнь в чужом, враждебном мире, но не утратившего достоинства.

— Здравствуйте, Константин Викентьевич, — негромко, с внезапно севшим от волнения голосом сказал Андрей, склоняясь к самому уху старого физика, чтобы их не услышали в шуме толпы. — Нам не сигареты нужны. Мы пришли к вам по делу вашего деда, Андрея Викентьевича Целовского. По поводу цюрихского эксперимента четырнадцатого года.

Старый академик вздрогнул всем телом, словно от удара током. Фанерный лоток в его руках едва не перевернулся. Медленно, очень медленно он снял перемотанные изолентой очки и в упор поглядел на непрошеных гостей — сперва на потёртую куртку Андрея, затем на бледное, взволнованное лицо Киры.

— Вы из тайной полиции комиссариата? — тихо, без всякого страха, но с ледяным презрением спросил он. — Опять явились вынюхивать, не припрятал ли старик Целовский дедовские чертежи? Можете не стараться. Ваши заокеанские хозяева перерыли у меня всё ещё в пятидесятом, когда вывезли в Техас все наши архивы. Я обычный пенсионер, господа. Оставьте меня в покое.

— Мы не из полиции, Константин Викентьевич, — мягко сказала Кира, делая шаг ближе и прикрывая собой старика от любопытных глаз прохожих. — Мы пришли оттуда, куда ваш дед отправлял свой рубиновый луч. У нас в рюкзаке прибор его конструкции. Пожалуйста, пойдёмте отсюда в тихое место — нам больше не к кому обратиться.

Старик Целовский долго молчал, вглядываясь в их честные, измученные лица, и вдруг в его выцветших серых глазах вспыхнул знакомый, острый, живой огонёк — огонёк настоящего русского учёного, всю жизнь ждавшего чуда.

— Стало быть, не врала семейная легенда... — едва слышно прошептал он, аккуратно снимая с шеи фанерный лоток и пряча пачки сигарет в карман пальто. — Пойдёмте, дети мои. Здесь неподалёку, в Кривоколенном переулке, у меня каморка в полуподвале. Там и поговорим без лишних ушей.

Глава десятая, в которой под стук старинных ходиков в Кривоколенном переулке открывается тайна Пятого интернационала, а миллионер из Америки оказывается во главе коммунистов

Каморка Константина Викентьевича Целовского в Кривоколенном переулке представляла собой крошечное, сводчатое подземелье со слепым окошком под самым потолком, заложенным старыми подшивками газет. В углу мерно, с усталым скрипом тикали большие напольные часы без маятника, на столе теплилась керосиновая лампа — электричество в этом квартале давали лишь на два часа по вечерам, — а в воздухе густо пахло сушёными яблоками, книжной пылью и дешёвым табаком.

Едва тяжелая обитая войлоком дверь закрылась на засов и старик поставил на электроплитку закопчённый чайник, Андрей извлёк из рюкзака почерневший от перегрузки медный хроно-резонатор. Целовский долго, благоговейно гладил сухими пальцами холодный металл и

треснувшую кварцевую линзу, то и дело снимая и снова надевая свои перемотанные изолентой очки.

— Дедовская работа... — тихо повторял он, покачивая седой головой. — Никаких сомнений. Я мальчишкой видел точно такой же в его домашней мастерской на Мясницкой, перед тем как дед в сорок девятом году скоропостижно скончался, так и не смирившись с разгромом нашего института. Выходит, в вашем мире всё пошло иначе?

— Совсем иначе, Константин Викентьевич, — горько усмехнулся Андрей, присаживаясь на продавленный венский стул. — В нашем девяносто втором году Россия — пусть и переживающая тяжёлый, болезненный перелом — оставалась великой промышленной и космической державой. Но мы никак не можем взять в толк: как же так вышло у вас? В чикагском учебнике мы прочли про смерть Сталина в сорок четвёртом и про Потсдамскую уступку Берии. Но ведь в сорок пятом году СССР был страной-победителем с огромной армией! Неужели народ и партия так безропотно позволили превратить державу в сырьевую колонию?

Старый физик грустно усмехнулся, разливая по треснувшим фаянсовым чашкам бледный, едва заваренный кипяток, и опустился на табурет напротив.

— Эх, дети мои, в том-то и дьявольская хитрость истории, что никто не вводил сюда оккупационные войска сразу после Победы! Напротив — всё начиналось как сладкая, упоительная сказка, от которой у измученного войной народа закружилась голова!

Целовский отпил глоток горячей воды, прикрыв глаза, словно вглядываясь в далёкие сороковые годы.

— Едва в сорок пятом году Лаврентий Павлович подписал в Потсдаме соглашение о выводе наших войск из Восточной Европы и принятии американского «Плана Маршалла», на страну обрушился настоящий золотой дождь! Американцы не жалели средств: они наводнили Москву, Ленинград и всю страну первоклассными продуктами, добротной одеждой, лекарствами, тушёнкой и шоколадом. Люди, четыре года пухнувшие от голода и ходившие в залатанных телогрейках, вдруг увидели сытую, красивую жизнь!

— Они купили народ сытостью? — тихо спросила Кира.

— Не только сытостью, милая Кира — они покорили души! — вздохнул старик. — В каждом кинотеатре, в каждом сельском клубе с утра до ночи крутили трогательные, светлые американские фильмы: «Сестру его дворецкого», «Встречу на Эльбе», весёлые мюзиклы, где улыбчивые люди поют о дружбе и братстве. Из каждого репродуктора лилась зажигательная американская музыка, джаз, эстрада. Американские инженеры и строители действительно приехали в Москву и Ленинград — они помогали восстанавливать разрушенные кварталы, строили новые светлые жилые дома, школы, больницы, заново запускали стоявшие заводы. Казалось, наступил век всеобщего братства и вечного мира!

— Постойте, — нахмурился Андрей, сбитый с толку. — Но при чём тут тогда компартия и красные флаги, которые мы видели на старых плакатах? Если американцы так активно наводили свои порядки, куда делась советская власть?

При этом вопросе на лице Константина Викентьевича появилась такая едкая, по-настоящему булгаковская ироническая усмешка, что даже в полумраке каморки стало жутко.

— А вот тут-то и разыгрался самый смешной и страшный фарс двадцатого века, молодые люди! В начале пятидесятых годов, на волне этой великой «дружбы народов», Коммунистическая партия Соединённых Штатов официально перенесла свою штаб-квартиру из Нью-Йорка прямиком в Москву! Они объявили о теснейшем братском сотрудничестве с КПСС, и на торжественном конгрессе в Кремле обе партии слились в единый, нерушимый **Пятый интернационал**!

— Пятый интернационал?! — в один голос переспросили Кира и Андрей, не веря своим ушам.

— Именно так! — кивнул Целовский. — Под громкие лозунги о «мировом пролетарском единстве без границ» американские товарищи вошли в самые высшие эшелоны нашей власти, в Политбюро и Госплан. А спустя несколько лет, когда старая гвардия окончательно сошла со сцены, представитель американских коммунистов был единогласно избран Генеральным секретарём ЦК КПСС! Вы не ослышались: сегодня нашу родную Коммунистическую партию возглавляет стопроцентный американец — господин Макдуглас! И, что самое пикантное, этот пламенный борец за мировой коммунизм одновременно является нашим главным мультимиллионером и единоличным владельцем баснословно прибыльных промыслов по добыче каменного угля, золота и руды в Нерюнгри!

Кира потрясённо покачала головой: такого гротеска не придумал бы ни один сатирик.

— Но как же при всём этом у вас исчезли и наука, и машиностроение, и космос?! — спросил Андрей. — Ведь в конце сороковых они сами помогали восстанавливать заводы!

— А всё решил знаменитый **съезд ЦК КПСС в шестьдесят первом году**, который в газетах торжественно окрестили «съездом реформаторов», — глухо, с горькой болью ответил Целовский. — К тому времени американские «товарищи» в Политбюро окончательно прибрали к рукам управление экономикой. На том съезде они выдвинули гениальную в своём цинизме теорию: зачем, мол, Советскому Союзу тратить колоссальные народные средства на дорогостоящую фундаментальную науку, тяжёлое машиностроение, авиацию и пустые космические гонки, когда всё это можно дёшево купить у братских корпораций на Западе? А нашей стране природа даровала несметные богатства — нефть, газ, лес и уголь!

Старик сжал сухие кулаки на коленях, глядя на мигающий язычок керосиновой лампы:

— На съезде утвердили грандиозное планирование на несколько пятилеток вперёд — исключительно по ускоренному развитию нефтегазовых и добывающих отраслей Сибири и Дальнего Востока. Нам обещали, что на потоке нефтедолларов мы построим светлый коммунизм уже через двадцать лет! Под эти лозунги тихо прикрыли мой институт, разогнали конструкторские бюро, продали на металлолом уникальные стенды, а лучших наших физиков и ракетчиков вывезли по контрактам в Америку — именно благодаря им в шестьдесят первом году в космос первым полетел американец Джон Гленн! А когда через двадцать лет мировые цены на сырьё рухнули, выяснилось, что у нас не осталось ни своих станков, ни электроники, ни науки — только трубы, уходящие на Запад, да американская военная полиция, охраняющая интересы акционеров мистера Макдугласа!

В каморке повисла долгая, гнетущая тишина. Старинные напольные часы в углу хрипло пробили полдень, словно отсчитывая последние минуты уходящего времени.

Кира слушала старого физика, сжав кулаки так сильно, что побелели костяшки пальцев. В груди всё кипело от горького, бессильного возмущения.

— Неужели наш народ вот так просто смирился с тем, что им управляют из-за океана?! — не выдержала она, подаваясь вперёд над столом. — Неужели фронтовики, офицеры, прошедшие всю войну от Москвы до Берлина, не поняли, что страну тихо превратили в колонию?!

Константин Викентьевич Целовский вздрогнул, тревожно покосился на занавешенное газетами слепое окошко и приложил сухой палец к губам. Затем он наклонился через стол и заговорил совсем тихо, почти шёпотом — тем особым, заговорщическим тоном, каким в старой Москве привыкли говорить о запретном:

— Не все смирились, милая Кира. Ох, не все... Сопротивление вспыхивало не раз и не два, но всякий раз его топили в крови. Первое, самое страшное восстание поднялось летом пятьдесят третьего года, когда армейским командирам стало окончательно ясно, что под вывеской «Пятого интернационала» армию разоружают, а страну распродают по кускам. Возглавила заговор группа боевых генералов во главе с самим маршалом Георгием Константиновичем Жуковым. За одну июльскую ночь верные полки захватили узлы связи и военные аэродромы вокруг Москвы, блокировали казармы американских «советников»... Но к рассвету из Вашинг-

тона передали ультиматум: ежели русские части не сложат оружие, стратегические бомбардировщики сотрут с лица земли Москву и Ленинград атомными бомбами — точно так же, как в сорок пятом сожгли Хиросиму и Нагасаки. Чтобы не погубить миллионы ни в чём не повинных людей, маршал Жуков отдал приказ сложить оружие. Через неделю его и всех его боевых товарищей расстреляли по приговору закрытого трибунала.

— И после этого все замолчали? — глухо спросил Андрей.

— Нет, — покачал седой головой Целовский. — В шестьдесят первом году, сразу после того самого «съезда реформаторов», когда цены на хлеб и мясо взлетели втрое, а заводы по всей стране начали закрывать один за другим, вспыхнуло восстание на юге России, на Дону — в городе Новочеркасске. Рабочих электровозостроительного завода тогда поддержали донские казаки — казачьи станицы на Дону ещё сохраняли остатки прежней автономии и старинной вольницы. Люди вышли с оружием против марионеточной администрации. Но против них бросили регулярные американские военные подразделения с бронетехникой и авиацией. Восстание подавили с чудовищной, звериной жестокостью: людей расстреливали из пулемётов прямо на площади, а ночью трупы рабочих и казаков сбрасывали в глубокие рвы за городом и закапывали бульдозерами. До сих пор никто не знает, где именно лежат те безымянные могилы...

Старик перевёл дух, глядя на мигающий язычок керосиновой лампы, и продолжил ещё тише:

— А в августе шестьдесят восьмого года на Красную площадь вышли восемь смельчаков — молодых московских учёных и поэтов, так называемых диссидентов. Они сели прямо на брусчатку у Лобного места и развернули рукописный плакат: *«За нашу и вашу свободу! Долой колониальную администрацию! Россия — свободная страна!»*. Через три минуты всю шестёрку схватили агенты тайной полиции и бросили в закрытые спецтюрьмы. Никто не знает, живы ли они и где находятся сейчас. После этого всякий открытый протест в стране задушили на корню.

Кира ошеломлённо откинулась на спинку стула, глядя на старого учёного широко раскрытыми глазами:

— Постойте, Константин Викентьевич... Но как же американцы могли грозить нам атомной бомбой в пятьдесят третьем году?! Ведь у нас к тому времени уже была своя водородная бомба, а первую атомную мы испытали ещё в сорок девятом! Неужели у вас не было академика Курчатова и нашего ядерного щита?!

При этих словах Целовский в крайнем недоумении снял свои перемотанные изолентой очки и уставился на Киру так, словно она заговорила на марсианском наречии:

— Своя атомная бомба? У нас?! Помилуйте, детка, откуда бы ей взяться? Впервые слышу, чтобы в Советском Союзе вообще велись подобные разработки! Да, припоминаю, в сороковые годы мелькала в академических кругах фамилия ленинградского физика Игоря Васильевича Курчатова — талантливый был специалист по ядерной физике, но совсем молодой, мало кому известный. В самом конце сорок четвёртого года, вскоре после смерти Сталина, Курчатов погиб при каких-то тёмных, загадочных обстоятельствах — то ли в авиакатастрофе, то ли просто бесследно исчез, и все его лабораторные журналы сгинули без следа. Всякий, кто пытался после войны заикнуться о самостоятельных ядерных исследованиях, тут же объявлялся «поджигателем новой мировой войны» и отправлялся в лагеря. Так что против американского атомного кулака нам нечего было выставить, кроме голых рук.

В каморке повисла мёртвая, леденящая душу тишина. Только старые ходики в углу мерно, безжалостно отстукивали секунды. Кира с болью в голосе сжала ладони на столе:

— А как же наши писатели, Константин Викентьевич?! Как же наши режиссёры, поэты, артисты — вся наша великая русская культура?! Неужели и они все склонились перед Америкой и ничего не делают, чтобы разбудить народ и помочь России снова стать независимой страной?!

Старый физик горько усмехнулся, поправил перемотанные изолентой очки и развёл сухими руками:

— Эх, милая Кира... Кого не сломали в лагерях в пятидесятые, тех приручили долларовыми гонорарами и путёвками в Калифорнию. Признаться, я давно не слежу за нынешними театрами и книгами — да у меня, старого пенсионера, и средств-то нет в кино ходить. Помню только, лет тридцать назад вышел один удивительный, очень громкий фильм — снял его наш знаменитый режиссёр Сергей Бондарчук, назывался картина «Судьба человека». Весь мир тогда плакал!

— «Судьба человека»?! — оживилась Кира, на мгновение обрадовавшись знакомому названию. — Но ведь это же великий фильм о нашем русском солдате Андрее Соколове!

— О русском солдате? Помилуйте, детка, с чего вы взяли? — искренне удивился Целовский. — Это трогательнейшая история о простом американском солдате, который во время Второй мировой войны попал в плен, чудом выжил и вышел из госпиталя в Германии — а дома в Америке жена, получив ложную похоронку, ушла от него к другому и увезла с собой двоих детей. Солдат остался совершенно одинок на чужбине, не понимая, к кому и зачем ему теперь возвращаться за океан. Устроился он шофёром, колесил на грузовике по разбитым дорогам послевоенной Германии — и вдруг встретил у разрушенной чайной маленького русского мальчишку-сироту, беспризорника Ванюшу. Пожалел его американец, сказал ему: *«Я твой отец»*, усыновил и увёз с собой в солнечную Америку, в новую счастливую жизнь! Очень трогательный, гуманный фильм, скажу я вам. Бондарчук после этого триумфа, по-моему, даже в Голливуде весьма успешно работал, «Оскара» получил...

В каморке снова повисла тяжёлая, удушливая тишина. Андрей отвернулся к сырой стене, стиснув зубы так, что заходили желваки. Даже великая боль и подвиг русского солдата в этом вывернутом наизнанку мире были переписаны в красивую сказку о добром заокеанском благодетеле.

Кира медленно подняла глаза на Андрея, а затем перевела взгляд на почерневший хронорезонатор на столе.

— Значит, корень всего этого балагана лежит там — в ноябре сорок четвёртого года, — твёрдо произнесла она. — Если Сталин не умрёт на ближней даче в Кунцеве и Берия не станет генсеком, не будет ни Потсдамской сдачи Европы, ни Пятого интернационала, ни мистера Макдугласа.

— Верно, детка, — кивнул Константин Викентьевич, поднимаясь со стула и подходя к старым напольным часам в углу. — Вот только чтобы запустить дедовский прибор и пробить дорогу в сорок четвёртый год, нам понадобится колоссальный заряд энергии... и кое-что из тайника моего деда.

Справочная информация:

1

Новочеркасское восстание (Новочеркасский расстрел, реальные события в нашем времени) — это массовая забастовка и антиправительственные выступления рабочих в городе Новочеркасске (Ростовская область) 1–3 июня 1962 года, жестко подавленные армией и КГБ**.** **Причины.** Резкое повышение розничных цен на мясо и масло (в среднем на 30%) совпало со снижением расценок на труд на Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ). Ситуацию накалил грубый ответ директора завода Бориса Курочкина, предложившего рабочим вместо мяса есть «пирожки с ливером».

Ход событий. 1 июня началась забастовка на НЭВЗе, к которой присоединились другие жители города. Утром 2 июня многотысячная колонна протестующих двинулась к центру города и зданию горкома КПСС.

Подавление. По приказу руководства СССР во главе с Никитой Хрущёвым в город ввели войска и танки. При попытке толпы ворваться в здание горкома и горотдела милиции военные открыли огонь на поражение. (При этом генерал-лейтенант Матвей Шапошников отказался выполнять приказ об атаке демонстрантов танками).

Жертвы и последствия. По официальным данным, при разгоне демонстрации погибли 26 человек, ещё 87 получили ранения. Последующий суд приговорил семерых активных участников к смертной казни (расстрелу), а более 100 человек получили длительные лагерные сроки.

Засекречивание и реабилитация. Информация о трагедии была строго засекречена вплоть до конца 1980-х годов. В 1996 году указом президента РФ все осужденные по этому делу были официально реабилитированы.

Бойня в Новочеркасске: "Но был один, который не стрелял"

Отказ от исполнения приказа в Новочеркасске стоил генерал-лейтенанту Матвею Шапошникову военной карьеры, партбилета и привел к уголовному преследованию, а реабилитирован он был только в эпоху перестройки**.**







На момент восстания в июне 1962 года Шапошников был Героем Советского Союза, прошедшим всю Великую Отечественную войну (включая Сталинград, Курскую дугу и форсирование Днепра), и занимал пост первого заместителя командующего Северо-Кавказским военным округом (СКВО).

Как развивалась его судьба после 2 июня 1962 года

Поступок на мосту. Получив приказ атаковать танками многотысячную колонну рабочих у моста через реку Тузлов, он ответил: *«Не вижу перед собой такого противника, которого следовало бы атаковать нашими танками»*. Чтобы исключить случайную стрельбу, генерал приказал танкистам и мотострелкам разрядить оружие и сдать боеприпасы.

Опала и отставка. Сразу после событий его не арестовали — помешали огромный боевой авторитет и звание Героя СССР. Однако карьерный рост остановился, за ним установили негласный надзор, а в июне 1966 года 59-летнего генерала отправили в запас.

Попытка предать правду огласке. Не смирившись с замалчиванием трагедии, Шапошников написал несколько писем в ЦК КПСС, писателям и студентам, где рассказывал о расстреле рабочих и критиковал партийную верхушку. Он подписывался псевдонимом «Неистовый Виссарион».

Уголовное дело. В 1967 году КГБ вычислил автора писем. Шапошникова исключили из КПСС, провели у него дома обыск (изъяв личные дневники) и возбудили уголовное дело за «антисоветскую агитацию и пропаганду». От тюрьмы или психбольницы его спасло лишь вмешательство боевых товарищей-фронтовиков и прежние военные заслуги — в конце 1967 года дело прекратили.

Годы забвения и реабилитация. Более двадцати лет генерал жил в Ростове-на-Дону в фактической изоляции. О его поступке молчали. Лишь в 1988 году с него сняли все обвинения и восстановили в партии, а в 1989 году о его подвиге впервые написала советская пресса.

Матвей Кузьмич Шапошников скончался 25 июня 1994 года в Ростове-на-Дону и был похоронен на Северном кладбище с воинскими почестями. На его памятнике выбита эпитафия: *«У каждого есть своя война и свой Новочеркасск, но не каждый выходит из них так, как Матвей Кузьмич Шапошников»*.

2

25 августа 1968 года в полдень на Красной площади в Москве восемь советских диссидентов провели мирную демонстрацию против ввода войск СССР и стран Варшавского договора в Чехословакию («Пражская весна»).

Основные факты

Дата и место: 25 августа 1968 года, около 12:00, у Лобного места на Красной площади.

Причина: протест против подавления реформ «Пражской весны» и введения иностранных войск в Чехословакию.

Ход акции: участники развернули плакаты и флаги (в том числе чехословацкий) и сели на парапет. Через несколько минут они были задержаны сотрудниками КГБ и милиции в штатском.

Участники («семеро» и Татьяна Баева)

В акции приняли участие восемь человек, но в историю она чаще вошла как «демонстрация семерых», поскольку Татьяну Баеву вывели из дела по ходатайству родителей и общественности:

Константин Бабицкий
Татьяна Баева
Лариса Богораз
Наталья Горбаневская
Вадим Делоне
Владимир Дремлюга
Павел Литвинов
Виктор Файнберг [1, 2]

Последствия и приговоры

Суд (октябрь 1968 года): пятерых участников осудили по статьям Уголовного кодекса РСФСР (в частности, за «клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй» и нарушение общественного порядка) на сроки лишения свободы и ссылки.

Принудительное лечение: Виктора Файнберга и Наталью Горбаневскую признали невменяемыми и направили в специальные психиатрические больницы.

Значение: акция стала одним из самых известных событий советского правозащитного и диссидентского движения.

Участники держали самодельные плакаты и чехословацкий флаг, который принесла Наталья Горбаневская. Точные формулировки лозунгов были следующими:

«За вашу и нашу свободу!» (знаменитый польский революционный девиз XIX века, ставший главным символом акции).

«Позор оккупантам!»

«Руки прочь от ЧССР!»

«Свободу Дубчеку!» (Александр Дубчек — первый секретарь ЦК КПЧ, лидер реформ «Пражской весны»).

«Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!» (написан на чешском языке: *«Ať žije svobodné a nezávislé Československo!»*).

Глава одиннадцатая, в которой трое заговорщиков ищут правду о кремлёвском враче, открывают тайник в старых часах и намечают прыжок в сорок четвёртый год

Когда первый шок от рассказа о гибели маршала Жукова и таинственном исчезновении Курчатова немного улёгся, в полуподвальной каморке в Кривоколенном переулке повисла напряжённая, сосредоточенная тишина. Керосиновая лампа на столе потрескивала, отбрасывая на сводчатый потолок длинные, причудливые тени.

— Значит, вот где находится точка перелома, — негромко произнесла Кира, сцепив пальцы на коленях и глядя на остывший чайник. — Ноябрь сорок четвёртого года. Ближняя дача в Кунцеве.

— Погоди, Кира, давай рассуждать трезво, как математики и физики, — возразил Андрей, начиная нервно мерить шагами тесную комнату от верстака до напольных часов. —

Первая мысль, которая приходит в голову: Сталин в сорок четвёртом году был полон сил и железной воли. В нашей истории он прожил ещё девять лет. Слишком уж удачно для Берии и его заокеанских друзей случился этот «апоплексический удар» накануне Победы! Если его отравили — нам нужно прыгать в октябрь сорок четвёртого года и любым способом предупредить вождя или его личную охрану о готовящемся покушении.

— А если нет? — тихо, но веско перебил его Константин Викентьевич Целовский, протирая свои перемотанные изолентой очки. — А ежели в этой реальности, где история и без того дала трещину, у Иосифа Виссарионовича и впрямь не выдержало сердце? Представьте себе: вы прорвётесь сквозь кордоны НКВД в военную Москву, попадёте в застенки Лубянки с криками «Берия — изменник!», а Сталин возьмёт да и умрёт у вас на глазах от обычного инсульта! И что тогда? Вас расстреляют как американских шпионов, а Лаврентий Павлович всё равно сядет в кресло генсека и подпишет в Потсдаме ту же самую бумагу!

Кира и Андрей переглянулись. Довод старого академика был убийственно точным: прыгать в сорок четвёртый год вслепую, не зная истинной причины смерти Сталина и не понимая, кто именно в окружении Берии дёргал за ниточки, было чистым самоубийством.

— Нужно узнать правду здесь, в девяносто втором году, прежде чем мы выставим координаты на лимбе, — твёрдо сказала Кира. — В колониальном учебнике нам правду не напишут, там сплошной елей. Но в Москве обязаны были сохраниться свидетели, старые врачи из Кремлёвской больницы, архивные протоколы вскрытия или закрытые мемуары!

— Архивы Лубянки и Кремля американцы вывезли или опечатали ещё в пятидесятых, — покачал головой Целовский. — Туда простому смертному не пробраться. Но... — старик на мгновение замолчал, внимательно, с прищуром вглядываясь в лица Киры и Андрея, словно всё ещё взвешивая, можно ли до конца доверять этим нежданным пришельцам. — Но у нас в Москве есть тайное научное подполье, дорогие мои. Немного нас осталось, но мы держимся друг за друга. Есть среди нас старые историки, выгнанные из университетов за отказ переписывать учебники под диктовку из Чикаго, а есть и кремлёвские врачи. Одному из них, Григорию Самойловичу, в ноябре сорок четвёртого года было всего двадцать пять лет — он работал молодым ординатором при Кремлёвской больнице и лично присутствовал в качестве ассистента при вскрытии тела Сталина. Сейчас ему уже за семьдесят, но память у старика острее бритвы. Думаю, о той ночи в Кунцеве он расскажет вам такое, чего вы не найдёте ни в одной газете.

Кира на секунду задумалась, теребя край старой скатерти, а затем подняла на физика тревожный, полный горечи взгляд:

— А как же простые люди, Константин Викентьевич? Рабочие, студенты, инженеры на заводах и стройках — неужели они все смирились с этой жизнью и в стране совсем нет никакого сопротивления?

Старый академик долго молчал. В его выцветших серых глазах всё ещё читалась привычная, выработанная десятилетиями слежки осторожность человека, который привык сто раз отмерить, прежде чем открыть душу. Наконец он негромко вздохнул, поправил перемотанные изолентой очки и заговорил чуть тише:

— Как нет? Есть, конечно. Народ наш не сломать ни сытыми подачками, ни дубинками полицаев. По утрам на заборах и стенах заводов постоянно появляются рукописные и отпечатанные на ксероксах листовки, призывающие не мириться с грабежом страны. Даже в этой их компьютерной сети, в университетском интернете, то и дело всплывают подпольные сайты и форумы, где люди объединяются, спорят и призывают к всеобщей забастовке — правда, американские службы их тут же блокируют, но назавтра появляются новые. Сопротивление есть, и по всей стране оно очень мощное — и в Сибири, и на Урале, и здесь, в Москве. Люди доведены до отчаяния и готовы восстать хоть завтра. Беда лишь в том, что нет пока единого объединяющего центра, нет лидера и настоящей силы, способной выстоять против их военной машины.

Андрей медленно кивнул, обмениваясь с Кирой взглядом: теперь они видели, что страна не мертва — она лишь ждёт искры, но дать ей шанс можно только там, в ноябре сорок четвёртого года.

— И второе, Константин Викентьевич, — Андрей остановился у стола и положил ладонь на треснувший медный корпус хроно-резонатора. — Даже если мы узнаем всю правду до последней запятой — на чём мы полетим в сорок четвёртый год? Стеклянная трубка лопнула, кварцевый накопитель выгорел дотла.

Старый академик загадочно улыбнулся, поднялся с табурета и подошёл к большим напольным часам в углу каморки. Отодвинув тяжёлый дубовый корпус от сырой кирпичной стены, он нащупал за резным карнизом скрытую деревянную задвижку, щёлкнул ею — и открыл узкую, сухую нишу в толще кладки.

Оттуда Целовский бережно извлёк завёрнутый в промасленную вощёную бумагу свёрток и потрёпанную кожаную тетрадь в клеёнчатой обложке.

— Дед мой, Андрей Викентьевич, был человеком слова и честно сжёг чертежи машины времени в восемнадцатом году, — негромко произнёс старик, разворачивая шуршащую бумагу на верстаке. — Но как всякий истинный русский физик, он не мог выбросить на помойку редчайшие материалы, которые вырастил собственными руками. Здесь — запасной монокристалл искусственного рубина, выточенный им ещё в семнадцатом году, и две неиспользованные кварцевые линзы. Починить прибор и заменить сгоревший сердечник я смогу за две ночи, благо часовой инструмент у меня под рукой.

— А энергия? — быстро спросила Кира. — В прошлый раз нам потребовался промышленный квантовый генератор!

— С этим сложнее, — вздохнул Целовский, разглаживая ладонью обложку дедовской тетради. — Своих реакторов у нас не осталось. Единственная установка во всей Москве, способная выдать нужный импульсный разряд такой мощности, находится в закрытой «Зелёной зоне» на Тверской — в главном технологическом центре корпорации «Американ Энерджи», куда наши заокеанские благодетели свезли лучшее оборудование со всей страны. Охраняют её, как Форт-Нокс.

— Значит, у нас две задачи, — подвёл итог Андрей, глядя то на Киру, то на старого физика. — Первая: через ваших людей из подполья выяснить, от чего на самом деле умер Сталин в ноябре сорок четвёртого и кто стоял за спиной Берии. И вторая — придумать, как пробраться в «Зелёную зону» и прикурить наш резонатор от американского генератора.

Старик Целовский молча кивнул, сдвигая на лоб перемотанные изолентой очки, и придвинул к себе часовую лупу. Работа началась.

Глава двенадцатая, в которой рублевая ассигнация из иного мира открывает двери тайного общества «Хранители», учёные узнают о украденной славе послевоенных десятилетий, а кунцевская ночь обретает имена

Прежде чем вести Киру и Андрея к своим товарищам, Константин Викентьевич Целовский решил действовать по всем правилам старой, проверенной десятилетиями конспирации. Оставив гостей дожидаться в своей полуподвальной каморке в Кривоколенном переулке, старый физик застегнул на все пуговицы потрёпанное твидовое пальто, нахлобучил каракулевую шапку и в одиночку отправился на другой конец города.

Сначала он долго шёл пешком по заснеженным, промозглым переулкам, то и дело останавливаясь у витрин и оглядываясь, нет ли за спиной «хвоста» из тайной полиции комиссариата, затем спустился в тёмное, сырое метро и с двумя пересадками добрался до старого профессорского дома на Соколе. Там жил его ближайший друг ещё с довоенных университетских

времён — бывший историк-архивист Алексей Петрович, один из основателей и негласных руководителей подпольного общества «Хранители».

Вообще-то тайное общество «Хранители» насчитывало по всей Москве и области несколько сотен человек: опальных академиков, уволенных конструкторов, старых врачей и преподавателей, сорок лет сберегавших по домашним тайникам запрещённые книги, архивы и русскую научную мысль. Но ради безопасности организации на экстренные сборы никогда не выходили всей массой — созывался лишь узкий **представительский комитет из шести старейшин**, каждый из которых отвечал за своё направление и передавал решения по цепочке.

Когда Целовский переступил порог квартиры на Соколе и шепотом сообщил другу, что в Москве объявились двое пришельцев из параллельного, несломленного 1992 года, Алексей Петрович сперва с тревогой поглядел на старого товарища, решив, что у того от голода и многолетнего одиночества помутился рассудок.

— Помилуй, Костя, какие ещё пришельцы из другого мира?! — тихо воскликнул историк, усаживая гостя у остывшей батареи. — Уж не провокация ли это комиссариата? Они нынче хитрые стали, подсылают молодёжь под видом подпольщиков...

— Я ручаюсь за них собственной головой, Алёша! — твёрдо ответил Целовский и торжественно выложил на стол взятую у Андрея бумажную купюру — **советскую банкноту образца 1991 года** с профилем Ленина, водяными знаками и гербом несуществующего в этом мире могучего Советского Союза, а рядом положил свой старый потрёпанный паспорт с пропиской из параллельной Москвы. — Погляди на бумагу, на типографскую краску, на серию! В нашем мире с сорок шестого года в ходу одни лишь американские доллары и колониальные боны! Никакая тайная полиция не станет печатать в подполье деньги несуществующей державы ради одного старого часовщика!

Алексей Петрович долго разглядывал купюру через увеличительное стекло, щупал хрустящую бумагу сухими пальцами и наконец тихо, потрясённо выдохнул:

— Невероятно... Настоящий государственный знак! Хорошо, Костя. Я сейчас же запущу оповещение по цепочке. Завтра в девять вечера, сразу после начала комендантского часа, представительский комитет «Хранителей» соберётся в старом месте — в подземелье анатомического корпуса на Моховой. Приводи своих гостей.

— ✦ —

Поздним вечером следующего дня, когда над притихшей Москвой повалил густой, мокрый снег, Константин Викентьевич провёл Киру и Андрея через заснеженный хозяйственный дворик старого университета на Моховой и трижды условно постучал в обитую железом дверь бывшей котельной.

В просторном сводчатом подземелье, освещённом двумя самодельными аккумуляторными фонарями, за длинным дубовым столом уже сидели шестеро пожилых людей — цвет и гордость той русской науки, которую сорок лет назад попытались задушить заокеанские ревизоры. Одеты они были бедно — в потрёпанные шерстяные свитера, заштопанные пиджаки и валенки, — но держались с тем спокойным, величественным достоинством, какое не отнимут никакие патрули.

Едва Кира и Андрей уселись за стол и продемонстрировали старейшинам свои паспорта, несколько советских купюр и медный хроно-резонатор с новым рубиновым кристаллом, настороженность мгновенно сменилась жгучим, почти детским волнением. Старики засыпали гостей вопросами о том **гордом тридцатилетии — с сорок пятого по конец семидесятых годов**, которое в их реальности обернулось временем сырьевой кабалы, а в мире Киры и Андрея стало эпохой величайшего триумфа. При этом старые учёные спрашивали с трогательной осторожностью, отталкиваясь от своей горькой, обкраденной действительности:

— Скажите, молодые люди... — с дрожью в голосе начал седовласый физик-теоретик в очках с толстыми линзами. — В нашей реальности после Потсдамской сделки нас убедили, что

разоренная войной Россия не потянет ни атомную энергетику, ни ракетную технику. А у вас? Неужели наша страна всё-таки сумела подняться из руин без заокеанских подачек?

— Не просто поднялась, профессор! — с горячим волнением ответила Кира, глядя в их светящиеся надеждой глаза. — Уже через четыре года после Победы, в сорок девятом, наши физики под руководством академика Курчатова испытали собственную атомную бомбу и создали ядерный щит, так что никто в мире больше не смел грозить нам ультиматумами! В пятьдесят четвёртом в Обнинске заработала первая в мире атомная электростанция, а следом мы спустили на воду первый атомный ледокол «Ленин»!

— Атомный ледокол?! Наш, советский?! — потрясённо переспросил бывший кораблестроитель на краю стола, сжав кулаки так, что затрещали суставы. — Боже правый... А космос? У нас в шестьдесят первом на орбиту вышел американец Джон Гленн, а нам сказали, что русским в небе делать нечего...

— В нашем мире первым в космосе был наш, русский парень — Юрий Гагарин, двенадцатого апреля шестьдесят первого года! — с гордой улыбкой сказал Андрей, видя, как по морщинистым щекам стариков текут слёзы. — А за четыре года до него, в пятьдесят седьмом, мы запустили первый искусственный спутник Земли — и всё человечество заучило русское слово «спутник» без перевода! В шестидесятые и семидесятые годы наши автоматические станции первыми достигли Луны и Венеры, Алексей Леонов первым в мире вышел в открытый космос, а на орбите работали наши пилотируемые станции «Салют»!

— Слышите, коллеги?! «Салют»! — прошептал историк Алексей Петрович, вытирая тыльной стороной ладони набежавшую слезу. — А что же наша литература, театр, кинематограф? У нас после войны всё свелось к перепевкам голливудских мелодрам...

— У нас в конце пятидесятых и в шестидесятые случился настоящий расцвет искусства! — подхватила Кира. — Фильм «Летят журавли» взял «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, Сергей Бондарчук снял грандиозную эпопею «Война и мир», получившую «Оскара», а его «Судьба человека» была честной, великой трагедией о русском солдате Андрее Соколове, а не сказкой об американском шофёре! Весь мир зачитывался нашими поэтами, смотрел наши фильмы и слушал нашу музыку!

В подвале на несколько секунд повисла торжественная, светлая тишина. Казалось, в сыром подземелье вдруг стало теплее и светлее от одной только мысли, что их народ способен на такое величие.

— Знать, что наше дело и наши жертвы не пропали даром хотя бы в соседней реальности — это лучшее лекарство, которое мы получали за последние сорок лет, — негромко произнёс грузный, седой мужчина в старом шерстяном кардигане, бывший врач Четвёртого главного управления Минздрава Григорий Самойлович. — Говорите, дети мои, чем наш комитет может помочь вам, чтобы вы вернули нашей стране её украденную судьбу?

— Нам нужна правда о ноябре сорок четвёртого года, — твёрдо сказал Андрей, опускаясь на табурет у стола. — Официальный чикагский учебник утверждает, что Сталин умер на ближней даче в Кунцеве от естественного апоплексического удара. Мы должны знать наверняка: был ли это инсульт или убийство?

Вперёд выступили двое: Григорий Самойлович и историк-архивист Алексей Петрович.

— Никакого естественного удара не было, молодые люди, — глухо, с горькой уверенностью произнёс старый врач, опуская на стол потёртую кожаную папку. — В ноябре сорок четвёртого года мне было всего двадцать пять лет, я работал молодым ординатором при Кремлёвской больнице и присутствовал в качестве ассистента при вскрытии тела Иосифа Виссарионовича.

В подвале стало тихо-тихо. Все невольно подались ближе к свету фонаря.

— Официально нам приказали записать в протокол кровоизлияние в мозг, — продолжал Григорий Самойлович. — Но мой наставник, старый профессор-патологоанатом, сразу пока-

зал мне характерные следы на слизистой и зрачках. У Сталина были все клинические признаки острого отравления редчайшим органическим ядом растительного происхождения — веществом без вкуса и запаха, которое вызывает мгновенный спазм сосудов головного мозга и через несколько часов полностью распадается в крови, имитируя обычный инсульт!

— Яд? — выдохнула Кира. — Но кто мог подсыпать его на самой охраняемой даче страны?!

— А вот на этот вопрос ответит наш тайный архив, — подхватил историк Алексей Петрович, раскрывая кожаную папку и доставая оттуда пожелтевшие копии шифровок и протоколов, вынесенные им из спецхрана в пятьдесят первом году. — Вся охрана ближней дачи и даже прислуга подчинялись непосредственно ведомству Лаврентия Павловича Берии. За два дня до трагедии на даче сменили дежурного офицера охраны — им стал капитан **Сергей Дроздов**, человек из ближнего круга Берии, который за полгода до этого таинственным образом выезжал по спецзаданию в нейтральную Швейцарию. В Женеве резидентура американской разведки вышла на эмиссаров Берии и предложила дьявольскую сделку: устранить неуступчивого Сталина, который ни за что не уступил бы ни пяди освобождённой Европы, а взамен пообещали новому генсеку личную неприкосновенность, поддержку Вашингтона и триллионные кредиты по будущему «Плану Маршалла».

— И Берия согласился... — прошептала Кира. — А как же ваш профессор, который понял про яд?

— На следующее утро профессор погиб под колёсами грузовика прямо у ворот больницы, а я дал подписку о неразглашении под страхом расстрела всей семьи, — мрачно усмехнулся Григорий Самойлович. — А через месяц при столь же «случайных» обстоятельствах в авиакатастрофе погиб и Игорь Васильевич Курчатов — Берия убрал всех, кто мог помешать его сделке с заокеанскими партнёрами.

Кира и Андрей переглянулись. Теперь у них на руках были не догадки, а железные факты: **начало ноября 1944 года, ближняя дача в Кунцеве, офицер охраны Сергей Дроздов и яд, привезённый из Швейцарии**.

— Значит, мы знаем точную цель, — твёрдо сказал Андрей, поднимаясь из-за стола. — Теперь осталось одно: зарядить прибор Целовского от американского генератора в «Зелёной зоне» на Тверской и шагнуть в осень сорок четвёртого года.

— В этом вам поможет весь наш комитет, — поднялся седовласый профессор-физик, и остальные старейшины дружно кивнули. — У «Хранителей» есть свои люди среди ночных русских техников, обслуживающих подстанции в «Зелёной зоне». Завтра ночью мы проведём вас внутрь.

Далее вставить главу как Они перелетели в 1944 год

Глава, в которой в военной Москве пахнет жареной картошкой и озоном, гипнотизёр Мессинг читает чужие мысли, а хозяин Кремля ставит пришельцам невыполнимое условие

Выброшенные рубиновым лучом в ноябрьскую Москву сорок четвёртого года, Кира и Андрей в первые минуты едва не закоченели: после сырого подвала девяностых суровый, колючий ветер военной столицы пробирал до самых костей. Чтобы не привлекать внимания военных патрулей на пустынных, затемнённых улицах, они поскорее нырнули в переполненный, гудящий зал ожидания пригородных поездов у Белорусского вокзала — там от чугунных батарей и плотной толпы в мокрых шинелях шло спасительное тепло, пахло махоркой, дешёвым мылом и горячим кипятком из титана.

Присев на краешек дубовой скамьи в углу, подальше от глаз дежурного милиционера, они перевели дух и быстро наметили первый шаг. Идти прямиком в Кремль или на ближнюю дачу в Кунцеве с предупреждением о заговоре Берии было чистым самоубийством — любая попытка подойти к охране закончилась бы в ту же минуту в застенках Лубянки, в руках людей

самого Лаврентия Павловича. К тому же им обоим требовались надёжный кров, документы, одежда по эпохе и горячая еда — со вчерашнего вечера у них во рту не было ни крошки.

— На Мясницкую, к деду Целовского, — тихо сказал Андрей, поправляя за спиной лямки брезентового рюкзака с резонатором. — В сорок четвёртом Андрей Викентьевич жив, здоров и работает здесь, в Москве. Если мы покажем ему прибор его собственной конструкции и записку от его внука из девяносто второго года, он без лишних вопросов приютит нас, накормит и поможет легализоваться.

Спустя полчаса они уже стояли у знакомого дореволюционного особняка на Мясницкой, окна которого были крест-накрест заклеены бумажными полосками светомаскировки. Когда на условный стук дверь открыл сам Андрей Викентьевич Целовский-старший — ещё бодрый, подтянутый шестидесятилетний профессор с аккуратной седой бородкой клинышком, в старом вязаном жилете поверх косоворотки, — и увидел в руках Андрея усовершенствованный медный резонатор и письмо от своего внука Кости, старый физик едва не лишился дара речи.

Он молча втащил их в свою тёплую, заставленную книжными шкафами и приборами квартиру при лаборатории, запер дверь на все засовы и первым делом усадил продрогших гостей за обеденный стол. Спустя четверть часа на клеёнке уже дымилась большая чугунная сковорода с рассыпчатой картошкой, поджаренной на постном масле с луком, стояла миска хрустящей квашеной капусты, ломти тяжёлого чёрного хлеба, выкупленного по профессорским карточкам, и заварной чайник с ароматным морковным чаем. Кира и Андрей ели так, словно не видели пищи неделю, чувствуя, как с каждым глотком горячего чая отступает ледяное напряжение последних дней.

За ужином они вкратце поведали профессору, какая страшная беда грозит стране через несколько дней в Кунцеве и во что превратится Россия через полвека, если Берия захватит власть. Целовский-старший слушал, нахмурив седые брови, затем бережно осмотрел принесённый ими резонатор, покачав головой от восхищения перед мастерством своего будущего внука.

— Костя превзошёл меня, чертяка... — пробормотал он, разглядывая через лупу компактный радиоизотопный блок питания, вмонтированный в медный корпус. — Автономный изотопный сердечник! С таким накопителем вам не нужно искать электростанцию в полевых условиях — заряда хватит ещё на три или четыре полноценных прыжка во времени! Правда, судя по нагреву кварцевого контура, после каждого скачка прибору потребуется ровно двадцать четыре часа на остывание и регенерацию. А чтобы вы не сбились с координат при возвращении, я подключу здесь, в своей лаборатории, стационарный генератор-маяк и буду подавать несущую частоту строго по расписанию.

Поужинав и впервые за долгое время выспавшись в тепле на мягких диванах в кабинете профессора, утром Кира и Андрей облачились в добытую Целовским скромную одежду сороковых годов и получили временные командировочные удостоверения сотрудников его лаборатории.

Оставался главный вопрос: как донести правду о заговоре Берии до самого Сталина, минуя всесильного наркома внутренних дел?

— Нам нужен человек, которому Сталин доверяет, но который не подчиняется ведомству Берии, — задумчиво сказала Кира за утренним чаем. — Человек, для которого слова «путешествие во времени» не прозвучат как бред сумасшедшего или шпионская легенда.

Андрей выглянул в окно на заснеженную Мясницкую, где на афишной тумбе у перекрёстка белела свежая театральная афиша, — и вдруг хлопнул себя ладонью по лбу:

— Мессинг! Вольф Мессинг! Легендарный телепат и гипнотизёр! Он же сейчас в Москве, даёт концерты для фронта, и весь город шепчется, что сам Сталин принимает его без доклада! Ему не нужно доказывать на бумаге, откуда мы пришли — он сам прочтёт наши мысли!

— ✦ —

В тот же вечер, разыскав по афише, что сеанс «психологических опытов» Вольфа Мессинга проходит в переполненном зале клуба имени Зуева на Лесной улице, Кира и Андрей дождались окончания выступления и, воспользовавшись суматохой у служебного входа, проскользнули за кулисы.

За сценой пахло пыльным бархатом кулис, дешёвой пудрой, мокрой шерстью шинелей и свежесрезанными хризантемами, которые преподнесли артисту раненые офицеры из первого ряда. Пройдя по узкому коридору, они тихо постучали в дверь с фанерной табличкой «Гримёрная».

— Войдите, пожалуйста, дверь не заперта, — раздался изнутри глуховатый, бархатный голос с мягким польским акцентом.

В тесной, скромно обставленной комнатке, освещённой одной лишь лампочкой над зеркалом в гримёрном столике, сидел невысокий худощавый человек в поношенном чёрном концертном костюме. У него была пышная, всклокоченная грива тёмных с проседью волос, крупный, выразительный нос и огромные, пронзительные, словно бездонные глаза, в которых, казалось, плескалась вековая, нечеловеческая усталость.

Увидев на пороге двоих незнакомцев в скромной одежде сороковых годов, Вольф Григорьевич Мессинг даже не удивился — он лишь устало прикрыл веки, прижал длинные, нервные пальцы к вискам и тихо проговорил:

— Не подходите слишком близко... От вас слишком сильно фонит чужим временем. Девяносто второй год? Боже правый, какая горечь и какая пустота в той Москве, откуда вы явились... Я вижу чужой флаг над Лубянкой и яд в хрустальном графине на даче. Так кто же вы?

— Мы пришли из будущего, Вольф Григорьевич, — тихо, но твёрдо сказала Кира, прикрывая за собой дверь и накидывая крючок. — Из девяносто второго года. Но из того девяносто второго года, где наша страна проиграла всё, что сейчас завоёвывает такой страшной кровью.

Мессинг медленно открыл глаза и в упор, не мигая, посмотрел сперва на Киру, затем на Андрея. Взгляд его был тяжёлым, пронзительным, словно рентгеновский луч, просвечивающий человека насквозь.

— Из будущего... — задумчиво повторил он, сцепив пальцы на коленях. — Забавно. Всякий вечер со сцены я читаю чужие мысли о письмах с фронта, о потерянных хлебных карточках и о том, скоро ли возьмут Берлин. Но впервые в жизни передо мной стоят люди, чьи воспоминания ещё не случились. Позвольте мне проверить, не искусные ли вы гипнотизёры, подосланные ко мне с Лубянки.

Не дожидаясь разрешения, Мессинг подался вперёд, протянул сухую, горячую ладонь и коснулся запястья Андрея. Лицо телепата мгновенно напряглось, по лбу пробежала глубокая морщина, а дыхание стало частым и прерывистым.

— Вижу... — глухо заговорил он, глядя куда-то сквозь стену гримёрной. — Вижу странную серую площадь... Над большим серым зданием висит полосатый флаг со звёздами. Чужие солдаты в белых касках. Унижение... Огромная, богатая страна превращена в сырьевой рудник, а её великие умы торгуют папиросами в подземных переходах... И всё это начинается здесь, в Москве, через два дня!

Мессинг отдёрнул руку, словно обжёгшись, и тяжело откинулся на спинку стула, доставая из кармана платок, чтобы вытереть выступившую на лбу испарину.

— Ответьте мне на два вопроса, молодые люди, — тихо, но властно потребовал он, впиваясь в Киру горящим взглядом. — Во-первых, почему вы пришли именно ко мне, а не пошли прямиком в Кремль? И во-вторых — скажите честно, глядя мне в глаза: если вы сломаете этот страшный ход событий, что станет со мной самим в вашей настоящей истории?

— Мы пришли к вам, Вольф Григорьевич, потому что яд на ближней даче в Кунцеве через два дня должен подсыпать человек из ведомства Лаврентия Павловича Берии, — честно ответил Андрей. — Любой наш шаг к воротам Кремля приведёт нас прямо в подвалы Лубянки,

откуда мы уже не выйдем. А вы — единственный человек в Москве, к которому Иосиф Виссарионович прислушивается без посредников и охраны.

Мессинг медленно кивнул, принимая ответ, и перевёл вопрошающий взгляд на Киру:

— А мой второй вопрос, милая девушка? Я знаю, что многие в этой стране считают меня шарлатаном или прислужником власти, хотя я всего лишь несчастный еврей, потерявший в Польше всю свою семью и пытающийся выжить среди волков. Что скажут обо мне люди в вашем настоящем девяносто втором году?

Кира посмотрела на великого гипнотизёра с искренней теплотой и тихо улыбнулась:

— В нашем девяносто втором году ваше имя стало легендой, Вольф Григорьевич. О вас пишут книги, снимают фильмы, а ваши предсказания о скором конце войны и падении Гитлера в мае сорок пятого года помнит каждый человек в России. Вы проживёте долгую жизнь, будете собирать полные залы до самой старости и останетесь для всех загадкой, которую так никто и не сумел разгадать.

На усталом, измождённом лице Мессинга впервые за весь разговор появилась тихая, благодарная и чуть грустная улыбка. Он снова прикрыл глаза, на несколько мгновений погрузившись в глубокий транс — пытаясь заглянуть туда, за грань грядущих дней, где решалась судьба страны.

— Я вижу тёмный особняк за Москвой-рекой... — прошептал он, открывая глаза. — Зелёную лампу и человека с трубкой, который никому не верит, но носит в сердце тяжёлую отцовскую рану. Я помогу вам, дети мои. Завтра же утром я пробьюсь к Хозяину и передам ему то, что увидел в ваших мыслях. Будьте готовы к полуночи: за вами придут люди, которым он доверяет больше, чем собственной тени.

— ✦ —

Слово своё Мессинг сдержал. На следующий день он прошёл в Кремль и передал Сталину то, что увидел в сознании двух странных пришельцев. Сталин, обладавший звериным чутьём на опасность и давно подозревавший, что вокруг него сгущается невидимая тень, не стал вызывать ни охрану, ни наркомвнудел. Он приказал устроить тайную встречу глубокой ночью — не в Кремле и не в Кунцеве, где каждый шаг фиксировали ищейки Берии, а в старом, неприметном замоскворецком особнячке в глухом переулке за Ордынкой, где ещё с подпольных дореволюционных времён сохранилась конспиративная квартира, известная лишь двоим самым преданным ординарцам вождя.

Ровно в полночь Киру и Андрея провели через тёмный заснеженный двор в небольшую, скромно обставленную комнату с зашторенными окнами, книжным шкафом и зелёной настольной лампой.

Скрипнула боковая дверь — и на пороге появился он.

Сталин оказался совсем невысоким, даже меньше, чем выглядел на парадных портретах, в простом сером френче без погон, с мягкими кавказскими сапогами, ступавшими по половицам почти бесшумно. Но едва он поднял голову и в упор поглядел на вошедших из-под густых, насупленных бровей своими тяжёлыми, жёлто-карими глазами, в комнате словно стало тесно от незримой, давящей силы. От этого негромкого человека исходила такая ледяная, гипнотическая мощь, внушающая одновременно и невольное уважение, и животный страх, что у Андрея мгновенно пересохло в горле.

Сталин молча прошёл к столу, раскурил погасшую трубку, выпустил густое облако сизого дыма и тихо, с отчётливым грузинским акцентом произнёс:

— Мессинг рассказал мне удивительную сказку. Про девяносто второй год, про яд на моей даче и про то, что мой ближайший соратник продаст Победу за американские кредиты. Говорите. У вас есть десять минут, прежде чем я решу, кто вы — сумасшедшие или вражеские агенты.

Стараясь унять дрожь в голосе, Андрей шагнул вперёд и выложил на стол всё: и про отравленный напиток, который через два дня должен подменить на ближней даче завербованный капитан охраны Дроздов, и про Потсдамскую сдачу Восточной Европы, и про хищнический «План Маршалла», превративший великую страну в сырьевую колонию, где в космос первыми полетели американцы. Кира молча положила на зелёное сукно привезённые из 1992 года колониальные центы, фотографии чужого флага над Лубянкой и схему резонатора Целовского.

Сталин слушал, не перебивая. Ни один мускул не дрогнул на его рябоватом, усталом лице. Когда Андрей замолчал, вождь долго смотрел на разложенные перед ним бумаги и монеты, затем медленно покачал головой:

— Бумажки напечатать нетрудно. Фотографии подделать — ещё проще. А предателей вокруг меня всегда хватало, я в них и без пришельцев из будущего разбираюсь. Не верю я в ваши сказки про машину времени, товарищи.

Он отвернулся к зашторенному окну, заложив левую руку за борт френча, и тихо, словно проверяя их на прочность, проговорил:

— Впрочем... ежели вы и впрямь умеете шагать сквозь годы и можете сделать всё, о чём рассказываете...

Сталин вдруг осёкся. Плечи его чуть опустились, а когда он снова повернулся к ним, в его суровом голосе зазвенел металл, за которым скрывалась такая глубокая, нечеловеческая отцовская боль и страдание, что у Киры болезненно сжалось сердце. В этот миг перед ними стоял не всесильный вождь половины мира, а постаревший, измученный войной отец, потерявший первенца:

— Достаньте мне моего сына Якова, — глухо, почти шёпотом приказал Сталин, впиваясь в них тяжёлым, горящим взглядом. — Вытащите его из немецкого плена и верните живым. И сделайте это так, чтобы ни одна живая душа — ни в Берлине, ни в Москве, ни тем более Лаврентий — об этом не узнала. Спасёте Якова — тогда я поверю каждому вашему слову и сам раздавлю гадину. А нет... — он коротко махнул трубкой в сторону двери, — значит, пустая вы болтовня.

В тихой замоскворецкой комнате повисла звенящая тишина.

— ✦ —

Вернувшись глубокой ночью на Мясницкую, Кира и Андрей разбудили Андрея Викентьевича Целовского-старшего. Узнав, какое условие поставил вождь, старый физик лишь крякнул, натянул поверх ночной рубашки тёплый халат и немедленно спустился с ними в свою подземную лабораторию.

Прежде чем запускать генератор, все трое уселись за старый чертёжный стол под зелёной лампой, разложив перед собой потрёпанную карту Германии и подробный план-схему окрестностей Ораниенбурга, который за полчаса до их прихода доставил в лабораторию молчаливый ординарец из Замоскворечья — вместе с небольшим фибровым чемоданом.

— Прыгать вслепую в лес под Берлином нельзя, — твёрдо сказал Андрей, водя карандашом по схеме концлагеря Заксенхаузен. — Вокруг лагеря три ряда колючей проволоки под током, минные поля и вышки с пулемётами. Снаружи мы внутрь не пробьёмся. Значит, Андрей Викентьевич, вам придётся навести рубиновый луч с ювелирной точностью — **прямо внутрь периметра**, в пустующий ночью угол санитарного барака у особого сектора «А», где немцы держат важных пленных, включая Якова Джугашвили.

— Задача не из лёгких, но выполнимая, — пробормотал Целовский, поправляя очки и прикидывая углы склонения на логарифмической линейке. — Координаты лагеря в сорок третьем году мне известны до метра. Но как вы там продержитесь целые сутки, пока изотопный сердечник в вашем резонаторе будет набирать заряд для обратного прыжка?! Ведь вас схватят при первой же проверке!

— Не схватят, если мы явимся туда не как беглецы, а как хозяева, — тихо усмехнулась Кира, открывая присланный из Кремля фибровый чемодан.

Внутри лежали безупречно выглаженный тёмно-серый мундир гауптштурмфюрера медицинской службы СС, строгий женский костюм, белые врачебные халаты, стетоскоп и папка с подлинными трофейными бланками берлинского Главного санитарно-гигиенического управления, скреплёнными гербовыми печатями со свастикой.

— Я с университетских лет свободно говорю по-немецки — без акцента, на берлинском диалекте, ещё со времён стажировок и чтения немецкой технической литературы, — пояснил Андрей, прикидывая на себя мундир. — По легенде я — доктор Отто Рихтер, инспектор из берлинского Института гигиены, прибывший с внеплановой ночной проверкой в связи со вспышкой сыпного тифа в соседних бараках. А Кира — моя ассистентка и стенографистка фройляйн Клара Вебер.

— А мой немецкий куда скромнее, — добавила Кира, улыбнувшись. — Но по легенде строгая берлинская стенографистка вообще не обязана разговаривать с лагерной охраной — она лишь молча записывает показания в журнал и носит саквояж с инструментами, в котором как раз и спрятан наш резонатор!

— Блестяще! — одобрительно кивнул Целовский-старший. — Под предлогом срочного карантинного осмотра вы потребуете отвести вас в особый барак к старшему лейтенанту Джугашвили, объявите, что у него подозрение на опасную инфекцию, и прикажете перевести его в пустой бокс изолятора под ваш личный надзор. Там вы и переждёте сутки, пока прибор не будет готов к возвращению!

Профессор поднялся, подошёл к латунным шкалам стационарного генератора-маяка и строго посмотрел на обоих поверх очков:

— Изотопный сердечник в вашем переносном приборе полностью восстановился, заряда на прыжок в Германию и обратно хватит с избытком. Но запомните главное правило: после материализации в сорок третьем году прибору понадобится ровно двадцать четыре часа на регенерацию. Раньше этого срока вы не сможете включить обратный луч. А ровно через сутки — завтра в полночь по московскому времени — я здесь, в лаборатории, запущу несущую частоту маяка на пятнадцать минут. Если вы успеете активировать резонатор в это окно, луч вернёт вас вместе с сыном вождя прямиком сюда, на этот самый ковёр. Опоздаете хоть на минуту — маяк выключится, и вы останетесь в руках гестапо.

Кира и Андрей переоделись, спрятали резонатор на дно медицинского саквояжа под стерильными бинтами и сверили стрелки на командирских часах. Встав в центр лаборатории, они взялись за руки, и Андрей повернул медный лимб до упора. Воздух загудел, ослепительный рубиново-золотой луч ударил из кварцевого глазка — и военная Москва сорок четвёртого года растворилась в сияющей мгле.

Глава 2

Глава первая, в которой в холодном Смольном заключают сделку с вечностью, а двое пришельцев находят в себе чужую память

В феврале восемнадцатого года Петроград стоял заиндевелый, строгий и неузнаваемо тихий, словно огромный гранитный корабль, вышедший из жестокого шторма на ровную, глубокую воду. Не было на Невском ни погромных костров, ни голодного воя, ни озверелых патрулей, срывающих с прохожих шубы. Новая власть, с первых же дней пошедшая по мудрой, гибкой колее — оставив за собой банки, заводы-гиганты и железные дороги, но не тронув ни лавочника, ни ремесленника, ни крепкого пахаря, — сумела удержать страну на краю бездны. По торцовым мостовым деловито цокали копытами извозчичьи рысаки, в витринах кондитерских уже снова зажигались тёплые жёлтые огни, а над всем этим притихшим, работящим городом гудел студёный балтийский ветер.

В один из таких морозных вечеров к величественному бело-голубому фасаду бывшего Смольного института благородных девиц, где по обе стороны парадного подъезда дымили два небольших костра, у которых грелись красногвардейцы в тулупах с винтовками на ремне, подкатили лёгкие сани. Из них, поправляя сбившееся пенсне и прижимая к груди потёртый кожаный саквояж, вышел высокий, худощавый господин в бобровой шапке и длинной шубе — Андрей Викентьевич Целовский.

Узнав о том, что Россия избежала кровавой смуты и встала на невиданный доселе путь разумного созидания, московский чудак-изобретатель не усидел в благополучном Цюрихе. Свернув свою швейцарскую лабораторию, он первым же поездом через Швецию и Финляндию вернулся на родину — и не успел ещё толком разобрать чемоданы в своей квартире на Мясницкой, как получил из Петрограда короткую, но настоятельную телеграмму за подписью Председателя Совнаркома.

Пройдя по длинным, гулким, пахнущим карболкой, махоркой и мокрыми шинелями коридорам Смольного, мимо спешащих курьеров с портфелями и грохочущих за дверями пишущих машинок, Целовский поднялся на второй этаж. Секретарь, сверившись со списком, молча распахнул перед ним белую филёнчатую дверь.

Кабинет Владимира Ильича оказался на удивление скромным: простой письменный стол, заваленный газетами, декретами и гранками, жёсткие венские стулья, большая карта России на стене, испещрённая цветными карандашными пометками, да старенький кожаный диван у перегородки. Едва Целовский переступил порог, навстречу ему из-за стола стремительно поднялся сам Ленин — в неизменном тёмном костюме-тройке, с живым, быстрым блеском прищуренных глаз.

— А, батенька мой! Андрей Викентьевич! Наконец-то явились! — воскликнул Владимир Ильич с тем характерным, энергичным грассированием, в котором слышалась неподдельная радость. Он крепко тряхнул руку учёного и усадил его в кресло у стола. — Слышал, слышал о вашем возвращении! И весьма рад, что не остались в швейцарском болоте. Ну-с, признавайтесь сразу: саквояж-то тот самый привезли?

Целовский смущённо кашлянул, погладил бородку клинышком и похлопал ладонью по тугой коже саквояжа:

— Тот самый, Владимир Ильич. Усовершенствованный. В Цюрихе я почти довёл до совершенства калибровочный лимб. Теперь я могу отправлять материальные тела в любую точку грядущего столетия без прежних сбоев. Готов поставить сие открытие на службу новой России!

Ленин вдруг перестал улыбаться. Он опустился на свой жёсткий стул, сцепил пальцы на столе и долго, пристально смотрел на изобретателя тем пронзительным, тяжёлым взглядом, от которого у видавших виды комиссаров порой холодело под ложечкой.

— На службу России, говорите? — тихо и веско переспросил он. — А вы подумали, батенька, что случится с нашей Россией, ежели мы оставим эту вашу калиточку в будущее открытой?

Целовский растерянно моргнул за стёклами пенсне:

— Помилуйте, Владимир Ильич, но ведь наука... Мы сможем заглядывать вперёд, избегать ошибок, заимствовать передовые технологии...

— И тем самым в два счёта свернём себе шею! — отрезал Ленин, стукнув ребром ладони по столу. Он подался вперёд, понизив голос почти до шёпота, словно опасаясь, что даже стены старого института могут подслушать эту тайну: — Послушайте меня внимательно, Андрей Викентьевич. Вы человек умный, физик, а я — политик и практик. Я своими глазами видел в цюрихской гостиной, как из воздуха вывалились гости из девяносто второго года. И я своими глазами прочёл тетрадь милой Киры. Мы сейчас с вами получили величайший, неслыханный в истории шанс — построить могучую, справедливую, богатую державу без братоубийственной бойни. Конструкция эта сейчас — тоньше паутины! Любой неосторожный шаг, любой новый «путешественник» из грядущего, который сунется сюда со своими советами, или, упаси бог, какой-нибудь авантюрист, который проберётся к вашему прибору, — и вся наша новая история рассыплется в прах! Река времени снова сорвётся в кровавый омут!

В кабинете Смольного повисла тишина, нарушаемая лишь тихим потрескиванием дров в белой изразцовой печи да глухим стуком часового за дверью.

Целовский медленно опустил голову, глядя на свой кожаный саквояж. В памяти его вдруг всплыли его собственные слова, сказанные когда-то Кире на цюрихской набережной: о том, что реку времени нельзя поворачивать вспять по прихоти человека, ибо история беспощадно карает дерзких экспериментаторов.

— Выходит... вы предлагаете закрыть проект? — глухо спросил учёный.

— Не просто закрыть, Андрей Викентьевич, — мягче, с той особой, убеждающей теплотой, перед которой не мог устоять ни один собеседник, ответил Ленин. — Мы заключим с вами государственный договор. Вы собственными руками разберёте ваш хроно-излучатель и уничтожите все калибровочные таблицы, чтобы ни у одной живой души не осталось соблазна дёргать судьбу за хвост. А взамен... Взамен Советское правительство сегодня же подпишет декрет об основании в Москве Государственного института квантовой оптики и энергетики под вашим бессменным руководством! Направляйте ваш гениальный рубиновый луч не в прошлое и не в будущее, а сюда, в настоящее! Дайте стране невиданную связь, новые станки, чистую энергию, лазерную хирургию! Сделайте так, чтобы через семьдесят лет наша Россия сияла, как алмаз!

Целовский поднял глаза. Лицо его просветлело, в серых глазах вспыхнул знакомый лихорадочный, творческий огонь — но теперь в нём не было прежней тревоги за сломанные судьбы.

— По рукам, Владимир Ильич! — твёрдо произнёс изобретатель, протягивая руку через стол. — Слово русского физика: ни один луч больше не пробьёт завесу времени. Мы построим будущее своими руками, здесь и сейчас.

Сделка была скреплена в тот же вечер. Вернувшись в Москву, Андрей Викентьевич Целовский честно выполнил обещание: он разобрал цюрихский прототип до последнего винтика, сжёг в камине тетради с расчётами временных контуров и наложил негласный, священный запрет на любые опыты со временем. Основанный им институт за несколько десятилетий преобразил облик страны, подарив миру чудеса квантовой оптики и чистой энергетики, а о «цюрихском эксперименте» в семье академика Целовского-младшего сохранилась лишь полузабытая домашняя легенда.

И никто в этом новом, сияющем и безупречном мире не подозревал, что спустя семьдесят четыре года тишину Москвы всё-таки прорежет запретный рубиновый луч — потому что из исчезнувшей, горькой реальности в этот рай вернулись двое, принеся с собой последний, чужеродный хроно-резонатор.

На следующий день после возвращения в обновлённую Москву 1992 года Кира и Андрей сидели в просторной, залитой утренним солнцем гостиной её новой квартиры на Ломоносовском проспекте. За окном шумели широкие, утопающие в зелени проспекты незнакомой, процветающей столицы, но внутри комнаты царила напряжённая, почти звенящая тишина.

На полированном ореховом столе перед ними лежали две стопки документов: их собственные потрёпанные паспорта, с которыми они шагнули из старой реальности, и безупречно оформленные удостоверения этого нового мира — с дипломными корочками МГУ, пропусками в закрытые академические институты и свежими американскими визами.

— Я никак не могу уложить это в голове, Андрей, — тихо проговорила Кира, прижимая ладони к вискам. — Куда делись *me* Кира и Андрей, которые жили здесь до вчерашнего вечера? Мы ведь не могли просто вытолкнуть их в небытие, правда?

Андрей устало потёр переносицу и подошёл к окну, задумчиво глядя на бесшумно скользящие внизу элегантные автомобили.

— Я всю ночь думал об этом, опираясь на записи старого Целовского, — глухо ответил он. — Похоже, сработал закон сохранения личности, своего рода квантовая склейка. Во Вселенной не может существовать двух абсолютно тождественных сознаний в одной точке пространства-времени. Когда наш луч замкнул контур, наши с тобой личности не уничтожили местных двойников, а слились с ними, поглотили их, как река поглощает ручей. Для всего остального мира мы никуда не исчезали: вчера вечером младший научный сотрудник Кира Навроцкая и лаборант Андрей Громов просто вернулись домой, слегка утомлённые после работы. Само Время сгладило швы, чтобы не допустить логического разрыва.

— Значит, их память теперь внутри нас... — прошептала Кира и с внезапной тревогой потянулась к толстому кожаному фотоальбому, стоявшему на книжной полке.

Едва её пальцы коснулись тиснёного переплёта, в голове словно прорвало невидимую плотину. На неё хлынул мощный, но странно плоский поток чужих воспоминаний — будто она за одну секунду просмотрела длинный документальный фильм о жизни другой женщины, носившей её имя.

Кира открыла альбом, и перед глазами ожила новая, блестящая хроника рода Навроцких. Вот на пожелтевшем снимке двадцатых годов её прадед Николай Андреевич стоит в Нью-Йорке рядом с легендарным авиаконструктором Игорем Сикорским у первых опытных образцов летающих лодок. В памяти тут же всплыли семейные рассказы, которые в этом мире ей с детства пересказывала бабушка Алевтина: о том, как прадед, послушав совета «ростовской кузины», вложил весь вывезенный из Швейцарии капитал в зарождающуюся американскую авиацию; как в тридцатые годы, когда в Америке бушевала депрессия, компания Навроцкого устояла благодаря государственным заказам и поддерживала русскую эмиграцию. В альбоме бережно хранилась программка концерта в Карнеги-холле с дарственной надписью Сергея Васильевича Рахманинова — великому композитору прадед не раз помогал деньгами и устраивал гастроли, а в сорок четвертом году семья Навроцких на собственные средства построила и передала союзникам тяжёлый бомбардировщик для открытия второго фронта.

Кира перевернула страницу, и сердце её болезненно сжалось. Со следующей фотографии на неё смотрели красивые, счастливые молодые люди: её отец Сергей, сын Алевтины, приехавший в шестидесятые годы в открытую, процветающую Россию как представитель семейного авиационного концерна, и её мама — талантливый московский математик. В этой реальности

отец не бросил семью; они с матерью построили в Москве совместное русско-американское конструкторское бюро, и Кира выросла в любви, достатке и окружении книг.

Но чем дальше она листала альбом, тем яснее видела неумолимый закон сохранения судьбы. Время не отменило её потерь, лишь сменило декорации. В памяти всплыла страшная осенняя телеграмма: когда Кире исполнилось семнадцать, её родители погибли при испытательном полёте нового трансатлантического лайнера. Бабушка Алевтина звала её в Нью-Йорк, но упрямая Кира осталась в Москве, с отличием окончила мехмат МГУ, устроилась в Институт прикладной математики и по вечерам играла на рояле в Доме учёных. Даже тяжёлая болезнь в юности и трусливый побег бывшего мужа Вадима повторились здесь почти точь-в-точь — разве что лечили её лучшие врачи, а за спиной стояла поддержка могущественного клана.

Кира закрыла альбом и подняла на Андрея растерянные, полные странной тоски глаза.

— Я всё это помню, Андрей... — тихо сказала она. — Помню, как мы с отцом запускали модели планеров на Воробьёвых горах, помню лекции на мехмате, помню шифр от институтской библиотеки. Но эти воспоминания какие-то... картонные, как раскрашенная открытка. А вот наша старая тесная кухня, где мы с бедной, уставшей бабушкой Алевтиной лепили пельмени, и холодный вечер у стены Цоя — это болит по-настоящему. Это моё.

Андрей подошёл, присел на край кресла и крепко сжал её холодные пальцы.

— У меня то же самое, Кира, — глухо признался он. — Я помню, как защищал диплом в Институте квантовой оптики имени Целовского, знаю имена всех коллег и расположение корпусов. Но внутри я всё равно тот самый парень из нищего девяносто второго, который паял резонатор на кухонном столе под борщ деда Варфоломея. Мы — чужеродные вкрапления в этом гладком мире. И что хуже всего — я не знаю, долго ли он будет терпеть нас такими.

Едва Андрей договорил, в прихожей зазвонил телефон. Кира вздрогнула и сняла трубку, услышав в мембране далекий, но удивительно бодрый голос с легким американским акцентом — звонили из Нью-Йорка.

— Кирочка, детка, я не разбудила тебя? — защебетала пожилая Алевтина Навроцкая. — У меня совершенно невероятная новость! Ко мне на Пятую авеню приезжали представители самого Фрэнсиса Форда Копполы. Они затевают в Москве грандиозную экранизацию «Войны и мира» и умоляют меня стать главным консультантом по старинному русскому быту и дворянскому этикету! Я уже почти согласилась, представляешь? На следующей неделе, если врачи разрешат перелет, я вылетаю в Москву! Наконец-то обниму тебя и познакомлюсь с твоим Андреем!

Положив трубку, Кира растерянно посмотрела на Андрея. В этом новом мире жизнь сама стягивала вокруг них невидимые нити, связывая прошлое и настоящее в один тугой узел.

Глава вторая, в которой на стерильном Арбате гремит запретный рок-н-ролл, «Вершина» срывает овации, а потомки жандармов попадают в околоток

Тоска по утраченному черновику жизни оказалась штукой до того едкой, что уже через три дня Андрей не выдержал. Ему до смерти осточертели чинные академические коридоры, вежливые разговоры о симфонических вечерах в Консерватории и пресная, безупречная скука этого благополучного мира, где даже уличные музыканты играли по нотам с печатью городской управы.

— Знаешь, Кира, если этот мир не знает ни Цоя, ни «Наутилуса», ни настоящего Высоцкого, мы ему их подарим! — заявил он однажды вечером, горящими глазами глядя на свой старый электронный синтезатор в углу комнаты. — Хватит ходить по струнке! Вспомним молодость!

Сказано — сделано. На другой день в перерыве между опытами Андрей обшарил лаборатории своего Института квантовой оптики и в два счёта сколотил подпольную музыкальную артель из троих таких же заскучавших молодых аспирантов: длинноволосого теоретического физика Пашки, лихо терзавшего контрабас в институтском оркестре, очкарика-электронщика Сени и ударника-лаборанта Митьки, который с первого раза уловил непривычный, рваный ритм.

По вечерам, заперевшись в пустой актовой зале института, они устроили настоящую репетиционную базу. Кира, с радостью сбросив с себя маску солидной сотрудницы Академии наук, села за клавиши, а Андрей взял в руки переделанную под электрогитару акустику. По крупицам, строчка за строчкой, они восстанавливали из своей «старой» памяти то, чего в этом сытом, спокойном мире никогда не существовало: чеканный, шагающий ритм «Группы крови» Виктора Цоя, надрывный, гипнотический марш «Скованных одной цепью» Вячеслава Бутусова и щемящее, ироничное «Прощальное письмо» — то самое «Гудбай, Америка, о-о, где я не буду никогда...». А напоследок Андрей вывел хриплыми, тугими аккордами суровую балладу Владимира Высоцкого о горах и высоте — в этом мире благополучный народный артист Высоцкий ставил спектакли на Таганке и писал изящные театральные куплеты, даже не подозревая о том, какие песни пел его двойник в другой реальности.

Для благовоспитанных советских аспирантов эти тексты звучали как дикая, немыслимая ересь: о каких цепях, о какой войне и о каком прощании с Америкой идёт речь, когда за окном сияет мир, достаток и дружба народов?! Но в самой музыке билась такая живая, неукротимая сила, что к пятнице вся четвёрка загорелась желанием выйти на люди.

В субботний вечер, прихватив переносные усилители на аккумуляторах, компания выгрузилась аккурат посреди Старого Арбата — напротив той самой гладко оштукатуренной стены, где в прежней реальности чернели надписи поклонников Цоя.

Не спрашивая ни у кого дозволения, Митька ударил по тарелкам, Сеня вывел тяжелый, рокочущий бас, пальцы Киры побежали по клавишам, а Андрей шагнул к микрофону и во всю мощь лёгких грянул:

— Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве!..

А следом, не давая публике опомниться, ударил по струнам жёстким, рубленым ритмом «Наутилуса»:

— Скованные одной цепью, связанные одной целью!..

Эффект оказался ошеломляющим. Прохожие на чинном европейском бульваре замерли как вкопанные. Уличный скрипач в накрахмаленной манишке, игравший в двадцати шагах менуэт Боккерини, так дёрнул смычком, что порвал струну. Пожилые дамы в шляпках в ужасе прижали руки к груди, солидные господа в котелках и галстуках вытаращили глаза, не понимая, на каком наречии кричат эти безумцы. А когда Андрей, поймав кураж, перешёл на «Прощальное письмо» и с отчаянным надрывом запел: *«Гудбай, Америка, о-о, где я не буду никогда...»*, — вокруг собралась огромная, ошалевшая толпа, а какой-то интурист в клетчатом пиджаке испуганно замахал руками, приняв песню за антиамериканский митинг.

Видя растерянность публики, Андрей хитро подмигнул Кире, перехватил гитару поудобнее и ударил по струнам стремительным, тревожным боем:

— Здесь вам не равнина, здесь климат иной —

Идут лавины одна за одной,

И здесь за камнепадом ревёт камнепад...

И тут произошло настоящее чудо. Едва над вечерним Арбатом зазвучали эти чеканные, полные ветра, риска и мужского братства строки «Вершины» Высоцкого, недоумение на лицах прохожих мгновенно сменилось заворожённым восторгом. В сытой, размеренной, лишённой

великих потрясений жизни этим людям мучительно не хватало именно такой высоты, такого чистого, сурового порыва, от которого захватывает дух.

Когда Андрей, вложив в голос всю душу, закончил последнюю строфу и замер последний аккорд, над Арбатом на секунду повисла звенящая тишина — а затем площадь взорвалась настоящим фурором.

— Браво! — кричали солидные господа, срывая с голов котелки и шляпы.

— Ещё раз! Просим на бис! Спойте про горы ещё раз! — скандировали студенты и барышни, неистово аплодируя и бросая к ногам музыкантов цветы, купленные у арбатских цветочниц.

Сияющие Кира и Андрей переглянулись и, подхваченные всеобщим ликованием, грянули «Вершину» во второй раз, а толпа вокруг уже вовсю подпевала припеву, притопывая в такт на безупречной брусчатке.

Именно в этот разгар всеобщего триумфа из переулка с мелодичным, вежливым перезвоном подкатил сияющий лаком автомобиль городской полиции — в этом мире стражи порядка носили тёмно-синие мундиры с серебряным шитьём и назывались на старинный манер городовыми и приставами.

Двое рослых, безупречно вежливых полицейских с белыми перчатками с трудом протиснулись сквозь плотное кольцо восторженных зрителей, выключили усилитель и с выражением крайнего недоумения воззрились на взъерошенного Андрея и раскрасневшуюся от счастья Киру.

— Господа хорошие, — строго, но учтиво произнёс усатый пристав, под гул неодобрения публики. — Позвольте поинтересоваться: на каком основании вы устраиваете несанкционированное народное гуляние в неустановленном месте и исполняете произведения, не прошедшие регистрацию в Музыкальном обществе? И что это, позвольте спросить, были за подозрительные призывы насчёт Америки и каких-то цепей перед тем, как вы запели про альпинистов?

— Это искусство, господин пристав! — весело крикнул Андрей, чувствуя, как впервые за эти дни в груди разливается настоящее, живое тепло. — Рок-н-ролл! Голос поколения!

— Вот в участке мы и разберёмся, какого именно поколения сей голос, — вздохнул пристав и, невзирая на уговоры публики отпустить талантливых артистов, вежливо попросил всю компанию проследовать в экипаж.

В светлом, пахнущем свежей краской и хорошим табаком дежурном отделении Арбатской части, куда доставили всю рок-группу в полном составе вместе с контрабасом и синтезатором, царил полный переполох. Пожилой околоточный надзиратель в очках долго переписывал в журнал паспорта задержанных, качая головой при виде академических пропусков Института квантовой оптики и МГУ, и с недоумением перечитывал записанные со слов Андрея строчки про «группу крови на рукаве».

— Учёные люди, а ведёте себя хуже футуристов четырнадцатого года! — ворчал надзиратель, но без злобы — в этом благополучном мире серьёзных преступлений почти не случалось, и выходка молодых физиков стала для отделения настоящим развлечением.

Отделались они лёгким штрафом за нарушение тишины и торжественным обещанием впредь петь исключительно в стенах институтского клуба. Но когда глубокой ночью Кира и Андрей вышли из дверей полицейского участка на прохладный ночной Арбат, волоча за собой синтезатор, оба они смеялись так звонко и счастливо, как не смеялись с самого возвращения из Цюриха. Впервые за всё время они почувствовали, что даже в этом выглаженном, чужом раю можно оставаться самими собой.

Глава третья, в которой фамильный сундук уходит с молотка в Атлантик-Сити, в Вашингтоне двое циников придумывают троянского коня, а в Калифорнии синьор Коппола собирает голливудскую армию

Всякая достойная и славная фамилия, сколь бы высоко ни вознесла её судьба, рано или поздно обзаводится собственной паршивой овцой — и могучий американский клан Навроцких не стал в этом смысле исключением.

В то время как старшая дочь Николая Андреевича, красавица Алевтина, преумножала славу отцовского авиационного дела, блистала в нью-йоркских благотворительных обществах и бережно хранила память о старой Москве, её младший брат, родившийся уже за океаном и крещённый Максимом, удался в совершенно иную породу. С малых лет Максим Николаевич питался не любовью к чертежам и аэропланам, а жгучей, лихорадочной страстью к зелёному сукну игорных домов и скаковому тотализатору.

После кончины старика Николая Андреевича в середине пятидесятых годов Максим, получив свою долю наследства, спустил её на бирже и в рулетку Атлантик-Сити с той лихой, бесшабашной скоростью, с какой проматывают состояния лишь русские повесы, оторванные от родной почвы. Оказавшись к началу девяностых годов по уши в долгах у сомнительных кредиторов, постаревший, обрюзгший Максим втайне от сестры Алевтины забрался на чердак старого фамильного особняка в Коннектикуте и выволок оттуда тяжёлый, окованный потемневшей медью дорожный сундук, с которым их семья когда-то бежала из Москвы в четырнадцатом году.

Не утруждая себя разбором пожелтевших от времени бумаг, Максим сбыл весь сундук со старыми фотографиями, квитанциями швейцарских банков и семейными дневниками заезжему перекупщику антиквариата за жалкие три тысячи долларов — аккурат на одну вечернюю ставку в блэкджек.

Так бы и сгинули эти реликвии в частных коллекциях, если бы осенью девяносто второго года перекупщик не попался на крупной контрабанде старинного русского серебра и редких икон. При обыске на его складе в Нью-Джерси агенты Федерального бюро расследований конфисковали весь товар, включая и медный сундук Навроцких.

Когда пыльные папки передали для описи в аналитический отдел в Вашингтоне, скучающий эксперт-архивист, владеющий русским языком, наткнулся на самом дне сундука на толстую кожаную тетрадь с серебряным замочком. Раскрыв её, он сперва принял записи за черновик какого-то дореволюционного фантастического романа, но уже через полчаса, бледный и взъерошенный, бежал по коридору в кабинет начальника специального отдела.

Каллиграфическим, бисерным почерком купца Николая Андреевича в тетради были зафиксированы июньские беседы 1914 года с таинственной «гостьей из 1992 года» по имени Кира. Там были и точные даты будущих мировых потрясений, и расчёты по развитию авиации, и упоминания о секретном письме, заложенном в депозитную ячейку Московского Главпочтамта, и — самое главное — наброски схем портативного рубинового излучателя физика Целовского, способного пронзать толщу времени!

В закрытом кабинете на Пенсильвания-авеню, где воздух, казалось, был насквозь пропитан казённой тайной, крепчайшим чёрным кофе и холодным, как лезвие бритвы, расчётом, за длинным столом, заваленным спутниковыми снимками Москвы и фотокопиями тетради купца Навроцкого, восседали двое: Маркус Торн и Саймон Грей.

Следует заметить, что оба принадлежали к той редкой и неприятной породе людей, которых во всех разведках мира держат для самых деликатных и беспощадных поручений. Маркус Торн, выпускник Гарварда с пятнадцатилетним стажем тайных игр в Восточной Европе, изъяснялся по-русски так чисто и сочно, что любой московский профессор филологии прослезился бы от умиления. Он мог по памяти цитировать Толстого и Достоевского, но смотрел на

человеческие души исключительно как на вскрытые консервные банки. Его напарник, Саймон Грей — поджарый, жилистый технарь с повадками степного волка, перекочевавший в полевой отдел спецопераций из закрытых оборонных лабораторий, — искренне презирал всякую гуманитарную лирику и верил лишь в три вещи на свете: в безотказность приборов, в хруст купюр и в бесшумный пистолет с глушителем.

— Вломиться в Москву с группой захвата мы не сможем, Саймон, — глухо произнёс Торн, брезгливо листая фотокопию дневника четырнадцатого года. — Нынешняя Россия — не расхлябанная страна, а перекормленная, зубастая держава с дьявольски цепкой контрразведкой. Любой наш боевик под видом дипломата или торговца окажется под колпаком в первую же минуту, не успев даже распаковать чемодан.

— Значит, подарим им пышный балаган, Маркус, — холодно усмехнулся Грей, постукивая карандашом по спутниковому снимку центра Москвы. — Мне плевать, под каким соусом мы туда зайдём. Мне нужен этот русский прибор. Ежели этот полоумный Целовский ещё в четырнадцатом году научился резать пространство рубиновым лучом, а его девчонка перекроила историю целой империи, мы обязаны утащить технологию в Лэнгли. Представь, что мы сотворим, когда получим доступ к временному контуру!

— Оставь бредни о мировом господстве для отчётов начальству, — цинично скривил губы Торн. — Сначала надо подобраться к объекту на расстояние вытянутой руки так, чтобы русские сами распахнули перед нами ворота и пропустили в центр города фуры с твоими пеленгаторами. И я знаю, как это устроить. Нам нужно великое, шумное искусство. Голливуд.

Грей недоверчиво прищурился:

— Ты на старости лет решил заделаться в продюсеры?

— Ни больше ни меньше, — улыбнулся одними губами Торн. — Мы учредим подставную компанию «Атлантик-Пикчерз», прогоним через швейцарские банки восемьдесят миллионов долларов и предложим лучшему режиссёру Америки снять новую, невиданную по размаху экранизацию толстовской «Войны и мира» на подлинной русской натуре.

— Крупный художник сразу почует фальшь, коли ему начнут диктовать условия, — буркнул Грей.

— А мы не станем диктовать! — парировал Торн. — Мы сыграем на его главном тщеславии. Нам нужен Фрэнсис Форд Коппола. После двух «Крёстных отцов» и «Апокалипсиса» он бредит грандиозными историческими полотнами. Ежели подкинуть ему готовый сценарий, пообещать полную творческую свободу и ни цента не пожалеть на массовку и пушки, этот шумный итальянский вулканический гений сам понесётся в Москву на всех парусах! А мы поедем в его свите: я — как исполнительный продюсер по связям с русскими властями, а ты — как главный инженер по лазерным спецэффектам. Внутри твоих кофров с софитами мы провезём в Москву квантовые пеленгаторы и уловим след прибора сквозь любые кирпичные стены.

Адская машина закрутилась с точностью швейцарского хронометра. Спустя неделю в солнечной долине Напа в Калифорнии, где в своём роскошном поместье среди виноградников Фрэнсис Форд Коппола лениво листал присланные студиями бездарные сценарии, попивая собственное каберне, раздался телефонный звонок от старого, проверенного голливудского агента, которого ФБР втёмную использовало как приманку.

На следующий день в калифорнийское поместье пожаловали двое респектабельных господ в безупречных костюмах — якобы представители европейского культурного фонда и новой независимой студии «Атлантик-Пикчерз». Они положили на дубовый стол перед режиссёром пухлую папку в тиснёном переплёте и чек с таким неприличным количеством нулей, что у бывалого маэстро, привыкшего вечно выбивать гроши у жадных студийных боссов, перехватило дыхание.

— Синьор Коппола, — вкрадчиво запел Маркус Торн, пока режиссёр недоверчиво вертел в пухлых пальцах незажжённую сигару. — В девяносто втором году исполняется сто восемьдесят лет Бородинскому сражению. Россия сегодня открыта миру как никогда. Никто в истории кино не снимал Толстого с тем эпическим, шекспировским трагизмом, на который способны только вы. Никаких фанерных декораций в Италии, как у Кинга Видора в пятьдесят шестом! Только подлинные московские усадьбы, настоящие русские гусары и бескрайние поля под Москвой.

Коппола сперва хмурился, сопел, качал бородатой головой и ворчал, что сыт по горло историческими баталиями и комарами на натуре. Но стоило ему вечером, оставшись в одиночестве на веранде с бокалом густого красного вина, раскрыть привезённый сценарий и перечитать несколько глав старого томика Толстого, как его горячая итальянская кровь мгновенно вскипела, словно молодое вино в бочке.

— *Madonna mia...* — прошептал он, вскакивая из плетёного кресла и начиная стремительно мерить шагами террасу. — *Che tragedia! Che grandezza!* Какой размах!

В его распалённом воображении уже вспыхивали грандиозные, ослепительные картины, от которых захватывало дух. Он видел не просто пышный костюмированный маскарад, а трагедию целого поколения, затянутого в кровавую воронку истории.

— Я сниму это не как открытку, нет! *Mai!* — бормотал маэстро, размахивая руками в темноте калифорнийской ночи, точно дирижёр перед невидимым оркестром. — Первый бал Наташи Ростовой — это должен быть *un sogno*, золотой сон, где камера кружится в вальсе так, чтобы у зрителя в зале закружилась голова! А потом — *il fuoco!* Пожар Москвы! Багровое небо, рушащиеся стропила, раненый Андрей Болконский, глядящий в бездонное небо Аустерлица! *Magnifico!* Это будет мой главный шедевр, моя «Сикстинская капелла» в кинематографе!

К утру режиссёр уже не спал. Обложившись энциклопедиями по войне двенадцатого года, он лихорадочно строчил в блокноте заметки, рисуя раскадровки батальных сцен, и сам позвонил в офис «Атлантик-Пикчерз», потребовав немедленно начать кастинг и готовить экспедицию в Москву.

— У меня есть только одно условие, *amici miei*! — гремел Коппола в телефонную трубку так, что дребезжали стёкла. — Никакой дешёвой бутафории! И сыщите мне в Нью-Йорке настоящую русскую аристократку из старой эмиграции, которая помнит, как в те времена держали веер и кланялись на балах! Без этого я в Москву не полечу!

Едва получив карт-бланш от щедрых продюсеров, Фрэнсис Форд Коппола с истинно итальянским темпераментом принялся собирать свою голливудскую армию для похода на Москву. Кастинг превратился в сущий балаган и театральное представление, о котором вскоре гудел весь Лос-Анджелес, а Торн и Грей вынуждены были с каменными, постными физиономиями наблюдать за этими творческими муками, мысленно подсчитывая каждый потерянный день.

Первым делом маэстро позвонил своему давнему другу и любимому актёру — Аль Пачино, предложив ему ни много ни мало роль императора Наполеона Бонапарта. Но реакция великого трагика оказалась поистине вулканической. На другом конце провода повисла ледяная, гробовая пауза, после которой Пачино взорвался гневной тирадой с неподражаемым нью-йоркским акцентом:

— Послушай, Фрэнсис, ты что, решил поиздеваться надо мной на старости лет?! Сперва ты сделал из меня короля мафии Майкла Корлеоне, потом я сыграл кубинского гангстера Тони Монтану, а теперь ты хочешь нацепить на меня треуголку и заставить снова играть невысокого, нервного диктатора с манией величия?! *Basta!* С меня хватит мелких тиранов, Фрэнсис! Я хочу играть Гамлета или страдающего поэта, а не коротышку, который поджёг Москву!

Сколько Коппола ни уговаривал друга, расписывая трагизм одиночества Бонапарта на Поклонной горе, гордый сицилиец остался непреклонен и с треском бросил трубку, смертельно оскорблённый намёком на свой рост и амплуа.

С юной Вайноной Райдер, которую режиссёр видел идеальной Наташей Ростовой, приключилась прямо противоположная беда. Когда двадцатилетняя актриса приехала в калифорнийское поместье маэстро на пробы, она была бледна от ужаса и едва не плакала, нервно теребя в пальцах бахрому своей потёртой замшевой куртки:

— Мистер Коппола, я боюсь, что я всё испорчу, — искренне призналась она, глядя на режиссёра огромными испуганными глазами оленёнка. — Посмотрите на меня! Я выросла в коммуне хиппи в Северной Калифорнии, мои родители дружили с Тимоти Лири и битниками, я ношу рваные джинсы и слушаю панк-рок! Какая из меня русская графиня девятнадцатого века?! Я же запутаюсь в кринолинах на первом же шагу и свалюсь носом в паркет при первом же реверансе!

Коппола растроганно расхохотался, по-отечески обнял девушку за худенькие плечи и подвёл её к старинному зеркалу:

— Дорогая моя *bambina*, именно поэтому ты и есть настоящая Наташа! В ней нет ни капли чопорной салонной куклы — она живая, дикая, искренняя душа, которая готова петь и танцевать босиком на траве! А манерам и реверансам тебя обучит настоящая русская княгиня из Нью-Йорка, поверь моему слову!

Куда большее благоговение — смешанное, впрочем, с лёгким суеверным ужасом — вызывал у Копполы исполнитель роли князя Андрея Болконского. С Дэниелом Дэй-Льюисом не требовалось долгих уговоров: едва прочитав сценарий, британский актёр прислал короткую, учтивую телеграмму о согласии и в тот же день испарился из поля зрения прессы, приступив к своей знаменитой, пугающей системе полного перевоплощения.

— *Madonna mia*, этот англичанин доведёт меня до инфаркта ещё до первого дубля! — со смехом и ужасом жаловался Коппола на совещании в офисе «Атлантик-Пикчерз», крутя в пальцах незажжённую сигару. — Вы же знаете его дьявольские фокусы! Три года назад на съёмках «Моей левой ноги» он наотрез отказался вставать из инвалидного кресла даже во время обеда, сломал себе два ребра и заставлял ассистентов кормить его с ложечки! А перед «Невыносимой лёгкостью бытия» за полгода выучил чешский язык так, что пражские профессора принимали его за своего!

— И что же он вытворяет сейчас, мистер Коппола? — с деланым участием осведомился Маркус Торн, пока Саймон Грей у окна раздражённо постукивал пальцами по подоконнику, словно отбивая похоронный марш.

— Он уже месяц не снимает белый кавалергардский мундир и сапоги со шпорами у себя в лондонском доме! — в отчаянии развёл руками режиссёр. — Жена говорит, что он спит на походной солдатской койке, читает исключительно дореволюционную русскую классику, учится фехтовать на старинных шпагах и запретил прислуге обращаться к нему иначе как «ваше сиятельство»! Я боюсь, что к моменту прилёта в Москву он начисто забудет английский язык, потребует себе крепостного денщика и вызовет меня на дуэль, ежели ему не понравится освещение на Бородинском поле!

— Похоже, в этом цирке собрались одни буйнопомешанные, — процедил сквозь зубы Саймон Грей по-английски, когда за режиссёром закрылась дверь. — Ещё неделя таких сборов, и мы упустим русский след!

— Спокойнее, Саймон, — ледяным тоном ответил Торн, поправляя запонки. — Без этого балагана мы не провезём в Москву ни одного твоего датчика. Потерпи ещё немного — маэстро как раз заканчивает набор труппы.

И действительно, с ролью холодной, ослепительной светской львицы Элен Курагиной у Копполы не возникло ни секунды сомнений. Весной девяносто второго года весь мир сходил с ума по новой голливудской звезде — Шэрон Стоун, чей хищный, ледяной взгляд и скандальная слава роковой красавицы гремели на всех континентах. Увидев её на закрытом показе, Коппола восхищённо щёлкнул пальцами:

— *Ecco!* Вот она, Элен! Вы посмотрите на эту женщину: мраморная античная статуя без единой живой мысли в голове, но с таким дьявольским магнетизмом, что мужчины готовы ради неё стреляться на дуэлях и спускать в карты целые губернии! Она сыграет порочную московскую сирену так, что у зрителей мороз пойдёт по коже!

Шэрон Стоун приняла приглашение с царственным снисхождением, тут же потребовав от костюмеров сшить ей дюжину бальных платьев с самым глубоким декольте, какое только позволяли приличия тысяча восемьсот двенадцатого года.

Но тяжелее всего пришлось с поисками Пьера Безухова. Коппола перебрал добрый десяток голливудских красавцев, но все они выглядели слишком подтянутыми, спортивными и самодовольными — ни в ком не было той трогательной, неуклюжей русской душевности и мучительного поиска смысла жизни. Отчаявшись, маэстро по совету своего нью-йоркского кастинг-директора отправился на крошечный офф-бродвейский спектакль в Манхэттене — и там, на тесной, пыльной сцене, увидел никому ещё не известного двадцатипятилетнего театрального самородка по имени Филип Сеймур Хоффман.

Едва пухловатый, светловолосый юноша в толстых роговых очках вышел к рампе, неловко поправил сползающий пиджак и заговорил тихим, удивительно глубоким, полным скрытой боли голосом, Коппола едва не вскочил с кресла.

— *Madonna mia...* Да это же живой Пьер! — прошептал режиссёр, впившись пальцами в подлокотники. — Посмотрите, как он неуклюже поворачивается, как щурится сквозь очки, сколько в нём этой детской, беззащитной искренности и скрытой медвежьей силы! К чёрту голливудских манекенщиков — я беру этого парня!

Молодой Хоффман, который ещё вчера перебивался случайными заработками и мечтал хотя бы о крошечной роли рядом с Аль Пачино, не поверил своим ушам, когда сам великий Коппола предложил ему главную роль в экранизации Толстого, и в тот же вечер засел за многотомный роман, обложившись словарями.

А на роль старого, мудрого и лукавого фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова Коппола без колебаний позвал великого валлийца Энтони Хопкинса, который как раз в ту весну получил свой первый «Оскар» за леденящую душу роль доктора Ганнибала Лектера в «Молчании ягнят». Узнав о том, что ему предстоит сыграть русского полководца, засыпающего на военных советах, но переигравшего самого Бонапарта, Хопкинс пришёл в тихий, сдержанный восторг. Обладая феноменальной, почти колдовской фотографической памятью — в молодости, работая в театре, он заучивал целые страницы текста наизусть, пробежав их глазами два-три раза, а потом развлекался тем, что мог процитировать любую главу с любого места, — сэр Энтони за одну неделю вызубрил все речи Кутузова так, что на репетициях даже не заглядывал в сценарий. Более того, увлёкшись русской культурой, Хопкинс, который в свободное от съёмок время серьёзно сочинял классическую музыку для симфонического оркестра и часами играл на фортепиано, принялся напевать русские народные мелодии и пообещал Копполе сыграть Кутузова так, чтобы зритель видел в одном его глазу хитрую крестьянскую мудрость, а в другом — бездонную усталость старого воина.

Когда список звёзд был окончательно утверждён и в Голливуде затрещали швейные машинки костюмеров, Маркус Торн и Саймон Грей приступили к финальной стадии своей хищной затеи. Внутри гигантских кофров с голливудскими софитами и кинокамерами Грей лично разместил сверхчувствительные американские пеленгаторы остаточного квантового излучения, замаскировав их под блоки питания для лазерных проекторов.

Оставался последний, самый изящный штрих — наживка, на которую Кира Навроцкая должна была клюнуть сама. Перед вылетом группы из Нью-Йорка Маркус Торн, надев маску безупречного светского джентльмена, нанёс визит в роскошный особняк на Пятой авеню к восьмидесятилетней Алевтине Навроцкой. От имени мистера Копполы он с приторной учти-

востью пригласил её поехать в Москву в качестве главного консультанта картины по дворянскому этикету, балам и старинному русскому быту.

— Поверьте, графиня, без вашего тонкого вкуса наш итальянский гений превратит московский бал в цыганский карнавал, — мягко ворковал Торн, целуя сухую, аристократическую руку старушки, а про себя хладнокровно отмечая: *«Старая лиса заглотила крючок. Через сорок восемь часов мы выйдем на её московскую внучку»*.

Пожилая аристократка, всю жизнь тосковавшая по родным местам и мечтавшая повидать свою московскую внучку Киру, с восторгом приняла приглашение — даже не подозревая, что в тот самый миг, когда её самолёт приземлится в Шереметьево, она станет главной приманкой в охоте двух циничных хищников на призраков черновика.

Глава четвёртая, в которой на Пречистенке воскресает двенадцатый год, дон Корлеоне демонстрирует павильону спину, а двое продюсеров задают лишний вопрос

На следующее утро после ночного концерта на Арбате и сердечного расставания с околоточными надзирателями в квартире Киры на Ломоносовском проспекте снова залился телефон. Звонили уже не из далёкого Нью-Йорка, а вполне по-московски, чисто и звонко.

— Кирочка, радость моя, мы прибыли! — пропел в трубке бодрый, чуть грассирующий голос бабушки Алевтины. — Врачи сжалились, самолёт перенесла превосходно, сижу в «Метрополе» и пью утренний кофе. К полудню жду вас с Андреем в усадьбе на Пречистенке. Сам Фрэнсис Коппола жаждет познакомиться с моей московской внучкой!

Ровно в двенадцать Кира и Андрей миновали чугунные ворота старинной усадьбы и попали в самую гущу великой голливудской суматохи. Площадка представляла собой диковинную помесь Бородинского поля с цирком шапито. По гравийным дорожкам чинно прогуливались заморские кирасиры, которые в перерывах между дублями с ненавистью стягивали с голов медные каски и жадно хлебали минеральную воду из пластиковых бутылок. Пожилой гусар, судя по выправке, нанятый из бывших мосфильмовских реквизиторов, поучал на чистом арбатском наречии ассистента режиссёра, как правильно вешать саблю, чтобы не запутаться в собственных ногах. Осветители тащили толстые удавы кабелей прямо через клумбы с анютиными глазками, а из-за мраморной беседки доносился отборный, сочный голливудский мат, означавший, что искусство требует жертв.

Бабушка Алевтина, элегантная и прямая, словно гвардейский полковник на параде, сияла от удовольствия. Она обняла Киру с такой искренней, тёплой нежностью, что у той мгновенно растаял ледок в груди, и принялась водить внучку по площадке, как редкий музейный экспонат. Чуть поодаль у осветительного фургона крутились двое безупречно одетых американцев — исполнительный продюсер Маркус Торн и главный инженер по комбинированным съёмкам Саймон Грей, не сводившие с гостей холодного, цепкого взгляда.

Первыми им представили главных звёзд. Юная Вайнона Райдер, утопающая в кружевах бального платья Наташи Ростовой, с жадным любопытством расспрашивала Алевтину, как именно русские барышни обмахивались веером, чтобы довести кавалера до белого каления, и искренне восхитилась серебряным браслетом Киры. Рядом стоял Дэниел Дэй-Льюис в белоснежном мундире князя Андрея. В роль он вжился с такой пугающей основательностью, что, казалось, вообще забыл, как сгибается позвоночник; говорил он тихо, с лёгким прононсом, и приложился к ручкам обеих дам с таким видом, словно сейчас пойдёт стреляться за их честь на Чёрную речку.

— А вот и наш великий кормчий, — улыбнулась Алевтина, когда к ним вразвалку подошёл коренастый, бородатый мужчина в клетчатой рубашке и твидовом пиджаке, с неизменной дымящейся сигарой в зубах.

Фрэнсис Форд Коппола оказался человеком шумным, радушным и до крайности экспансивным. Узнав, что Кира — математик, он захохотал и схватился за голову:

— О, боюсь, моя бухгалтерия на этой картине доведёт до инфаркта любого профессора! Пятьсот лошадей, тридцать пушек, и каждый статист требует двойной оклад за съёмку в пыли! Но, знаете, после того, как я воевал со студией на съёмках «Крёстного отца» и второй части, меня уже голыми руками не возьмёшь. Там боссы хотели уволить меня каждый вторник, а в итоге мы сняли классику!

— Я обожаю ваши фильмы, мистер Коппола, — совершенно искренне, забыв обо всякой конспирации, ответила Кира. — Особенно то, как глубоко вы показали трагедию Майкла Корлеоне.

Маэстро сокрушённо вздохнул, покрутил сигару и поглядел на колонны усадьбы с видом человека, которого мучает великая творческая засуха:

— Знаете, милая Кира, студия уже пятый год сидит у меня на шее и требует третью часть. Мол, публика желает завершения саги. А я упёрся рогом. Не вижу, куда вести Майкла! Душу он продал, семью растерял, сидит себе в кресле как каменный истукан. О чём снимать? Очередную пальбу в Бруклине? Скукота смертная!

Кира, расслабленная тёплым солнцем и обаянием живого классика, начисто забыла, что в этом сытом, благополучном девяносто втором году Коппола так и не снял фильм, который она сама смотрела в душном видеосалоне два года назад в своём прежнем мире.

— Ну зачем же пальбу, мистер Коппола? — с жаром возразила она, увлекаясь собственной мыслью. — Это же должна быть высокая античная трагедия об искуплении, которое не купишь ни за какие миллионы! Представьте: постаревший, больной диабетом Майкл пытается отмыть фамилию и легализовать империю через сделку с Ватиканским банком. Он хочет передать дела племяннику — горячему внебрачному сыну Сонни, Винсенту, но ставит жёсткое условие: тот должен отказаться от любви к дочери Майкла, Мэри.

Коппола замер с поднесённой ко рту сигарой, которая от изумления едва не вывалилась у него из пальцев.

— Постойте... Ватиканский банк? Сын Сонни? — просипел он, подаваясь вперёд всем корпусом. — А дальше?! Чем дело кончится?!

— А кончится всё в Сицилии, на ступенях оперного театра в Палермо, — продолжала Кира, не замечая, как вокруг них замерли даже осветители. — Майкл верит, что наконец очистился от грехов, но прошлое настигает его. Наёмный убийца стреляет на лестнице театра, но пуля попадает в его любимую дочь Мэри. И самый страшный крик Майкла на ступенях оперы — беззвучный, когда он держит её на руках. А спустя годы он умирает в полном одиночестве во дворе старого сицилийского дома, просто свалившись со стула, и рядом только маленькая собачка.

На площадке повисла такая гробовая тишина, что было слышно, как в кустах чирикает воробей. Дэниел Дэй-Льюис медленно выдохнул и с благоговением снял несуществующую шляпу, Вайнона Райдер прижала ладони к губам, а сам Фрэнсис Форд Коппола стоял бледный, как полотно, глядя на скромную московскую девушку так, словно перед ним явился сам дух Софокла в современной кофточке.

— Боже правый... — прошептал режиссёр, лихорадочно шаря по карманам в поисках карандаша. — Беззвучный крик на ступенях оперы... Это же гениально! Кира, дорогая, бросайте свою математику, я беру вас в соавторы на полный оклад!

И лишь двое людей в десяти шагах от них не впали в творческий экстаз. Маркус Торн, стоявший у фургона с аппаратурой рядом с Саймоном Греем, медленно опустил стаканчик с кофе и обменялся с напарником коротким, ледяным взглядом. Они только что услышали готовый сценарий фильма, о котором сам Коппола ещё утром не имел ни малейшего понятия.

Дневные съёмки затянулись до самых сумерек, и когда вечерняя прохлада окутала усадьбу, Коппола наотрез отказался отпускать дорогих гостей, затащив всех на ужин. В просторном шатре в глубине липовой аллеи зажгли гирлянды тёплых фонариков. Пахло жареным мясом, дорогим коньяком и влажной травой. Гусары и кирасиры давно разъехались по домам, и за длинным столом остались только свои: бабушка Алевтина, Кира, Андрей, актёры и сам маэстро. Исполнительный продюсер Маркус Торн и инженер Саймон Грей скромно примостились на самом краю — они почти не пили, лишь крутили в пальцах бокалы с содовой и с вежливыми улыбками навострили уши.

Режиссёр скинул твидовый пиджак, расстегнул воротник клетчатой рубашки и, откинувшись в плетёном кресле, с удовольствием раскурил свежую сигару.

— Знаете, друзья, глядя на эти тихие московские липы, я вспоминаю, какой кромешный ад творился в Нью-Йорке в семьдесят первом году, — заговорил Коппола, пустив к небу густое облако дыма. — Сейчас «Крёстный отец» — гордость студии. А тогда боссы Paramount хотели вышвырнуть меня с площадки каждый день. Но студия — это ещё цветочки. Хуже всего было, когда за дело взялись настоящие ребята из нью-йоркских семей. Сперва они требовали вычеркнуть из сценария слово «мафия», били стёкла в наших машинах. А потом им, наоборот, так понравился размах, что они решили: картину надо выпустить в прокат как можно скорее, чтобы весь мир поглядел на их величие.

Режиссёр глотнул коньяку и обвёл взглядом притихших собеседников.

— Как-то поздним вечером возвращаюсь я один со студии монтажа в Бруклине, — понизил голос Коппола. — Иду через старый мост над Ист-Ривер. Вдруг рядом с визгом тормозит чёрный «Кадиллак». Выскакивают трое амбалов в длинных плащах, скручивают меня так, что я и мяукнуть не успел, переваливают через перила моста и хватают за лодыжки!

Вайнона Райдер ахнула, а бабушка Алевтина возмущённо всплеснула руками:

— Боже мой, Фрэнсис, какой варварский произвол!

— Вишу я вниз головой над чёрной ледяной водой, кровь прилила к лысине, в ушах шумит, — продолжал Коппола, дирижируя сигарой. — А один из них наклоняется через перила и так ласково, с сицилийским прононсом мурлычет: «Слушай сюда, режиссёр. Наш дон очень хочет поглядеть кино про нашу семью к Рождеству. Если ты не поторопишься со съёмками, в следующий раз мы отпустим левую ногу, а потом правую. Capisce?»

За столом повисла секунда тишины, а затем все дружно грохнули от смеха — уж больно артистично маэстро изобразил голос гангстера.

— И как вы выкрутились? — спросил Андрей, невольно поглядывая на часы.

— Пришлось монтировать по восемнадцать часов в сутки, — улыбнулся Коппола. — Нервы у всей группы звенели как струны. На площадке стояла такая похоронная тишина, будто мы и впрямь хоронили настоящего дона, а не снимали кино. Я сам уже готов был лезть на стену. И знаете, кто спасал нас от коллективного помешательства? Великий Марлон Брандо!

Дэниел Дэй-Льюис усмехнулся в усы, явно зная эту голливудскую байку, а Вайнона Райдер с любопытством подалась вперёд.

— Марлон ведь был страшным хулиганом, — с теплотой в голосе продолжал Коппола. — Когда он видел, что у меня от усталости уже дёргается глаз, а массовка спит на ходу, он выжидал самую драматическую паузу — прямо в своём строгом чёрном смокинге дона Вито Корлеоне, с седыми висками и ватой за щеками. Потом с самым царственным, невозмутимым видом поворачивался к камере и ко всей съёмочной группе спиной, низко наклонялся, одним движением сдёргивал брюки и во всей красе демонстрировал нам свой голый зад!

Бабушка Алевтина ахнула, густо покраснев, но тут же не выдержала и рассмеялась в кружевной платочек, а Кира и Андрей хохотали в голос вместе с актёрами.

— Представляете эту картину?! — разводил руками Коппола, сам покатываясь со смеху. — Грозный крёстный отец сицилийской мафии, перед которым трепещет весь Нью-Йорк, стоит

нагнувшись без штанов посреди павильона! После такой разрядки вся группа лежала вповалку, напряжение снимало как рукой, и мы могли работать ещё шесть часов подряд!

Отсмеявшись, режиссёр повернулся к Кире, снова становясь серьёзным:

— Так что после гангстеров на мосту и проделок Брандо никакие ваши российские бюрократы мне не страшны. Но вот твоя идея для третьей части, Кира... Знаешь, она не выходит у меня из головы. Откуда в тебе такое точное чувство сицилийской трагедии, а?

Кира смутилась, почувствовав, как под столом Андрей осторожно сжал её колено, предупреждая о лишних словах.

— Просто очень люблю ваши первые два фильма, мистер Коппола, — уклончиво ответила она. — И, наверное, сработала математическая логика: любое уравнение должно приходить к закономерному финалу.

— Прекрасный ответ, — раздался с края стола ровный, бархатный голос Маркуса Торна. Он поднялся с бокалом в руке и с безупречной вежливостью кивнул своему напарнику Саймону Грею, который тут же обратился к Андрею: — Прошу прощения, что прерываем столь увлекательную беседу. Андрей, Маркус сказал мне, что вы занимаетесь квантовой оптикой и лазерами. Дело в том, что наша американская проекционная установка в соседнем фургоне весь вечер даёт странный сбой — словно рядом работает какой-то мощный посторонний резонатор. Не окажете ли любезность взглянуть на приборы свежим взглядом специалиста?

Андрей и Кира переглянулись. В тихом, благополучном девяносто втором году никто в Москве не мог знать слова «резонатор» применительно к их тайне — если только эти двое вежливых голливудских продюсеров не искали их намеренно.

Глава пятая, в которой ночная Москва хранит тревожные тайны, медный прибор угасает, а единственная надежда скрывается в стенах академического института

Ужин в усадьбе на Пречистенке закончился за полночь. Вежливо уклонившись от приглашения Маркуса Торна и Саймона Грея пройти в фургон с аппаратурой — сославшись на поздний час и утреннюю лекцию в институте, — Андрей взял Киру под руку, и они поспешили проститься с маэстро Копполой и растроганной бабушкой Алевтиной.

Однако стоило им выйти за чугунные ворота усадьбы на пустынную, залитую ровным светом фонарей Пречистенку, как оба словно по команде ускорили шаг, то и дело оглядываясь по сторонам. Тихая, благополучная Москва девяносто второго года вдруг перестала казаться им уютной гаванью.

— Ты видел их глаза, Андрей? — заговорила Кира, едва они захлопнули за собой тяжёлую дверь квартиры на Ломоносовском проспекте и щёлкнули английским замком. — Когда я, дура набитая, разболтала Копполе весь сюжет «Крёстного отца», этот Торн и его приятель-инженер переглянулись так, словно я только что выдала им шифр от сейфа Пентагона!

— А вопрос Грея про резонатор? — мрачно отозвался Андрей, снимая пиджак и проходя в гостиную. — В этом мире ни один киношник не употребит это слово применительно к осветительным софитам! Они никакие не продюсеры, Кира. Они знают, кто мы, и они ищут наш прибор. Я почти уверен, что от самой Пречистенки за нашим такси хвостом шёл тёмно-синий «Форд».

Не зажигая верхнего света, чтобы не привлекать внимания с улицы, Андрей прошёл к старинному книжному шкафу, отодвинул нижнюю полку и извлёк из тайника тяжёлый кожаный футляр. Опустив его на письменный стол, он откинул крышку и включил зелёную настольную лампу.

В тусклом свете тускло блеснула полированная медь, кварцевые линзы и стеклянная трубка самодельного хроно-резонатора. Андрей подсоединил к клеммам маленький лабораторный тестер, щёлкнул тумблером — и лицо его мгновенно потемнело. Стрелка прибора едва

заметно дрогнула у самого нуля, а внутри стеклянной трубки вместо привычного, живого рубинового сияния промелькнула лишь слабая, угасающая розовая искра.

— Плохо дело, Кира, — глухо произнёс он, откладывая щупы тестера. — Двойной переход из Цюриха выжал кварцевый накопитель досуха. Прибор почти полностью разрядился. Здесь не хватит энергии даже на один короткий скачок в прошлое, не говоря уже о том, чтобы вернуться обратно.

Кира опустилась в кресло, обхватив плечи руками. В комнате повисла тяжёлая тишина, нарушаемая лишь тиканьем настенных часов.

— А ведь нам нужно сделать именно двойной прыжок, Андрей, — тихо, но с твёрдой решимостью произнесла она, глядя на угасший прибор. — Я всё обдумала за эти дни. Мы не сможем стать здесь счастливыми. Этот гладкий, сытый рай — чужой, мы в нём призраки с украденной памятью, а теперь за нами ещё и охотятся американцы.

— Но как вернуть всё назад? — Андрей присел на край стола напротив неё. — Даже если мы попадём в октябрь четырнадцатого года, Ленин уже знает о тебе, он уже вцепился в твои идеи!

— Нет, — покачала головой Кира. — Вся его новая программа держится на той самой тетради, которую он унёс из гостиной Навроцких в октябре. До революции остаётся ещё три года бурь, подполья и арестов. Без точных записей и расчётов, которые он унёс в кармане, он не сможет удержать партию от прежнего пути — всё пойдёт по нашему настоящему, суровому руслу. Мне нужно вернуться в тот самый цюрихский вечер, незаметно выкрасть или подменить эту тетрадь у Ленина, пока мы не исчезли — и тут же вместе с тобой прыгнуть обратно в наш настоящий девяносто второй год!

— Задумка дерзкая, — вздохнул Андрей, поглядывая на мёртвый резонатор. — Но для такого двойного скачка сквозь семьдесят восемь лет нам потребуется колоссальный импульс энергии. Домашняя розетка и старые конденсаторы тут не помогут — мы просто спалим проводку во всём доме. Нужен мощный промышленный квантовый генератор.

Оба на мгновение замолчали, и в один и тот же миг их взгляды встретились. Имя единственного человека в этой реальности, который мог им помочь, повисло в воздухе без всяких слов.

— Академик Целовский-младший, — одновременно выдохнули они.

— Внук нашего старого чудака с Мясницкой, — оживился Андрей, начиная быстро расхаживать по комнате. — Он возглавляет Государственный институт квантовой оптики и энергетики — тот самый, который его дед основал по договору с Лениным в восемнадцатом году! В их подземных лабораториях стоят сверхмощные импульсные лазеры, о которых в нашем мире физики могли только мечтать!

— Но согласится ли он помочь нам? — усомнилась Кира. — Ведь его дед дал слово Ленину навсегда закрыть опыты со временем и уничтожил все чертежи!

— Внук — настоящий учёный, Кира. Я видел его глаза у подъезда института в первый день: он сразу почуял, что мы непростые гости, — уверенно сказал Андрей. — В семейном архиве Целовских наверняка сохранилась легенда о цюрихском эксперименте и о девушке из будущего. К тому же, если мы объясним ему, что за нами по пятам идут агенты ФБР, охотящиеся за технологией его деда, он ни за что не отдаст семейную тайну американцам!

Решение было принято. Уложив разряженный резонатор в неприметный брезентовый рюкзак, Кира и Андрей договорились, что с первым же утренним светом, не заходя ни на лекции, ни в свои лаборатории, отправятся прямиком в кабинет академика Целовского — пока вежливые «кинопродюсеры» Маркус Торн и Саймон Грей и их люди не успели захлопнуть вокруг них ловушку.

Глава шестая, в которой синьор Коппола не спит до рассвета, Кира едва не теряет голову от вальса, а бальный зал погружается во тьму под итальянские проклятия

Утром в квартире на Ломоносовском проспекте ни свет ни заря зазвонил телефон. Андрей, дежуривший у окна, за которым в утреннем тумане чернел знакомый «Форд» наружного наблюдения ФБР, вздрогнул и кивнул Кире.

Кира сняла трубку — и в тот же миг из мембраны на неё обрушился густой, взволнованный баритон с характерным итальянским акцентом, в котором слышались и бессонная ночь, и священный творческий восторг:

— Кира, дорогая моя, простите ради бога за столь ранний звонок, но я не сомкнул глаз ни на минуту! — гремел в трубке Фрэнсис Форд Коппола. — У меня перед глазами всю ночь вспыхивали кадры третьей части «Крёстного отца»! Этот Ватиканский банк, старый больной Майкл, ступени оперы в Палермо... *Madonna mia*, я вижу эту картину целиком! Умоляю, если вы не заняты сегодня утром, приезжайте ко мне на площадку, привезите ваши наброски и записи!

Кира на секунду замерла, глядя на Андрея, а затем в голове её мгновенно сложился дерзкий, спасительный план.

— Мистер Коппола, у меня нет никаких записей на бумаге, — мягко ответила она. — Но я с радостью приеду прямо сейчас, и мы всё подробно обсудим за чашкой кофе. Есть только одна маленькая просьба: не могли бы вы прислать за мной и Андреем ваш закрытый студийный лимузин с тонированными стёклами? На улице сегодня ужасно промозгло.

— *Subito!* Немедленно! — вскричал маэстро. — Через двадцать минут машина с охраной студии будет у вашего подъезда!

Саймон Грей и Маркус Торн, перехватившие звонок через аппаратуру прослушки, попали в собственную ловушку. Запретить режиссёру везти «соавтора» на площадку они не могли, не раскрыв своего прикрытия, а тонированный лимузин «Атлантик-Пикчерз» беспрепятственно проехал мимо постов наружного наблюдения. В салоне на коленях у Андрея скромно покоился брезентовый рюкзак с разряженным хроно-резонатором.

На съёмочной площадке в усадьбе на Пречистенке с самого утра кипела работа: готовили главную массовую сцену — первый бал Наташи Ростовой. Коппола встретил Киру как родную дочь, увёл в свой режиссёрский шатёр и полтора часа, жадно дымя сигарой и исписывая блокнот, расспрашивал её о деталях трагедии семьи Корлеоне. Маркус Торн и Саймон Грей крутились неподалёку, но подойти ближе не решались — маэстро рычал на любого, кто смел прервать его творческий транс.

Когда блокнот был исписан до последней страницы, растроганный Коппола с чувством сжал обе руки Киры:

— Кира, *bambina*, я хочу отблагодарить вас! Предлагать деньги внучке русской аристократки было бы оскорблением и мелочностью. У меня есть подарок получше: сегодня мы снимаем первый бал Наташи, а у меня с утра слегла с ангиной актриса на роль её кузины Сони! Роль без слов — нужно просто стоять в бальном платье рядом с Вайноной и смотреть, как танцует Болконский. Сделайте мне честь, войдите в историю кино!

Кира растерялась, но поймав быстрый, одобрительный взгляд Андрея, поняла: вот он, единственный шанс затеряться в толпе и ускользнуть от Торна и Грея!

Через полчаса костюмеры затянули Киру в воздушное шёлковое платье ампир цвета утренней зари, соорудили на голове высокие локоны с жемчужной нитью и вывели в огромный, сияющий сотнями свечей и софитов бальный зал усадьбы. И тут на Киру напал такой лютый, ледяной мандраж, какого она не испытывала даже на допросе в московской охранке в четырнадцатом году. Под прицелом трёх огромных кинокамер, в окружении сотни разодетых статистов и знаменитостей у неё задрожали колени, во рту пересохло, а руки словно налились свинцом.

Но стоило ей занять своё место у мраморной колонны, как рядом оказалась хрупкая Вайнона Райдер. Заметив, что новая «кузина Соня» готова вот-вот упасть в обморок, Вайнона незаметно для камер крепко сжала её ледяные пальцы своей тёплой ладошкой и лукаво шепнула на ухо:

— Эй, не дрейфь! Представь, что мы с тобой на рок-концерте, а эти ребята с камерами — просто зрители в первом ряду. Просто улыбайся мне!

А в следующую секунду мимо них торжественной, упругой походкой прошествовал Дэниел Дэй-Льюис в ослепительно белом кавалергардском мундире. Не выходя из образа князя Андрея ни на миллиметр, он на мгновение склонил голову в безупречном аристократическом поклоне, посмотрел на Киру своими глубокими, проницательными глазами и тихо произнёс по-русски с лёгким, благородным акцентом:

— Держите спину, кузина Соня. Весь этот свет сегодня смотрит только на нас.

И грянула музыка. Симфонический оркестр, укрытый за живой изгородью из оранжерейных пальм, заиграл такой упоительный, кружащий голову вальс, что у Киры захватило дух. В свете сотен восковых свечей зашуршали шёлковые шлейфы, зазвенели шпоры, закружились в зеркалах блестящие пары. Кире до слёз, до щемящей боли в груди захотелось забыть обо всём на свете — отдаться этой волшебной музыке, впитать каждый звук и блеск этого сказочного бала, в который она попала вопреки всем законам физики. *Но холодный разум математика неумолимо напоминал: у выходных дверей уже маячат мрачные фигуры Маркуса Торна и Саймона Грея. Кира бросила долгий, прощальный взгляд на статную, сияющую бабушку Алевтину у колонны — она знала, что видит её такой живой и счастливой в последний раз, но иного выбора не оставалось...»*

Едва Коппола крикнул в мегафон «Стоп! Снято!», американские агенты шагнули в зал, пробираясь сквозь толпу к Кире. Но Андрей, незаметно прокравшийся к щитовой и фургону реквизиторов с рюкзаком за плечом, действовал молниеносно.

Сначала он «случайно» задел локтем столик с пиротехническими дымовыми шашками, приготовленными для сцены пожара Москвы, и щёлкнул запалом — в ту же секунду из-под портьер повалили густые, непроглядные клубы белого дыма. А в следующее мгновение Андрей ухватился за толстые резиновые кабели у распределительного щита и с силой рванул их из разъёмов.

Брызнул сноп синих искр, и огромный бальный зал мгновенно погрузился в кромешную, абсолютную тьму!

И тут началось такое светопреставление, какое не снилось ни Льву Толстому, ни самому Булгакову. В темноте и густом дыму поднялся невообразимый гвалт: придворные фрейлины завизжали пронзительным фальцетом, какой-то дородный «генерал» с грохотом рухнул в кадку с оранжерейным фикусом, запутавшись в собственной сабле, двое гусар столкнулись лбами и покатились по паркету, опрокинув поднос с бутафорским шампанским, а массовка, обрадованная внезапным весельем и срывом утомительной съёмки, принялась хохотать, свистеть и улюлюкать в темноте.

Над всем этим хаосом, перекрывая визги и грохот, в мегафоне загремел отчаянный, срывающийся на фальцет голос Фрэнсиса Форда Копполы, который в порыве праведного гнева начисто забыл английский язык:

— *Porca miseria! Mannaggia la miseria!* Кто откусил провода, *diavolo*?! Всем стоять на месте! *Tutti fermi!* Не двигаться, безголовые макаронники, вы же мне в темноте все кринолины порвёте и Бородинскую панораму растопчете! *Madonna santa*, дайте свет! Где этот чёртов электрик?!

Под аккомпанемент этих сочных итальянских проклятий, всеобщего хохота и звона бьющейся посуды Андрей на ощупь пробрался к мраморной колонне, поймал Киру за руку по шуршанию её шёлкового платья и увлёк за собой. Прямо в пышном бальном наряде кузины Сони, придерживая подол обеими руками и сверкая атласными туфельками, Кира выскользнула вслед за ним через чёрный ход сада в пустынный переулок, где они поймали первое попавшееся такси и помчались в Институт квантовой оптики к академику Целовскому-младшему.

Такси с визгом затормозило у стеклянно-гранитного портала Государственного института квантовой оптики и энергетики имени А. В. Целовского. Ошарашенный таксист ещё долго провожал взглядом странную парочку: молодого человека в помятой куртке с брезентовым рюкзаком за плечом и бледную девушку, которая выпорхнула из машины в пышном шёлковом бальном платье ампир цвета утренней зари и атласных туфельках, придерживая подол обеими руками.

Миновав растерянного вахтёра благодаря пропуску Андрея, они взлетели на пятый этаж, проскочили мимо ошеломлённого секретаря и ворвались прямо в просторный, пахнущий старыми книгами, трубочным табаком и озоном кабинет директора.

Академик Андрей Викентьевич Целовский-младший — сухощавый, седовласый старик с живыми, проницательными глазами и такой же аккуратной бородкой клинышком, как у его знаменитого деда на портрете над столом, — не выказал ни малейшего изумления при виде необычных гостей. Едва тяжёлая дубовая дверь за ними затворилась, он снял очки в тонкой золотой оправе, оглядел Киру в наряде девятнадцатого века и тихо усмехнулся:

— А я, признаться, поджидал вас ещё вчера. Дед оставил в семейном архиве запечатанный пакет, вскрыть который завещал в сентябре девяносто второго года. Там значилось: *«Ежели явятся двое, чьи очи помнят другой, горький век, — выслушай их без утайки и ведай цену времени»*.

Не теряя ни минуты, Андрей выложил на зелёное сукно академического стола брезентовый рюкзак, извлёк оттуда потухший медный хроно-резонатор и сбивчиво, перебивая себя, рассказал старому учёному всё: и про охоту заокеанских сыщиков Торна и Грея, и про выдохшийся кварцевый кристалл, и про их твёрдое желание подключить прибор к институтскому квантовому генератору, чтобы вернуться в октябрь четырнадцатого года, незаметно забрать у Ленина заветную тетрадь и шагнуть обратно в свой настоящий, суровый 1992 год.

Академик Целовский долго молчал, поглаживая бородку и глядя на знакомые по дедовским чертежам кварцевые линзы. Затем он тяжело вздохнул и поднял на них строгий, испытующий взгляд:

— Откройте вам стальные врата в подземный бункер к реактору? Вы и впрямь намерены стереть этот наш мир и вернуть колесо истории в прежнюю колею? Вы хоть отдаёте себе отчёт, какую кровавую кашу собираетесь заварить заново?

Кира горько усмехнулась и сжала пальцы на подлокотнике кожаного кресла, расправив шуршащие складки бального шёлка.

— Мы не просто отдаём отчёт, Андрей Викентьевич — мы в этой каше выросли, — тихо ответила она. — Но это *наш* мир, понимаете? Наш настоящий дом, со всеми его шрамами и болями!

— Помилуйте, голубушка, но ведь после семнадцатого года у вас там разверзся настоящий ад! — возразил Целовский, подаваясь вперёд. — По дедовским записям я знаю лишь в общих чертах, что ожидало Россию без вашей тетради. Но вы-то, люди оттуда, неужели не помните, чем обернулась та дорога?

Кира и Андрей переглянулись, морща лоб и с трудом выуживая из памяти сухие строчки институтских лекций по истории, которые в их прежней жизни казались такими далёкими, а теперь вдруг обрели страшную, осязаемую плоть.

— Помним, конечно... — неуверенно начала Кира. — Сразу после октября семнадцатого всё посыпалось как карточный домик. Вспыхнула Гражданская война, навалилась иностранная интервенция с четырёх сторон...

— Да и внутри страны начался полный развал! — подхватил Андрей, перебивая её и начиная быстро ходить по кабинету. — Старая буржуазия, чиновники и инженеры ушли в глухой саботаж. Заводы и фабрики встали, транспорт парализовало, в Петрограде и Москве начался жуткий голод!

— А крестьяне наотрез отказывались везти хлеб в города! — добавила Кира. — Зачем им было отдавать зерно за обесцененные бумажки, когда городу совершенно нечего было предложить деревне взамен? Ни ситца, ни керосина, ни гвоздей!

— Вот-вот! — щёлкнул пальцами Андрей. — И чтобы спасти республику от гибели и накормить армию, Ленину пришлось ввести политику «военного коммунизма»: запретить частную торговлю, послать в деревню продотряды, силой выгребать хлеб по продразвёрстке!

— И полыхнули крестьянские восстания, а в двадцать первом году грянул страшный голод, унёсший миллионы жизней, — глухо продолжила Кира, опуская глаза. — А потом, Андрей Викентьевич, чтобы западные державы прекратили поддерживать белое движение и сняли блокаду, Советской России пришлось отдать им почти весь золотой запас империи! Эшелоны царского золота ушли за границу за гроши... А дальше — высылка кулаков, жестокая коллективизация, тридцать седьмой год...

Академик Целовский слушал их, не перебивая, и в его глазах сквозь стёкла очков светилась глубокая, почти булгаковская печаль мудреца.

— А теперь выслушайте меня, дорогие мои путешественники, — негромко произнёс он, сцепив сухощавые пальцы на столе. — Ваш визит в Цюрих вовсе не превратил нашу историю в лёгкую прогулку. В октябре семнадцатого перед Лениным разверзлись ровно те же бездны. Но в нагрудном кармане у него лежала ваша тетрадь, Кира! Он знал наперёд, где порвётся тонкая нить. В первые же дни после переворота Владимир Ильич наотрез запретил разгонять старую техническую интеллигенцию и вызвал в Смольный крупнейших русских промышленников и банкиров — братьев Рябушинских, текстильных магнатов Морозовых и бывшего министра торговли Коновалова.

— И он сумел с ними договориться? — недоверчиво переспросил Андрей.

— Ещё как! — кивнул академик. — Ленин предложил им жёсткий, но честный договор: государство берёт под контроль армию, железные дороги, недра и тяжёлую индустрию, но фабриканты сохраняют свои заводы лёгкой промышленности, торговые дома и честную прибыль, ежели немедленно запустят станки для снабжения страны. Более того, он привлёк к работе лучших русских инженеров — Генриха Графтио и Глеба Кржижановского, которые сразу взялись за электрификацию и восстановление транспорта.

— И заводы не встали... — прошептала Кира.

— Ни на один день! — с гордостью ответил Целовский. — Мануфактуры Морозовых гнали ситец, заводы Коновалова давали керосин, гвозди и плуги, а вместо обесцененных бумажек государство сразу ввело твёрдый, обеспеченный золотом рубль. У города нашлось что дать русскому мужику в обмен на хлеб! Не понадобились ни продотряды, ни продразвёрстка — зерно потекло в Петроград и Москву по рыночным ценам. Белое движение сдулось, не найдя опоры в народе, иностранная интервенция захлебнулась, а царское золото осталось в казне страны! Правда, пройти по лезвию ножа оказалось куда труднее внутри собственной партии. Иосиф Сталин сколотил целую коалицию радикалов, которые яростно возражали против ленинского курса и сохранения буржуазии. В двадцать втором году Сталин попытался поднять вооружённый мятеж — но Ленин, вооружённый вашей тетрадью, ударил первым. Мятеж подавили за одну ночь, а Сталин и его ближайшие соратники были расстреляны по приговору три-

бунала. А чуть позже, разгромив на съезде левую оппозицию, Ленин без лишнего шума выслал за рубеж и Троцкого, клеймившего его отступником от мировой революции.

Кира слушала, затаив дыхание, но вдруг взгляд её скользнул за спину академика — на огромную политическую карту мира, висевшую во всю стену. Кира сделала шаг ближе — и кровь отлила от её лица. Европа на этой карте была перекроена страшными, рваными шрамами: от самого Рейна до Одера тянулась широкая, заштрихованная красным полоса с надписью «Зона особого режима и карантина», а на полях висела таблица: *«Вторая мировая война: 1939–1948 гг.»*.

— Что это значит?! — прошептала Кира, чувствуя, как подкашиваются ноги. — Почему война кончилась в сорок восьмом?!

— А вы как думали, милочка? — жёстко усмехнулся Целовский-младший, и в его голосе вдруг исчезла всякая мягкость, сменившись ледяным, фанатичным металлом. — Ленин пощадил буржуазию, расстрелял Сталина и отказался от жестокой, надрывной индустриализации тридцатых годов. Страна жила сыто, варила масло вместо пушек и строила особняки вместо танковых заводов! И когда в сорок первом на нас обрушилась вся военная машина объединённой Европы, у России не оказалось ни уральских гигантов, ни тысяч танков! Мы воевали девять долгих, кровавых лет — до самого сорок восьмого, пока не выжгли пол-Европы атомным огнём! Вот цена вашего «мягкого пути»!

— Но тем не менее этот мир выстоял и стал властелином планеты! — продолжал академик, отступая к столу и тянясь рукой к скрытой кнопке тревоги. — И я ни за что не дам вам уничтожить его! Я не стану вам помогать. Ваш резонатор и вы сами сегодня же перейдёте в распоряжение специального отдела госбезопасности!

— Андрей Викентьевич, опомнитесь! — бросился к нему Андрей, пытаясь преградить путь к столу и убедить старика. — Посмотрите на эту карту! Это тупик, этот мир держится на штыках и радиации, мы должны вернуть всё на свои места, пока...

Андрей не успел договорить. За дубовой дверью в приёмной грохнули два глухих, приглушённых выстрела, зазвенело разбитое стекло, и раздался короткий вскрик секретаря. Тяжёлая дверь распахнулась от мощного удара ноги, и в кабинет ворвались запыхавшиеся, разъярённые после погони от Пречистенки Маркус Торн и Саймон Грей с бесшумными пистолетами в руках.

— Руки вверх, господа учёные! Охрана внизу нейтрализована! — рявкнул Саймон Грей, переводя чёрный ствол с ошеломлённого академика на Андрея и на замершую у карты Киру в её ослепительном бальном платье. — Спектакль окончен. Отдайте прибор, и никто не пострадает.

Глава седьмая, в которой бальное платье спускается в подземелье, пуля превращается в серебряную пыль, а рубиновый луч возвращает историю в прежнее русло

Дуло бесшумного пистолета Саймона Грея застыло в метре от груди Андрея, а Маркус Торн, закрыв за собой дубовую дверь кабинета и пряча во внутренний карман поддельные пропуска Министерства культуры, по которым они беспрепятственно прошли сквозь институтскую охрану под видом консультантов киностудии, брезгливо усмехнулся, окинув взглядом пышный наряд Киры:

— Надо же, как мило. Графиня Ростова собственной персоной. Я же говорил тебе, Саймон, что у этих русских всегда в запасе дешёвый театральный фокус. Рюкзак на стол, живо!

Академик Целовский-младший стоял ни жив ни мёртв, прижавшись спиной к страшной карте Европы, и смотрел на непрошеных гостей с выражением крайнего омерзения. Андрей же, внешне покорно поднимая руки, исподлобья оценивал расстояние до стола. Между ним и дулом пистолета стояло тяжёлое дубовое кресло академика, а на лацкане пиджака старика поблёскивал магнитный ключ от подземного уровня.

— Саймон, забери прибор и обыщи парня, — приказал Торн, не сводя холодных глаз с Киры. — Если дёрнется — прострели ему колено, он нам живым не особо нужен. Нам нужна только девчонка и её память.

Грей шагнул к столу, протянув левую руку за брезентовым рюкзаком. Этой доли секунды Андрею хватило. Резким, отчаянным движением ноги он с размаху толкнул тяжёлое кресло на колёсиках прямо под ноги Грею, одновременно рванув с лацкана оторопевшего академика магнитный ключ и схватив со стола рюкзак.

Грей с проклятием рухнул на паркет, запутавшись в ножках кресла, и выстрелил вслепую — пуля с сухим треском разнесла хрустальный графин на столе.

— В лифт! Скорее! — крикнул Андрей, хватая Киру за руку.

Кира, забыв обо всякой светской чинности, обеими руками подхватила пышный шёлковый подол бального платья ампир и вихрем вылетела вслед за Андреем в боковую дверь, ведущую к служебному лифту. В тот самый миг, когда тяжёлые стальные створки кабины начали сходиться, в коридор выскочил разъярённый Маркус Торн. Две пули с глухим звоном сплющились о сталь закрывшихся дверей, и кабина стремительно понеслась вниз, на минус четвёртый уровень, в святая святых института — зал промышленного квантового реактора.

Выскочив в огромный, гудящий от низкочастотной вибрации бетонный зал, в центре которого под толстым стеклянным куполом переливалось холодным синеватым пламенем сердце лазерной установки, Андрей подбежал к главному распределительному пульту.

— Кира, держи медные клеммы! Я подключаю наш резонатор напрямую к импульсному накопителю! — кричал он сквозь нарастающий гул турбин, лихорадочно скручивая провода и выставляя на латунном лимбе координаты октября четырнадцатого года. — Семь секунд на зарядку — мы прыгаем в Цюрих, уничтожаем тетрадь, пока Ленин её не унёс, и сразу домой!

Кира, в своём растрёпанном бальном платье и сбившейся жемчужной нитью в волосах, крепко сжимала тяжёлый силовой кабель, глядя на индикатор заряда, где стрелка стремительно ползла вверх. В голове её не осталось ни тени сомнений: страшная карта Европы, выжженной атомным огнём до сорок восьмого года, стояла перед глазами как приговор. Этот «идеальный» мир держался на чудовищной цене, и её долг перед собственным временем был ясен как день.

И тут с оглушительным лязгом и снопом автогенных искр распахнулись бронированные двери бункера. На пороге стояли запыхавшиеся Маркус Торн и Саймон Грей с пистолетами наизготовку.

— Стоять, оба! Ни с места! — рявкнул Грей, целясь прямо в спину Андрею. — Отойди от пульта, парень, или я разнесу тебе позвоночник!

— Не стреляй, Саймон, реактор разнесёт к чертям! — быстро бросил Торн, делая осторожный шаг вперёд и растягивая губы в своей фирменной циничной улыбке. — Послушайте меня, Кира, Андрей. Зачем вам возвращаться в вашу нищую, разваливающуюся страну, где по улицам бродят бандиты, а деньги превращаются в бумагу? Отдайте прибор нам. В Вашингтоне вас осыплют золотом, дадут лучшие лаборатории, виллу у океана. Не будьте дураками!

Кира подняла голову и посмотрела прямо в холодные серые глаза американца. В её взгляде вдруг проснулась та самая гордая, неукротимая сила, с какой она когда-то смотрела в лицо жандармам в зале московского суда.

— Мы не торгуем Родиной, господин продюсер, — звонко ответила она. — Ни старой, ни новой. Включай, Андрей!

С этими словами Кира обеими руками с силой вдавила медную клемму в гнездо накопителя, а Андрей рванул вниз главный рубильник.

Подземный зал залило ослепительным, нестерпимым рубиново-золотым сиянием. Воздух запел высоким, хрустальным звоном, от которого заложило уши. Саймон Грей в ярости спустил курок, но пуля, попав в закручивающуюся воронку хроно-луча, на глазах у остолбеневших американцев рассыпалась в мелкую серебристую пыль.

— Прыгаем! — крикнул Андрей, обнимая Киру за плечи и хватая раскалившийся докрасна резонатор.

В последнюю секунду, прежде чем ослепительный портал схлопнулся, оставив Маркуса Торна и Саймона Грея в пустом, дымящемся бункере прямо под дулами ворвавшихся сверху бойцов русской контрразведки, пространство вокруг Киры и Андрея закружилось в стремительном, беззвучном вихре.

Октябрь четырнадцатого года в Цюрихе встретил их пронизывающим до костей сырым туманом с озера и густым перезвоном трамваев на Банхофштрассе. Возникнув в тёмном переулке за углом от университетского пансиона, Кира и Андрей в первую же секунду поняли, что опоздали: тяжёлая дубовая дверь пансиона как раз захлопнулась, и по мокрой брусчатке быстрым, деловитым шагом удалялся невысокий коренастый человек в чёрном котелке и распахнутом пальто, прижимающий к груди тугой кожаный портфель.

— Унёс! — выдохнула Кира, чувствуя, как леденеют пальцы. — Тетрадь у него в портфеле! Если он дойдёт до конспиративной квартиры на Шпигельгассе и перепишет таблицы — всё пропало!

— Не дойдёт, — мрачно усмехнулся Андрей, оглядывая пустынную вечернюю улицу и пристраиваясь следом. — Держись за мной и подыгрывай.

Они нагнали Владимира Ильича у самого входа в уютную, пропахшую корицей, табачным дымом и свежими газетами швейцарскую кофейню «Одеон», куда вождь мировой революции имел привычку заглядывать по вечерам, чтобы просмотреть свежую прессу и сыграть партию в шахматы. Ленин уже уселся за угловой столик у мраморной колонны, положил портфель рядом на плюшевый диван и погрузился в чтение «Нойе Цюрхер Цайтунг», прихлёбывая горячий кофе из крошечной чашки.

План созрел мгновенно. Пока Андрей с самым невозмутимым видом прошёл вглубь зала и присел за соседний столик, раскрыв газету, Кира — всё ещё в своём шёлковом бальном платье ампир, накинув поверх плеч куртку Андрея — стремительно подошла к столику Ленина.

— Владимир Ильич! Слава богу, я вас застала! — воскликнула она взволнованным шёпотом, присаживаясь напротив.

Ленин вздрогнул, поверх газеты сверкнул на неё острым, прищуренным взглядом и мгновенно узнал недавнюю гостью из будущего:

— Батенька мой... Кира?! Вы снова здесь? Что стряслось? Неужели в расчётах прокралась ошибка?!

— Хуже, Владимир Ильич! — с самым трагическим видом зашептала Кира, бросая тревожные взгляды на входную дверь. — Царская охранка выследила наш пансион! Два филёра в штатском только что расспрашивали швейцара о «русском господине в котелке»! Они идут сюда с обыском!

Брови Ленина мгновенно сдвинулись. Будучи старым, битым конспиратором, привыкшим всю жизнь уходить от слежки, он поверил этой новости без малейших колебаний.

— Вот как? Негодяи и до Цюриха добрались! — глухо бросил он, машинально схватившись за ручку портфеля.

И в ту же секунду у соседнего столика грянул спектакль. Андрей, дождавшись нужного момента, громко чихнул, опрокинул на пол медный поднос с кофейником и, вскочив на ноги, принялся по-немецки с жаром спорить с подбежавшим кельнером, размахивая газетой и загородив собой проход к колонне.

Ленин на одно мгновение обернулся на грохот, прикидывая пути отхода через чёрный ход кофейни, — и этого мгновения Кире хватило. Бесшумно щёлкнув замком портфеля, она вытащила заветную кожаную тетрадь и спрятала её под курткой.

— Уходите через кухню, Владимир Ильич, я задержу их у входа! — шепнула она.

— Благодарю, милая Кира! Славная вы конспираторша! — быстро пожал ей руку Ленин, подхватил полегчавший портфель и быстрым, кошачьим шагом скрылся за дверью в глубине зала, даже не подозревая, что его главное сокровище осталось в руках беглянки.

Не теряя ни секунды, Кира и Андрей выскользнули из кофейни в глухой, заросший плющом тупик за собором Гроссмюнстер. Достав из кармана зажигалку, Андрей чиркнул колёсиком, и Кира поднесла к синему язычку пламени толстую кожаную тетрадь. Сухие страницы, на которых была записана иная, выглаженная судьба целого века, вспыхнули жадным оранжевым огнём; пепел закружился в сыром цюрихском воздухе и осел на мокрый булыжник.

Когда догорел последний уголок переплёта, Андрей достал из рюкзака раскалившийся докрасна резонатор, обнял Киру за плечи — и через мгновение рубиновый луч прочертил воздух в последний раз.

— Ну что, — тихо улыбнулся он, стискивая её ладонь. — Пойдём домой? На Старом Арбате у стены Цоя нас, наверное, уже заждались.

Глава восьмая, в которой на Лубянке развевается чужой флаг, учебник истории рассказывает о потсдамской измене, а двое пришельцев отправляются на поиски забытого учёного

Очнулись они на знакомой, облупленной чугунной скамье напротив станции метро «Лубянка» — но первое, что ударило в глаза Кире, когда рассеялся последний рубиновый отблеск, была не родная советская вывеска «Детский мир», а огромное, во весь фасад серого здания бывшего КГБ полотнище с белыми звёздами и красно-белыми полосами, вяло полоскавшееся на сыром осеннем ветру.

Сказка закончилась — исчезло роскошное бальное платье, уступив место её старой джинсовой юбке и тёплой кофте, а в кармане нащупался потрёпанный советский паспорт с пропиской в родной квартире. У ног их на асфальте лежал окончательно выгоревший, почерневший от перегрузки медный резонатор Целовского — стеклянная трубка его треснула, и больше он не годился ни на один скачок сквозь время.

Андрей осторожно поднял Киру со скамьи, вглядываясь в её лицо. Чужая, картонно-благополучная память навсегда растворилась, оставив только её собственный, живой и тёплый взгляд.

Кира медленно поднялась со скамьи, сжимая в руке почерневший, треснувший медный резонатор, и растерянно огляделась.

— Андрей... — тихо позвала она, чувствуя, как к горлу подкатывает холодный, липкий страх. — Посмотри наверх. Что это?

Андрей, потиравший ушибленное при падении плечо, поднял голову — и замер как вкопанный. Над массивным подъездом здания на площади висела свежая латунная доска на двух языках, где крупные английские буквы безоговорочно подавляли мелкую кириллицу внизу: *«U.S. High Commissioner Administration / Управление Верховного комиссара США. Московский сырьевой округ № 1»*.

Москва вокруг была до ужаса нищей, обшарпанной и какой-то придавленной. По разбитому асфальту с грохотом прополз ржавый, списанный американский школьный автобус с мутными стёклами, набитый угрюмыми людьми в заношенных пуховиках. На углу у подземного перехода стоял патруль: двое рослых американских военных полицейских в белых касках с аббревиатурой «MP» и винтовками наперевес лениво жевали резинку, а рядом с ними, услужливо заглядывая им в глаза, переминался с ноги на ногу местный полицай в мешковатой тёмно-синей шинели без звёзд на погонах.

— Мы промахнулись... — глухо выдохнул Андрей, судорожно ощупывая карманы. — Когда Саймон Грей выстрелил в бункере, пуля задела край воронки, сбила калибровку... Это девяносто второй год, Кира, но это *не наш* девяносто второй!

Спрятав мёртвый, бесполезный прибор в брезентовый рюкзак и стараясь не привлекать внимания патрулей, они почти бегом спустились в тёмное, пахнущее сыростью и дешёвым табаком метро. В вагонах горела лишь половина ламп, на стенах вместо привычных схем висели плакаты на английском языке с призывами записываться на вахтовые работы на нефтяные промыслы Сибири, а в переходе на «Университете» измождённые старики торговали с газет поштучными сигаретами и консервами из американской гуманитарной помощи, принимая в оплату исключительно засаленные однодолларовые бумажки и местные «колониальные центы».

К счастью, старый кирпичный дом на Ломоносовском проспекте стоял на месте, и ключ в кармане Киры подошёл к замку её тесной, запущенной двухкомнатной квартиры — здесь не было ни следа былой роскоши клана Навроцких, лишь облупившиеся обои, холодные батареи и густой слой пыли на книжных полках.

Едва захлопнув дверь на все засовы, Кира и Андрей бросились к письменному столу. На краю его, рядом с пожелтевшими тетрадями с математическими расчётами, лежал потёртый, в мягкой бумажной обложке школьный учебник «Новейшая история Евразийских территорий», изданный в Чикаго на русском языке. А рядом стоял старенький, громоздкий компьютер с гудящим модемом, подключённым к университетской телефонной сети — в начале девяностых сеть эта работала из рук вон плохо, обрываясь каждые пять минут, но всё же позволяла заглядывать в электронные каталоги публичной библиотеки.

До глубокой ночи, при тусклом свете настольной лампы, они листали глянцевые страницы учебника и вглядывались в мерцающий зелёный экран монитора, по крупицам восстанавливая страшную картину того, как рухнула их Родина.

Чикагский учебник «Новейшая история Евразийских территорий» был написан гладким, елейным, почти хвалебным слогом — в нём не было ни единого слова об измене или грабеже, но за каждым витиеватым абзацем проступала леденящая душу правда.

— Смотри сюда, Андрей... — прошептала Кира побелевшими губами, водя пальцем по длинной главе о завершении Второй мировой войны. — В нашей истории Сталин довёл страну до Победы и прожил до пятьдесят третьего года. А здесь написано: *«В ноябре 1944 года, в разгар тяжелейших боёв, верховный главнокомандующий И. В. Сталин, к великому сожалению, не выдержал колоссального нервного напряжения и скоропостижно скончался на ближней даче от апоплексического удара. Его достойным преемником на посту Генерального секретаря ЦК КПСС стал выдающийся государственный деятель Л. П. Берия, сумевший проявить невиданную политическую мудрость и гибкость»*.

— «Не выдержал напряжения» в сорок четвёртом году, когда фронт уже катился к Берлину и победа была в руках?! — мрачно усмехнулся Андрей, покачивая головой. — Слишком уж вовремя случился этот «удар». А в чём же заключалась хвалёная «гибкость» преемника?

— Читай дальше, тут целый гимн его миролюбию! — Кира перевернула страницу. — Летом сорок пятого на Потсдамской конференции Лаврентий Павлович Берия, как пишет учебник, *«отказался от имперских амбиций предшественника ради вечного мира и добрососедства»*. Он торжественно согласился немедленно вывести все советские войска с территорий Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Болгарии и Германии!

— Он сдал всю Восточную Европу одним росчерком пера?! — ахнул Андрей. — Да за что?!

— За то, что в следующей главе называют *«величайшим актом гуманизма Соединённых Штатов»* — за распространение на СССР американского «Плана Маршалла»! — с горькой иронией ответила Кира, переходя взглядом на экран компьютера, где после долгого писка модема наконец загрузились экономические таблицы из университетского архива. — В учеб-

нике поют дифирамбы американским инвестициям, спасшим страну от послевоенной разрухи. Но посмотри на сухие цифры в сети, Андрей!

Андрей наклонился к монитору, всматриваясь в столбцы статистики пятидесятых и шестидесятых годов. Картина складывалась без единого слова обвинений — чистая математика, от которой холодела кровь. Под видом «оптимизации и интеграции в мировой рынок» американские корпорации закрыли или перепрофилировали почти все советские машиностроительные, авиационные и приборостроительные гиганты. Кредиты «Плана Маршалла» шли исключительно в одно русло — в нефтяные вышки Западной Сибири, газопроводы, лесоповал и рудники. Все командные высоты в экономике перешли к заокеанским консорциумам, фундаментальные НИИ упразднили за ненадобностью, а в 1961 году на околоземную орбиту вышел не Юрий Гагарин, а американский астронавт Джон Гленн.

— Они просто купили Берию лестью и обещаниями золотых гор, сыграв на его тщеславии, — тихо, с холодной яростью проговорил Андрей, отрываясь от экрана. — А потом тихо превратили великую державу в бесправный сырьевой придаток. Без науки, без промышленности, без космоса и без собственного голоса.

В комнате повисла тяжёлая, звенящая тишина. За окном в ночной темноте провыла сирена американского военного патруля, напомнив о комендантском часе.

Андрей медленно перевёл взгляд на стол, где лежал треснувший, выгоревший хронорезонатор, а затем посмотрел на Киру. В его глазах больше не было растерянности — только твёрдая, упрямая решимость.

— Мы не можем оставить всё так, Кира, — сказал он. — Если в этом мире советскую науку удушили ещё в пятидесятых, то никакого величественного Института квантовой оптики здесь, скорее всего, нет. Но где-то в Москве обязан жить старик — Константин Викентьевич Целовский, внук нашего цюрихского изобретателя! Завтра с первым же рассветом, едва закончится комендантский час, мы найдём его. Чего бы нам это ни стоило.

Историческая справка

Потсдамская (Берлинская) конференция (в нашей реальности) прошла с 17 июля по 2 августа 1945 года во дворце Цецилиенхоф в Потсдаме (под Берлином) и стала третьей, заключительной встречей лидеров стран «Большой тройки» антигитлеровской коалиции после разгрома нацистской Германии.

Основные участники

СССР: Председатель Совнаркома И. В. Сталин (и нарком иностранных дел В. М. Молотов).

США: Президент Гарри Трумэн (сменивший умершего в апреле 1945 года Ф. Рузвельта; именно в Потсдаме Трумэн сообщил Сталину об успешном испытании в США нового сверхмощного оружия — атомной бомбы).

Великобритания: Премьер-министр Уинстон Черчилль (в середине конференции, после поражения консерваторов на выборах, его сменил новый премьер-министр Клемент Эттли).

Главные решения конференции

1. Судьба Германии (программа «четырёх Д»)

Союзники утвердили общие принципы оккупационной политики в Германии:

Демилитаризация — полное разоружение и роспуск германских вооружённых сил и военной промышленности.

Денацификация — ликвидация нацистской партии (НСДАП), отмена фашистских законов и предание главных военных преступников международному суду (будущему Нюрнбергскому трибуналу).

Демократизация — восстановление местного самоуправления, свободы слова, печати и демократических партий.

Демонополизация (декартелизация) — ликвидация крупных промышленных монополий и картелей, поддерживавших режим Гитлера.

2. Новые границы в Европе

Германия была разделена на четыре зоны оккупации (советскую, американскую, британскую и французскую), а Берлин — на четыре сектора.

Польша получила значительные германские земли к востоку от рек Одер и Западная Нейсе (Силезию, Померанию, южную часть Восточной Пруссии).

СССР получил город Кёнигсберг (ныне Калининград) и прилегающий к нему район Восточной Пруссии.

3. Репарации

Каждая держава-победительница должна была взимать репарации преимущественно из своей зоны оккупации. Дополнительно СССР получал 25% промышленного оборудования из западных зон (10% безвозмездно и 15% в обмен на продовольствие и сырьё из советской зоны).

4. Война с Японией и Потсдамская декларация

От имени США, Великобритании и Китая (26 июля 1945 года) была опубликована **Потсдамская декларация** с требованием безоговорочной капитуляции Японии.

Сталин подтвердил обязательство СССР вступить в войну против Японии ровно через три месяца после капитуляции Германии (СССР выполнил его 8–9 августа 1945 года).

Глава девятая, в которой храм науки превращается в сырьевую контору, на улицах гремит чужой рок девяностых, а великий физик торгует сигаретами в подземном переходе

Едва над серой, промозглой Москвой забрезжил мутный ноябрьский рассвет, Кира и Андрей вышли из подъезда. Утренняя столица встречала их суетливым, нервным гулом девяностых годов — но этот знакомый ритм был странным, вывернутым наизнанку, словно они попали в глухую провинцию заокеанской империи.

Вдоль разбитых тротуаров тянулись бесконечные ряды уродливых металлических ларьков и коммерческих палаток, обклеенных яркими импортными плакатами. Из хриплых динамиков, выставленных прямо на козырьки киосков, во всю мощь гремела американская музыка девяностых — надрывный гранж *Nirvana*, ритмичный рэп и слащавые поп-хиты, полностью вытеснившие привычные песни на русском языке. Над каждым вторым магазином и банком висели кричащие неоновые и пластиковые вывески исключительно на английском языке, где мелкий русский перевод ютился в самом низу, словно сноска в инструкции: *«Pacific Trust Bank»*, *«General Motors Service»*, *«Siberian Timber & Oil Corp»*.

По серой слякоти проспектов с ревом проносились чадящие, списанные из американских штатов жёлтые школьные автобусы, битком набитые угрюмыми москвичами, спешившими на смену, и старые, проржавевшие «Форды» и «Шевроле» восьмидесятых годов, привезённые сюда втридорога со свалок Нью-Джерси. Люди вокруг были одеты в пеструю, нелепую гуманитарную одежду из американского секонд-хенда — куртки с эмблемами чужих бейсбольных команд, растянутые свитера и стоптанные кроссовки.

На перекрёстках лениво прогуливались парные патрули: местные сотрудники муниципальной полиции в тёмно-синих куртках с нашивкой *«Municipal Security»* и рослые американские военные полицейские в белых фуражках с чёрными буквами **MP** на рукавах и рациями на

плече. Стоило из-за угла выскочить сверкающему чёрному внедорожнику с дипломатическими или корпоративными номерами США, как полицаи мгновенно вскидывали руку к козырьку, а водители старых «Жигулей» и «Фордов» шарахались к обочине, уступая дорогу хозяевам города.

По дороге к центру Кира и Андрей миновали квартал в районе Остоженки, наглухо отрезанный от остального города бетонными блоками и полосатым шлагбаумом с будкой частной американской охраны. За ограждением начинался другой мир — чистый, сытый, сияющий витринами супермаркетов и вывесками дорогих ресторанов, куда входили исключительно граждане США и сотрудники корпораций. На воротах висела латунная табличка: *«U.S. Personnel Only / Вход местному населению без пропусков воспрещён»*. А у самого шлагбаума уже с утра топталась длинная, молчаливая очередь москвичей — инженеров, учителей и бывших научных сотрудников, пришедших наниматься на подённую работу: разгружать фуры, мыть витрины и убирать дворы.

Чуть дальше, на углу Садового кольца, у бывшего гастронома, толпились люди с сумками и бидонами — там с утра открылся пункт выдачи гуманитарной помощи, где двое сержантов интендантской службы в камуфляже сгружали с грузовика коробки с сухим молоком, банками фасоли и дешёвыми соевыми концентратами, сверяя магнитные вкладыши в паспортах.

Первым делом Кира и Андрей направились к бывшему Институту квантовой физики — туда, где в прежнем девяносто втором году возвышался величественный стеклянно-гранитный дворец науки. Однако на знакомом месте их ждало горькое, удручающее зрелище. Парадный портал института был наглухо заложен кирпичом, позолоченные буквы названия сбиты с фасада так, что на сером граните остались лишь тёмные следы, а над главным входом кричала яркая пластиковая вывеска: *«Continental Oil & Timber Exchange / Континентальная нефтяная и лесная биржа»*. Во внутреннем дворе, где некогда прогуливались профессора, теперь громоздились ржавые морские контейнеры с маркировкой порта Хьюстона и деловито сновали грузчики под присмотром охранников с резиновыми дубинками.

Кира и Андрей долго бродили по окрестностям обнесённого оградой квартала, заглядывали в пустые переулки, расспрашивали редких прохожих, но никто ничего не знал: институт разогнали ещё в пятидесятые годы, уникальные лабораторные стенды вывезли за океан, и следы старых сотрудников давно затерялись в огромном, придавленном нуждой городе.

Озябшие и окончательно упавшие духом, они спустились в ближайший подземный переход у станции метро. Здесь, под тускло мигающими лампами дневного света, пахло сырым бетоном, мокрой синтетикой и дешёвым табаком. Вдоль облупленных кафельных стен плечом к плечу стояли молчаливые, измождённые москвичи — бывшие конструкторы, врачи, музыканты, — держа на картонных коробках нехитрый товар: поштучные сигареты, банки гуманитарной тушёнки, пожелтевшие книги из домашних библиотек и старинные фарфоровые статуэтки.

Кира и Андрей уже собирались пройти мимо к турникетам, как вдруг оба одновременно замедлили шаг. Неведомая, почти магнитная сила — то самое необъяснимое притяжение судьбы, которое в старой Москве порой сводит нужных людей на самом краю пропасти, — заставила их повернуть головы к сырой бетонной колонне в дальнем углу перехода.

Там, в стороне от шумного потока, стоял сухощавый, прямой, несмотря на глубокую старость, мужчина в поношенном, но аккуратно заштопанном твидовом пальто и старой каракулевой шапке. На шее у него на бечёвке висел фанерный лоток с тремя пачками американских сигарет «Лаки Страйк» и коробком спичек.

Андрей замер, вглядываясь в знакомый профиль — седую бородку клинышком, тонкие, аристократические пальцы в вязаных митенках и старенькие очки в роговой оправе, перемотанной синей изолентой.

— Кира... — тихо, едва шевеля губами, выдохнул Андрей, чувствуя, как по спине пробежал холодок. — Посмотри туда. Это же он... Константин Викентьевич!

Они подошли ближе, не веря собственным глазам. Старик, заметив остановившихся перед ним молодых людей, вежливо, с какой-то щемящей, старорежимной деликатностью приподнял шляпу и тихо произнёс:

— Сигареты поштучно, господа. Два колониальных цента за штуку, спички бесплатно. Прошу прощения, сдачи с бумажного доллара у меня, к сожалению, нет.

Кира посмотрела в его ясные, пронзительные серые глаза — в них не было ни попрошайничества, ни злобы, лишь тихая, гордая усталость человека, прожившего долгую жизнь в чужом, враждебном мире, но не утратившего достоинства.

— Здравствуйте, Константин Викентьевич, — негромко, с внезапно севшим от волнения голосом сказал Андрей, склоняясь к самому уху старого физика, чтобы их не услышали в шуме толпы. — Нам не сигареты нужны. Мы пришли к вам по делу вашего деда, Андрея Викентьевича Целовского. По поводу цюрихского эксперимента четырнадцатого года.

Старый академик вздрогнул всем телом, словно от удара током. Фанерный лоток в его руках едва не перевернулся. Медленно, очень медленно он снял перемотанные изолентой очки и в упор поглядел на непрошеных гостей — сперва на потёртую куртку Андрея, затем на бледное, взволнованное лицо Киры.

— Вы из тайной полиции комиссариата? — тихо, без всякого страха, но с ледяным презрением спросил он. — Опять явились вынюхивать, не припрятал ли старик Целовский дедовские чертежи? Можете не стараться. Ваши заокеанские хозяева перерыли у меня всё ещё в пятидесятом, когда вывезли в Техас все наши архивы. Я обычный пенсионер, господа. Оставьте меня в покое.

— Мы не из полиции, Константин Викентьевич, — мягко сказала Кира, делая шаг ближе и прикрывая собой старика от любопытных глаз прохожих. — Мы пришли оттуда, куда ваш дед отправлял свой рубиновый луч. У нас в рюкзаке прибор его конструкции. Пожалуйста, пойдёмте отсюда в тихое место — нам больше не к кому обратиться.

Старик Целовский долго молчал, вглядываясь в их честные, измученные лица, и вдруг в его выцветших серых глазах вспыхнул знакомый, острый, живой огонёк — огонёк настоящего русского учёного, всю жизнь ждавшего чуда.

— Стало быть, не врала семейная легенда... — едва слышно прошептал он, аккуратно снимая с шеи фанерный лоток и пряча пачки сигарет в карман пальто. — Пойдёмте, дети мои. Здесь неподалёку, в Кривоколенном переулке, у меня каморка в полуподвале. Там и поговорим без лишних ушей.

Глава десятая, в которой под стук старинных ходиков в Кривоколенном переулке открывается тайна Пятого интернационала, а миллионер из Америки оказывается во главе коммунистов

Каморка Константина Викентьевича Целовского в Кривоколенном переулке представляла собой крошечное, сводчатое подземелье со слепым окошком под самым потолком, заложенным старыми подшивками газет. В углу мерно, с усталым скрипом тикали большие напольные часы без маятника, на столе теплилась керосиновая лампа — электричество в этом квартале давали лишь на два часа по вечерам, — а в воздухе густо пахло сушёными яблоками, книжной пылью и дешёвым табаком.

Едва тяжелая обитая войлоком дверь закрылась на засов и старик поставил на электроплитку закопчённый чайник, Андрей извлёк из рюкзака почерневший от перегрузки медный хроно-резонатор. Целовский долго, благоговейно гладил сухими пальцами холодный металл и

треснувшую кварцевую линзу, то и дело снимая и снова надевая свои перемотанные изолентой очки.

— Дедовская работа... — тихо повторял он, покачивая седой головой. — Никаких сомнений. Я мальчишкой видел точно такой же в его домашней мастерской на Мясницкой, перед тем как дед в сорок девятом году скоропостижно скончался, так и не смирившись с разгромом нашего института. Выходит, в вашем мире всё пошло иначе?

— Совсем иначе, Константин Викентьевич, — горько усмехнулся Андрей, присаживаясь на продавленный венский стул. — В нашем девяносто втором году Россия — пусть и переживающая тяжёлый, болезненный перелом — оставалась великой промышленной и космической державой. Но мы никак не можем взять в толк: как же так вышло у вас? В чикагском учебнике мы прочли про смерть Сталина в сорок четвёртом и про Потсдамскую уступку Берии. Но ведь в сорок пятом году СССР был страной-победителем с огромной армией! Неужели народ и партия так безропотно позволили превратить державу в сырьевую колонию?

Старый физик грустно усмехнулся, разливая по треснувшим фаянсовым чашкам бледный, едва заваренный кипяток, и опустился на табурет напротив.

— Эх, дети мои, в том-то и дьявольская хитрость истории, что никто не вводил сюда оккупационные войска сразу после Победы! Напротив — всё начиналось как сладкая, упоительная сказка, от которой у измученного войной народа закружилась голова!

Целовский отпил глоток горячей воды, прикрыв глаза, словно вглядываясь в далёкие сороковые годы.

— Едва в сорок пятом году Лаврентий Павлович подписал в Потсдаме соглашение о выводе наших войск из Восточной Европы и принятии американского «Плана Маршалла», на страну обрушился настоящий золотой дождь! Американцы не жалели средств: они наводнили Москву, Ленинград и всю страну первоклассными продуктами, добротной одеждой, лекарствами, тушёнкой и шоколадом. Люди, четыре года пухнувшие от голода и ходившие в залатанных телогрейках, вдруг увидели сытую, красивую жизнь!

— Они купили народ сытостью? — тихо спросила Кира.

— Не только сытостью, милая Кира — они покорили души! — вздохнул старик. — В каждом кинотеатре, в каждом сельском клубе с утра до ночи крутили трогательные, светлые американские фильмы: «Сестру его дворецкого», «Встречу на Эльбе», весёлые мюзиклы, где улыбчивые люди поют о дружбе и братстве. Из каждого репродуктора лилась зажигательная американская музыка, джаз, эстрада. Американские инженеры и строители действительно приехали в Москву и Ленинград — они помогали восстанавливать разрушенные кварталы, строили новые светлые жилые дома, школы, больницы, заново запускали стоявшие заводы. Казалось, наступил век всеобщего братства и вечного мира!

— Постойте, — нахмурился Андрей, сбитый с толку. — Но при чём тут тогда компартия и красные флаги, которые мы видели на старых плакатах? Если американцы так активно наводили свои порядки, куда делась советская власть?

При этом вопросе на лице Константина Викентьевича появилась такая едкая, по-настоящему булгаковская ироническая усмешка, что даже в полумраке каморки стало жутко.

— А вот тут-то и разыгрался самый смешной и страшный фарс двадцатого века, молодые люди! В начале пятидесятых годов, на волне этой великой «дружбы народов», Коммунистическая партия Соединённых Штатов официально перенесла свою штаб-квартиру из Нью-Йорка прямиком в Москву! Они объявили о теснейшем братском сотрудничестве с КПСС, и на торжественном конгрессе в Кремле обе партии слились в единый, нерушимый **Пятый интернационал**!

— Пятый интернационал?! — в один голос переспросили Кира и Андрей, не веря своим ушам.

— Именно так! — кивнул Целовский. — Под громкие лозунги о «мировом пролетарском единстве без границ» американские товарищи вошли в самые высшие эшелоны нашей власти, в Политбюро и Госплан. А спустя несколько лет, когда старая гвардия окончательно сошла со сцены, представитель американских коммунистов был единогласно избран Генеральным секретарём ЦК КПСС! Вы не ослышались: сегодня нашу родную Коммунистическую партию возглавляет стопроцентный американец — господин Макдуглас! И, что самое пикантное, этот пламенный борец за мировой коммунизм одновременно является нашим главным мультимиллионером и единоличным владельцем баснословно прибыльных промыслов по добыче каменного угля, золота и руды в Нерюнгри!

Кира потрясённо покачала головой: такого гротеска не придумал бы ни один сатирик.

— Но как же при всём этом у вас исчезли и наука, и машиностроение, и космос?! — спросил Андрей. — Ведь в конце сороковых они сами помогали восстанавливать заводы!

— А всё решил знаменитый **съезд ЦК КПСС в шестьдесят первом году**, который в газетах торжественно окрестили «съездом реформаторов», — глухо, с горькой болью ответил Целовский. — К тому времени американские «товарищи» в Политбюро окончательно прибрали к рукам управление экономикой. На том съезде они выдвинули гениальную в своём цинизме теорию: зачем, мол, Советскому Союзу тратить колоссальные народные средства на дорогостоящую фундаментальную науку, тяжёлое машиностроение, авиацию и пустые космические гонки, когда всё это можно дёшево купить у братских корпораций на Западе? А нашей стране природа даровала несметные богатства — нефть, газ, лес и уголь!

Старик сжал сухие кулаки на коленях, глядя на мигающий язычок керосиновой лампы:

— На съезде утвердили грандиозное планирование на несколько пятилеток вперёд — исключительно по ускоренному развитию нефтегазовых и добывающих отраслей Сибири и Дальнего Востока. Нам обещали, что на потоке нефтедолларов мы построим светлый коммунизм уже через двадцать лет! Под эти лозунги тихо прикрыли мой институт, разогнали конструкторские бюро, продали на металлолом уникальные стенды, а лучших наших физиков и ракетчиков вывезли по контрактам в Америку — именно благодаря им в шестьдесят первом году в космос первым полетел американец Джон Гленн! А когда через двадцать лет мировые цены на сырьё рухнули, выяснилось, что у нас не осталось ни своих станков, ни электроники, ни науки — только трубы, уходящие на Запад, да американская военная полиция, охраняющая интересы акционеров мистера Макдугласа!

В каморке повисла долгая, гнетущая тишина. Старинные напольные часы в углу хрипло пробили полдень, словно отсчитывая последние минуты уходящего времени.

Кира слушала старого физика, сжав кулаки так сильно, что побелели костяшки пальцев. В груди всё кипело от горького, бессильного возмущения.

— Неужели наш народ вот так просто смирился с тем, что им управляют из-за океана?! — не выдержала она, подаваясь вперёд над столом. — Неужели фронтовики, офицеры, прошедшие всю войну от Москвы до Берлина, не поняли, что страну тихо превратили в колонию?!

Константин Викентьевич Целовский вздрогнул, тревожно покосился на занавешенное газетами слепое окошко и приложил сухой палец к губам. Затем он наклонился через стол и заговорил совсем тихо, почти шёпотом — тем особым, заговорщическим тоном, каким в старой Москве привыкли говорить о запретном:

— Не все смирились, милая Кира. Ох, не все... Сопротивление вспыхивало не раз и не два, но всякий раз его топили в крови. Первое, самое страшное восстание поднялось летом пятьдесят третьего года, когда армейским командирам стало окончательно ясно, что под вывеской «Пятого интернационала» армию разоружают, а страну распродают по кускам. Возглавила заговор группа боевых генералов во главе с самим маршалом Георгием Константиновичем Жуковым. За одну июльскую ночь верные полки захватили узлы связи и военные аэродромы вокруг Москвы, блокировали казармы американских «советников»... Но к рассвету из Вашинг-

тона передали ультиматум: ежели русские части не сложат оружие, стратегические бомбардировщики сотрут с лица земли Москву и Ленинград атомными бомбами — точно так же, как в сорок пятом сожгли Хиросиму и Нагасаки. Чтобы не погубить миллионы ни в чём не повинных людей, маршал Жуков отдал приказ сложить оружие. Через неделю его и всех его боевых товарищей расстреляли по приговору закрытого трибунала.

— И после этого все замолчали? — глухо спросил Андрей.

— Нет, — покачал седой головой Целовский. — В шестьдесят первом году, сразу после того самого «съезда реформаторов», когда цены на хлеб и мясо взлетели втрое, а заводы по всей стране начали закрывать один за другим, вспыхнуло восстание на юге России, на Дону — в городе Новочеркасске. Рабочих электровозостроительного завода тогда поддержали донские казаки — казачьи станицы на Дону ещё сохраняли остатки прежней автономии и старинной вольницы. Люди вышли с оружием против марионеточной администрации. Но против них бросили регулярные американские военные подразделения с бронетехникой и авиацией. Восстание подавили с чудовищной, звериной жестокостью: людей расстреливали из пулемётов прямо на площади, а ночью трупы рабочих и казаков сбрасывали в глубокие рвы за городом и закапывали бульдозерами. До сих пор никто не знает, где именно лежат те безымянные могилы...

Старик перевёл дух, глядя на мигающий язычок керосиновой лампы, и продолжил ещё тише:

— А в августе шестьдесят восьмого года на Красную площадь вышли восемь смельчаков — молодых московских учёных и поэтов, так называемых диссидентов. Они сели прямо на брусчатку у Лобного места и развернули рукописный плакат: *«За нашу и вашу свободу! Долой колониальную администрацию! Россия — свободная страна!»*. Через три минуты всю шестёрку схватили агенты тайной полиции и бросили в закрытые спецтюрьмы. Никто не знает, живы ли они и где находятся сейчас. После этого всякий открытый протест в стране задушили на корню.

Кира ошеломлённо откинулась на спинку стула, глядя на старого учёного широко раскрытыми глазами:

— Постойте, Константин Викентьевич... Но как же американцы могли грозить нам атомной бомбой в пятьдесят третьем году?! Ведь у нас к тому времени уже была своя водородная бомба, а первую атомную мы испытали ещё в сорок девятом! Неужели у вас не было академика Курчатова и нашего ядерного щита?!

При этих словах Целовский в крайнем недоумении снял свои перемотанные изолентой очки и уставился на Киру так, словно она заговорила на марсианском наречии:

— Своя атомная бомба? У нас?! Помилуйте, детка, откуда бы ей взяться? Впервые слышу, чтобы в Советском Союзе вообще велись подобные разработки! Да, припоминаю, в сороковые годы мелькала в академических кругах фамилия ленинградского физика Игоря Васильевича Курчатова — талантливый был специалист по ядерной физике, но совсем молодой, мало кому известный. В самом конце сорок четвёртого года, вскоре после смерти Сталина, Курчатов погиб при каких-то тёмных, загадочных обстоятельствах — то ли в авиакатастрофе, то ли просто бесследно исчез, и все его лабораторные журналы сгинули без следа. Всякий, кто пытался после войны заикнуться о самостоятельных ядерных исследованиях, тут же объявлялся «поджигателем новой мировой войны» и отправлялся в лагеря. Так что против американского атомного кулака нам нечего было выставить, кроме голых рук.

В каморке повисла мёртвая, леденящая душу тишина. Только старые ходики в углу мерно, безжалостно отстукивали секунды. Кира с болью в голосе сжала ладони на столе:

— А как же наши писатели, Константин Викентьевич?! Как же наши режиссёры, поэты, артисты — вся наша великая русская культура?! Неужели и они все склонились перед Америкой и ничего не делают, чтобы разбудить народ и помочь России снова стать независимой страной?!

Старый физик горько усмехнулся, поправил перемотанные изолентой очки и развёл сухими руками:

— Эх, милая Кира... Кого не сломали в лагерях в пятидесятые, тех приручили долларовыми гонорарами и путёвками в Калифорнию. Признаться, я давно не слежу за нынешними театрами и книгами — да у меня, старого пенсионера, и средств-то нет в кино ходить. Помню только, лет тридцать назад вышел один удивительный, очень громкий фильм — снял его наш знаменитый режиссёр Сергей Бондарчук, назывался картина «Судьба человека». Весь мир тогда плакал!

— «Судьба человека»?! — оживилась Кира, на мгновение обрадовавшись знакомому названию. — Но ведь это же великий фильм о нашем русском солдате Андрее Соколове!

— О русском солдате? Помилуйте, детка, с чего вы взяли? — искренне удивился Целовский. — Это трогательнейшая история о простом американском солдате, который во время Второй мировой войны попал в плен, чудом выжил и вышел из госпиталя в Германии — а дома в Америке жена, получив ложную похоронку, ушла от него к другому и увезла с собой двоих детей. Солдат остался совершенно одинок на чужбине, не понимая, к кому и зачем ему теперь возвращаться за океан. Устроился он шофёром, колесил на грузовике по разбитым дорогам послевоенной Германии — и вдруг встретил у разрушенной чайной маленького русского мальчишку-сироту, беспризорника Ванюшу. Пожалел его американец, сказал ему: *«Я твой отец»*, усыновил и увёз с собой в солнечную Америку, в новую счастливую жизнь! Очень трогательный, гуманный фильм, скажу я вам. Бондарчук после этого триумфа, по-моему, даже в Голливуде весьма успешно работал, «Оскара» получил...

В каморке снова повисла тяжёлая, удушливая тишина. Андрей отвернулся к сырой стене, стиснув зубы так, что заходили желваки. Даже великая боль и подвиг русского солдата в этом вывернутом наизнанку мире были переписаны в красивую сказку о добром заокеанском благодетеле.

Кира медленно подняла глаза на Андрея, а затем перевела взгляд на почерневший хронорезонатор на столе.

— Значит, корень всего этого балагана лежит там — в ноябре сорок четвёртого года, — твёрдо произнесла она. — Если Сталин не умрёт на ближней даче в Кунцеве и Берия не станет генсеком, не будет ни Потсдамской сдачи Европы, ни Пятого интернационала, ни мистера Макдугласа.

— Верно, детка, — кивнул Константин Викентьевич, поднимаясь со стула и подходя к старым напольным часам в углу. — Вот только чтобы запустить дедовский прибор и пробить дорогу в сорок четвёртый год, нам понадобится колоссальный заряд энергии... и кое-что из тайника моего деда.

Справочная информация:

1

Новочеркасское восстание (Новочеркасский расстрел, реальные события в нашем времени) — это массовая забастовка и антиправительственные выступления рабочих в городе Новочеркасске (Ростовская область) 1–3 июня 1962 года, жестко подавленные армией и КГБ**. Причины.** Резкое повышение розничных цен на мясо и масло (в среднем на 30%) совпало со снижением расценок на труд на Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ). Ситуацию накалил грубый ответ директора завода Бориса Курочкина, предложившего рабочим вместо мяса есть «пирожки с ливером».

Ход событий. 1 июня началась забастовка на НЭВЗе, к которой присоединились другие жители города. Утром 2 июня многотысячная колонна протестующих двинулась к центру города и зданию горкома КПСС.

Подавление. По приказу руководства СССР во главе с Никитой Хрущёвым в город ввели войска и танки. При попытке толпы ворваться в здание горкома и горотдела милиции военные открыли огонь на поражение. (При этом генерал-лейтенант Матвей Шапошников отказался выполнять приказ об атаке демонстрантов танками).

Жертвы и последствия. По официальным данным, при разгоне демонстрации погибли 26 человек, ещё 87 получили ранения. Последующий суд приговорил семерых активных участников к смертной казни (расстрелу), а более 100 человек получили длительные лагерные сроки.

Засекречивание и реабилитация. Информация о трагедии была строго засекречена вплоть до конца 1980-х годов. В 1996 году указом президента РФ все осужденные по этому делу были официально реабилитированы.

Бойня в Новочеркасске: "Но был один, который не стрелял"

Отказ от исполнения приказа в Новочеркасске стоил генерал-лейтенанту Матвею Шапошникову военной карьеры, партбилета и привел к уголовному преследованию, а реабилитирован он был только в эпоху перестройки**.**







На момент восстания в июне 1962 года Шапошников был Героем Советского Союза, прошедшим всю Великую Отечественную войну (включая Сталинград, Курскую дугу и форсирование Днепра), и занимал пост первого заместителя командующего Северо-Кавказским военным округом (СКВО).

Как развивалась его судьба после 2 июня 1962 года

Поступок на мосту. Получив приказ атаковать танками многотысячную колонну рабочих у моста через реку Тузлов, он ответил: *«Не вижу перед собой такого противника, которого следовало бы атаковать нашими танками»*. Чтобы исключить случайную стрельбу, генерал приказал танкистам и мотострелкам разрядить оружие и сдать боеприпасы.

Опала и отставка. Сразу после событий его не арестовали — помешали огромный боевой авторитет и звание Героя СССР. Однако карьерный рост остановился, за ним установили негласный надзор, а в июне 1966 года 59-летнего генерала отправили в запас.

Попытка предать правду огласке. Не смирившись с замалчиванием трагедии, Шапошников написал несколько писем в ЦК КПСС, писателям и студентам, где рассказывал о расстреле рабочих и критиковал партийную верхушку. Он подписывался псевдонимом «Неистовый Виссарион».

Уголовное дело. В 1967 году КГБ вычислил автора писем. Шапошникова исключили из КПСС, провели у него дома обыск (изъяв личные дневники) и возбудили уголовное дело за «антисоветскую агитацию и пропаганду». От тюрьмы или психбольницы его спасло лишь вмешательство боевых товарищей-фронтовиков и прежние военные заслуги — в конце 1967 года дело прекратили.

Годы забвения и реабилитация. Более двадцати лет генерал жил в Ростове-на-Дону в фактической изоляции. О его поступке молчали. Лишь в 1988 году с него сняли все обвинения и восстановили в партии, а в 1989 году о его подвиге впервые написала советская пресса.

Матвей Кузьмич Шапошников скончался 25 июня 1994 года в Ростове-на-Дону и был похоронен на Северном кладбище с воинскими почестями. На его памятнике выбита эпитафия: *«У каждого есть своя война и свой Новочеркасск, но не каждый выходит из них так, как Матвей Кузьмич Шапошников»*.

2

25 августа 1968 года в полдень на Красной площади в Москве восемь советских диссидентов провели мирную демонстрацию против ввода войск СССР и стран Варшавского договора в Чехословакию («Пражская весна»).

Основные факты

Дата и место: 25 августа 1968 года, около 12:00, у Лобного места на Красной площади.

Причина: протест против подавления реформ «Пражской весны» и введения иностранных войск в Чехословакию.

Ход акции: участники развернули плакаты и флаги (в том числе чехословацкий) и сели на парапет. Через несколько минут они были задержаны сотрудниками КГБ и милиции в штатском.

Участники («семеро» и Татьяна Баева)

В акции приняли участие восемь человек, но в историю она чаще вошла как «демонстрация семерых», поскольку Татьяну Баеву вывели из дела по ходатайству родителей и общественности:

Константин Бабицкий
Татьяна Баева
Лариса Богораз
Наталья Горбаневская
Вадим Делоне
Владимир Дремлюга
Павел Литвинов
Виктор Файнберг [1, 2]

Последствия и приговоры

Суд (октябрь 1968 года): пятерых участников осудили по статьям Уголовного кодекса РСФСР (в частности, за «клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй» и нарушение общественного порядка) на сроки лишения свободы и ссылки.

Принудительное лечение: Виктора Файнберга и Наталью Горбаневскую признали невменяемыми и направили в специальные психиатрические больницы.

Значение: акция стала одним из самых известных событий советского правозащитного и диссидентского движения.

Участники держали самодельные плакаты и чехословацкий флаг, который принесла Наталья Горбаневская. Точные формулировки лозунгов были следующими:

«За вашу и нашу свободу!» (знаменитый польский революционный девиз XIX века, ставший главным символом акции).

«Позор оккупантам!»

«Руки прочь от ЧССР!»

«Свободу Дубчеку!» (Александр Дубчек — первый секретарь ЦК КПЧ, лидер реформ «Пражской весны»).

«Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!» (написан на чешском языке: *«Ať žije svobodné a nezávislé Československo!»*).

Глава одиннадцатая, в которой трое заговорщиков ищут правду о кремлёвском враче, открывают тайник в старых часах и намечают прыжок в сорок четвёртый год

Когда первый шок от рассказа о гибели маршала Жукова и таинственном исчезновении Курчатова немного улёгся, в полуподвальной каморке в Кривоколенном переулке повисла напряжённая, сосредоточенная тишина. Керосиновая лампа на столе потрескивала, отбрасывая на сводчатый потолок длинные, причудливые тени.

— Значит, вот где находится точка перелома, — негромко произнесла Кира, сцепив пальцы на коленях и глядя на остывший чайник. — Ноябрь сорок четвёртого года. Ближняя дача в Кунцеве.

— Погоди, Кира, давай рассуждать трезво, как математики и физики, — возразил Андрей, начиная нервно мерить шагами тесную комнату от верстака до напольных часов. —

Первая мысль, которая приходит в голову: Сталин в сорок четвёртом году был полон сил и железной воли. В нашей истории он прожил ещё девять лет. Слишком уж удачно для Берии и его заокеанских друзей случился этот «апоплексический удар» накануне Победы! Если его отравили — нам нужно прыгать в октябрь сорок четвёртого года и любым способом предупредить вождя или его личную охрану о готовящемся покушении.

— А если нет? — тихо, но веско перебил его Константин Викентьевич Целовский, протирая свои перемотанные изолентой очки. — А ежели в этой реальности, где история и без того дала трещину, у Иосифа Виссарионовича и впрямь не выдержало сердце? Представьте себе: вы прорвётесь сквозь кордоны НКВД в военную Москву, попадёте в застенки Лубянки с криками «Берия — изменник!», а Сталин возьмёт да и умрёт у вас на глазах от обычного инсульта! И что тогда? Вас расстреляют как американских шпионов, а Лаврентий Павлович всё равно сядет в кресло генсека и подпишет в Потсдаме ту же самую бумагу!

Кира и Андрей переглянулись. Довод старого академика был убийственно точным: прыгать в сорок четвёртый год вслепую, не зная истинной причины смерти Сталина и не понимая, кто именно в окружении Берии дёргал за ниточки, было чистым самоубийством.

— Нужно узнать правду здесь, в девяносто втором году, прежде чем мы выставим координаты на лимбе, — твёрдо сказала Кира. — В колониальном учебнике нам правду не напишут, там сплошной елей. Но в Москве обязаны были сохраниться свидетели, старые врачи из Кремлёвской больницы, архивные протоколы вскрытия или закрытые мемуары!

— Архивы Лубянки и Кремля американцы вывезли или опечатали ещё в пятидесятых, — покачал головой Целовский. — Туда простому смертному не пробраться. Но... — старик на мгновение замолчал, внимательно, с прищуром вглядываясь в лица Киры и Андрея, словно всё ещё взвешивая, можно ли до конца доверять этим нежданным пришельцам. — Но у нас в Москве есть тайное научное подполье, дорогие мои. Немного нас осталось, но мы держимся друг за друга. Есть среди нас старые историки, выгнанные из университетов за отказ переписывать учебники под диктовку из Чикаго, а есть и кремлёвские врачи. Одному из них, Григорию Самойловичу, в ноябре сорок четвёртого года было всего двадцать пять лет — он работал молодым ординатором при Кремлёвской больнице и лично присутствовал в качестве ассистента при вскрытии тела Сталина. Сейчас ему уже за семьдесят, но память у старика острее бритвы. Думаю, о той ночи в Кунцеве он расскажет вам такое, чего вы не найдёте ни в одной газете.

Кира на секунду задумалась, теребя край старой скатерти, а затем подняла на физика тревожный, полный горечи взгляд:

— А как же простые люди, Константин Викентьевич? Рабочие, студенты, инженеры на заводах и стройках — неужели они все смирились с этой жизнью и в стране совсем нет никакого сопротивления?

Старый академик долго молчал. В его выцветших серых глазах всё ещё читалась привычная, выработанная десятилетиями слежки осторожность человека, который привык сто раз отмерить, прежде чем открыть душу. Наконец он негромко вздохнул, поправил перемотанные изолентой очки и заговорил чуть тише:

— Как нет? Есть, конечно. Народ наш не сломать ни сытыми подачками, ни дубинками полицаев. По утрам на заборах и стенах заводов постоянно появляются рукописные и отпечатанные на ксероксах листовки, призывающие не мириться с грабежом страны. Даже в этой их компьютерной сети, в университетском интернете, то и дело всплывают подпольные сайты и форумы, где люди объединяются, спорят и призывают к всеобщей забастовке — правда, американские службы их тут же блокируют, но назавтра появляются новые. Сопротивление есть, и по всей стране оно очень мощное — и в Сибири, и на Урале, и здесь, в Москве. Люди доведены до отчаяния и готовы восстать хоть завтра. Беда лишь в том, что нет пока единого объединяющего центра, нет лидера и настоящей силы, способной выстоять против их военной машины.

Андрей медленно кивнул, обмениваясь с Кирой взглядом: теперь они видели, что страна не мертва — она лишь ждёт искры, но дать ей шанс можно только там, в ноябре сорок четвёртого года.

— И второе, Константин Викентьевич, — Андрей остановился у стола и положил ладонь на треснувший медный корпус хроно-резонатора. — Даже если мы узнаем всю правду до последней запятой — на чём мы полетим в сорок четвёртый год? Стеклянная трубка лопнула, кварцевый накопитель выгорел дотла.

Старый академик загадочно улыбнулся, поднялся с табурета и подошёл к большим напольным часам в углу каморки. Отодвинув тяжёлый дубовый корпус от сырой кирпичной стены, он нащупал за резным карнизом скрытую деревянную задвижку, щёлкнул ею — и открыл узкую, сухую нишу в толще кладки.

Оттуда Целовский бережно извлёк завёрнутый в промасленную вощёную бумагу свёрток и потрёпанную кожаную тетрадь в клеёнчатой обложке.

— Дед мой, Андрей Викентьевич, был человеком слова и честно сжёг чертежи машины времени в восемнадцатом году, — негромко произнёс старик, разворачивая шуршащую бумагу на верстаке. — Но как всякий истинный русский физик, он не мог выбросить на помойку редчайшие материалы, которые вырастил собственными руками. Здесь — запасной монокристалл искусственного рубина, выточенный им ещё в семнадцатом году, и две неиспользованные кварцевые линзы. Починить прибор и заменить сгоревший сердечник я смогу за две ночи, благо часовой инструмент у меня под рукой.

— А энергия? — быстро спросила Кира. — В прошлый раз нам потребовался промышленный квантовый генератор!

— С этим сложнее, — вздохнул Целовский, разглаживая ладонью обложку дедовской тетради. — Своих реакторов у нас не осталось. Единственная установка во всей Москве, способная выдать нужный импульсный разряд такой мощности, находится в закрытой «Зелёной зоне» на Тверской — в главном технологическом центре корпорации «Американ Энерджи», куда наши заокеанские благодетели свезли лучшее оборудование со всей страны. Охраняют её, как Форт-Нокс.

— Значит, у нас две задачи, — подвёл итог Андрей, глядя то на Киру, то на старого физика. — Первая: через ваших людей из подполья выяснить, от чего на самом деле умер Сталин в ноябре сорок четвёртого и кто стоял за спиной Берии. И вторая — придумать, как пробраться в «Зелёную зону» и прикурить наш резонатор от американского генератора.

Старик Целовский молча кивнул, сдвигая на лоб перемотанные изолентой очки, и придвинул к себе часовую лупу. Работа началась.

Глава двенадцатая, в которой рублевая ассигнация из иного мира открывает двери тайного общества «Хранители», учёные узнают о украденной славе послевоенных десятилетий, а кунцевская ночь обретает имена

Прежде чем вести Киру и Андрея к своим товарищам, Константин Викентьевич Целовский решил действовать по всем правилам старой, проверенной десятилетиями конспирации. Оставив гостей дожидаться в своей полуподвальной каморке в Кривоколенном переулке, старый физик застегнул на все пуговицы потрёпанное твидовое пальто, нахлобучил каракулевую шапку и в одиночку отправился на другой конец города.

Сначала он долго шёл пешком по заснеженным, промозглым переулкам, то и дело останавливаясь у витрин и оглядываясь, нет ли за спиной «хвоста» из тайной полиции комиссариата, затем спустился в тёмное, сырое метро и с двумя пересадками добрался до старого профессорского дома на Соколе. Там жил его ближайший друг ещё с довоенных университетских

времён — бывший историк-архивист Алексей Петрович, один из основателей и негласных руководителей подпольного общества «Хранители».

Вообще-то тайное общество «Хранители» насчитывало по всей Москве и области несколько сотен человек: опальных академиков, уволенных конструкторов, старых врачей и преподавателей, сорок лет сберегавших по домашним тайникам запрещённые книги, архивы и русскую научную мысль. Но ради безопасности организации на экстренные сборы никогда не выходили всей массой — созывался лишь узкий **представительский комитет из шести старейшин**, каждый из которых отвечал за своё направление и передавал решения по цепочке.

Когда Целовский переступил порог квартиры на Соколе и шепотом сообщил другу, что в Москве объявились двое пришельцев из параллельного, несломленного 1992 года, Алексей Петрович сперва с тревогой поглядел на старого товарища, решив, что у того от голода и многолетнего одиночества помутился рассудок.

— Помилуй, Костя, какие ещё пришельцы из другого мира?! — тихо воскликнул историк, усаживая гостя у остывшей батареи. — Уж не провокация ли это комиссариата? Они нынче хитрые стали, подсылают молодёжь под видом подпольщиков...

— Я ручаюсь за них собственной головой, Алёша! — твёрдо ответил Целовский и торжественно выложил на стол взятую у Андрея бумажную купюру — **советскую банкноту образца 1991 года** с профилем Ленина, водяными знаками и гербом несуществующего в этом мире могучего Советского Союза, а рядом положил свой старый потрёпанный паспорт с пропиской из параллельной Москвы. — Погляди на бумагу, на типографскую краску, на серию! В нашем мире с сорок шестого года в ходу одни лишь американские доллары и колониальные боны! Никакая тайная полиция не станет печатать в подполье деньги несуществующей державы ради одного старого часовщика!

Алексей Петрович долго разглядывал купюру через увеличительное стекло, щупал хрустящую бумагу сухими пальцами и наконец тихо, потрясённо выдохнул:

— Невероятно... Настоящий государственный знак! Хорошо, Костя. Я сейчас же запущу оповещение по цепочке. Завтра в девять вечера, сразу после начала комендантского часа, представительский комитет «Хранителей» соберётся в старом месте — в подземелье анатомического корпуса на Моховой. Приводи своих гостей.

— ✦ —

Поздним вечером следующего дня, когда над притихшей Москвой повалил густой, мокрый снег, Константин Викентьевич провёл Киру и Андрея через заснеженный хозяйственный дворик старого университета на Моховой и трижды условно постучал в обитую железом дверь бывшей котельной.

В просторном сводчатом подземелье, освещённом двумя самодельными аккумуляторными фонарями, за длинным дубовым столом уже сидели шестеро пожилых людей — цвет и гордость той русской науки, которую сорок лет назад попытались задушить заокеанские ревизоры. Одеты они были бедно — в потрёпанные шерстяные свитера, заштопанные пиджаки и валенки, — но держались с тем спокойным, величественным достоинством, какое не отнимут никакие патрули.

Едва Кира и Андрей уселись за стол и продемонстрировали старейшинам свои паспорта, несколько советских купюр и медный хроно-резонатор с новым рубиновым кристаллом, настороженность мгновенно сменилась жгучим, почти детским волнением. Старики засыпали гостей вопросами о том **гордом тридцатилетии — с сорок пятого по конец семидесятых годов**, которое в их реальности обернулось временем сырьевой кабалы, а в мире Киры и Андрея стало эпохой величайшего триумфа. При этом старые учёные спрашивали с трогательной осторожностью, отталкиваясь от своей горькой, обкраденной действительности:

— Скажите, молодые люди... — с дрожью в голосе начал седовласый физик-теоретик в очках с толстыми линзами. — В нашей реальности после Потсдамской сделки нас убедили, что

разоренная войной Россия не потянет ни атомную энергетику, ни ракетную технику. А у вас? Неужели наша страна всё-таки сумела подняться из руин без заокеанских подачек?

— Не просто поднялась, профессор! — с горячим волнением ответила Кира, глядя в их светящиеся надеждой глаза. — Уже через четыре года после Победы, в сорок девятом, наши физики под руководством академика Курчатова испытали собственную атомную бомбу и создали ядерный щит, так что никто в мире больше не смел грозить нам ультиматумами! В пятьдесят четвёртом в Обнинске заработала первая в мире атомная электростанция, а следом мы спустили на воду первый атомный ледокол «Ленин»!

— Атомный ледокол?! Наш, советский?! — потрясённо переспросил бывший кораблестроитель на краю стола, сжав кулаки так, что затрещали суставы. — Боже правый... А космос? У нас в шестьдесят первом на орбиту вышел американец Джон Гленн, а нам сказали, что русским в небе делать нечего...

— В нашем мире первым в космосе был наш, русский парень — Юрий Гагарин, двенадцатого апреля шестьдесят первого года! — с гордой улыбкой сказал Андрей, видя, как по морщинистым щекам стариков текут слёзы. — А за четыре года до него, в пятьдесят седьмом, мы запустили первый искусственный спутник Земли — и всё человечество заучило русское слово «спутник» без перевода! В шестидесятые и семидесятые годы наши автоматические станции первыми достигли Луны и Венеры, Алексей Леонов первым в мире вышел в открытый космос, а на орбите работали наши пилотируемые станции «Салют»!

— Слышите, коллеги?! «Салют»! — прошептал историк Алексей Петрович, вытирая тыльной стороной ладони набежавшую слезу. — А что же наша литература, театр, кинематограф? У нас после войны всё свелось к перепевкам голливудских мелодрам...

— У нас в конце пятидесятых и в шестидесятые случился настоящий расцвет искусства! — подхватила Кира. — Фильм «Летят журавли» взял «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, Сергей Бондарчук снял грандиозную эпопею «Война и мир», получившую «Оскара», а его «Судьба человека» была честной, великой трагедией о русском солдате Андрее Соколове, а не сказкой об американском шофёре! Весь мир зачитывался нашими поэтами, смотрел наши фильмы и слушал нашу музыку!

В подвале на несколько секунд повисла торжественная, светлая тишина. Казалось, в сыром подземелье вдруг стало теплее и светлее от одной только мысли, что их народ способен на такое величие.

— Знать, что наше дело и наши жертвы не пропали даром хотя бы в соседней реальности — это лучшее лекарство, которое мы получали за последние сорок лет, — негромко произнёс грузный, седой мужчина в старом шерстяном кардигане, бывший врач Четвёртого главного управления Минздрава Григорий Самойлович. — Говорите, дети мои, чем наш комитет может помочь вам, чтобы вы вернули нашей стране её украденную судьбу?

— Нам нужна правда о ноябре сорок четвёртого года, — твёрдо сказал Андрей, опускаясь на табурет у стола. — Официальный чикагский учебник утверждает, что Сталин умер на ближней даче в Кунцеве от естественного апоплексического удара. Мы должны знать наверняка: был ли это инсульт или убийство?

Вперёд выступили двое: Григорий Самойлович и историк-архивист Алексей Петрович.

— Никакого естественного удара не было, молодые люди, — глухо, с горькой уверенностью произнёс старый врач, опуская на стол потёртую кожаную папку. — В ноябре сорок четвёртого года мне было всего двадцать пять лет, я работал молодым ординатором при Кремлёвской больнице и присутствовал в качестве ассистента при вскрытии тела Иосифа Виссарионовича.

В подвале стало тихо-тихо. Все невольно подались ближе к свету фонаря.

— Официально нам приказали записать в протокол кровоизлияние в мозг, — продолжал Григорий Самойлович. — Но мой наставник, старый профессор-патологоанатом, сразу пока-

зал мне характерные следы на слизистой и зрачках. У Сталина были все клинические признаки острого отравления редчайшим органическим ядом растительного происхождения — веществом без вкуса и запаха, которое вызывает мгновенный спазм сосудов головного мозга и через несколько часов полностью распадается в крови, имитируя обычный инсульт!

— Яд? — выдохнула Кира. — Но кто мог подсыпать его на самой охраняемой даче страны?!

— А вот на этот вопрос ответит наш тайный архив, — подхватил историк Алексей Петрович, раскрывая кожаную папку и доставая оттуда пожелтевшие копии шифровок и протоколов, вынесенные им из спецхрана в пятьдесят первом году. — Вся охрана ближней дачи и даже прислуга подчинялись непосредственно ведомству Лаврентия Павловича Берии. За два дня до трагедии на даче сменили дежурного офицера охраны — им стал капитан **Сергей Дроздов**, человек из ближнего круга Берии, который за полгода до этого таинственным образом выезжал по спецзаданию в нейтральную Швейцарию. В Женеве резидентура американской разведки вышла на эмиссаров Берии и предложила дьявольскую сделку: устранить неуступчивого Сталина, который ни за что не уступил бы ни пяди освобождённой Европы, а взамен пообещали новому генсеку личную неприкосновенность, поддержку Вашингтона и триллионные кредиты по будущему «Плану Маршалла».

— И Берия согласился... — прошептала Кира. — А как же ваш профессор, который понял про яд?

— На следующее утро профессор погиб под колёсами грузовика прямо у ворот больницы, а я дал подписку о неразглашении под страхом расстрела всей семьи, — мрачно усмехнулся Григорий Самойлович. — А через месяц при столь же «случайных» обстоятельствах в авиакатастрофе погиб и Игорь Васильевич Курчатов — Берия убрал всех, кто мог помешать его сделке с заокеанскими партнёрами.

Кира и Андрей переглянулись. Теперь у них на руках были не догадки, а железные факты: **начало ноября 1944 года, ближняя дача в Кунцеве, офицер охраны Сергей Дроздов и яд, привезённый из Швейцарии**.

— Значит, мы знаем точную цель, — твёрдо сказал Андрей, поднимаясь из-за стола. — Теперь осталось одно: зарядить прибор Целовского от американского генератора в «Зелёной зоне» на Тверской и шагнуть в осень сорок четвёртого года.

— В этом вам поможет весь наш комитет, — поднялся седовласый профессор-физик, и остальные старейшины дружно кивнули. — У «Хранителей» есть свои люди среди ночных русских техников, обслуживающих подстанции в «Зелёной зоне». Завтра ночью мы проведём вас внутрь.

Далее вставить главу как Они перелетели в 1944 год

Глава, в которой в военной Москве пахнет жареной картошкой и озоном, гипнотизёр Мессинг читает чужие мысли, а хозяин Кремля ставит пришельцам невыполнимое условие

Выброшенные рубиновым лучом в ноябрьскую Москву сорок четвёртого года, Кира и Андрей в первые минуты едва не закоченели: после сырого подвала девяностых суровый, колючий ветер военной столицы пробирал до самых костей. Чтобы не привлекать внимания военных патрулей на пустынных, затемнённых улицах, они поскорее нырнули в переполненный, гудящий зал ожидания пригородных поездов у Белорусского вокзала — там от чугунных батарей и плотной толпы в мокрых шинелях шло спасительное тепло, пахло махоркой, дешёвым мылом и горячим кипятком из титана.

Присев на краешек дубовой скамьи в углу, подальше от глаз дежурного милиционера, они перевели дух и быстро наметили первый шаг. Идти прямиком в Кремль или на ближнюю дачу в Кунцеве с предупреждением о заговоре Берии было чистым самоубийством — любая попытка подойти к охране закончилась бы в ту же минуту в застенках Лубянки, в руках людей

самого Лаврентия Павловича. К тому же им обоим требовались надёжный кров, документы, одежда по эпохе и горячая еда — со вчерашнего вечера у них во рту не было ни крошки.

— На Мясницкую, к деду Целовского, — тихо сказал Андрей, поправляя за спиной лямки брезентового рюкзака с резонатором. — В сорок четвёртом Андрей Викентьевич жив, здоров и работает здесь, в Москве. Если мы покажем ему прибор его собственной конструкции и записку от его внука из девяносто второго года, он без лишних вопросов приютит нас, накормит и поможет легализоваться.

Спустя полчаса они уже стояли у знакомого дореволюционного особняка на Мясницкой, окна которого были крест-накрест заклеены бумажными полосками светомаскировки. Когда на условный стук дверь открыл сам Андрей Викентьевич Целовский-старший — ещё бодрый, подтянутый шестидесятилетний профессор с аккуратной седой бородкой клинышком, в старом вязаном жилете поверх косоворотки, — и увидел в руках Андрея усовершенствованный медный резонатор и письмо от своего внука Кости, старый физик едва не лишился дара речи.

Он молча втащил их в свою тёплую, заставленную книжными шкафами и приборами квартиру при лаборатории, запер дверь на все засовы и первым делом усадил продрогших гостей за обеденный стол. Спустя четверть часа на клеёнке уже дымилась большая чугунная сковорода с рассыпчатой картошкой, поджаренной на постном масле с луком, стояла миска хрустящей квашеной капусты, ломти тяжёлого чёрного хлеба, выкупленного по профессорским карточкам, и заварной чайник с ароматным морковным чаем. Кира и Андрей ели так, словно не видели пищи неделю, чувствуя, как с каждым глотком горячего чая отступает ледяное напряжение последних дней.

За ужином они вкратце поведали профессору, какая страшная беда грозит стране через несколько дней в Кунцеве и во что превратится Россия через полвека, если Берия захватит власть. Целовский-старший слушал, нахмурив седые брови, затем бережно осмотрел принесённый ими резонатор, покачав головой от восхищения перед мастерством своего будущего внука.

— Костя превзошёл меня, чертяка... — пробормотал он, разглядывая через лупу компактный радиоизотопный блок питания, вмонтированный в медный корпус. — Автономный изотопный сердечник! С таким накопителем вам не нужно искать электростанцию в полевых условиях — заряда хватит ещё на три или четыре полноценных прыжка во времени! Правда, судя по нагреву кварцевого контура, после каждого скачка прибору потребуется ровно двадцать четыре часа на остывание и регенерацию. А чтобы вы не сбились с координат при возвращении, я подключу здесь, в своей лаборатории, стационарный генератор-маяк и буду подавать несущую частоту строго по расписанию.

Поужинав и впервые за долгое время выспавшись в тепле на мягких диванах в кабинете профессора, утром Кира и Андрей облачились в добытую Целовским скромную одежду сороковых годов и получили временные командировочные удостоверения сотрудников его лаборатории.

Оставался главный вопрос: как донести правду о заговоре Берии до самого Сталина, минуя всесильного наркома внутренних дел?

— Нам нужен человек, которому Сталин доверяет, но который не подчиняется ведомству Берии, — задумчиво сказала Кира за утренним чаем. — Человек, для которого слова «путешествие во времени» не прозвучат как бред сумасшедшего или шпионская легенда.

Андрей выглянул в окно на заснеженную Мясницкую, где на афишной тумбе у перекрёстка белела свежая театральная афиша, — и вдруг хлопнул себя ладонью по лбу:

— Мессинг! Вольф Мессинг! Легендарный телепат и гипнотизёр! Он же сейчас в Москве, даёт концерты для фронта, и весь город шепчется, что сам Сталин принимает его без доклада! Ему не нужно доказывать на бумаге, откуда мы пришли — он сам прочтёт наши мысли!

— ✦ —

В тот же вечер, разыскав по афише, что сеанс «психологических опытов» Вольфа Мессинга проходит в переполненном зале клуба имени Зуева на Лесной улице, Кира и Андрей дождались окончания выступления и, воспользовавшись суматохой у служебного входа, проскользнули за кулисы.

За сценой пахло пыльным бархатом кулис, дешёвой пудрой, мокрой шерстью шинелей и свежесрезанными хризантемами, которые преподнесли артисту раненые офицеры из первого ряда. Пройдя по узкому коридору, они тихо постучали в дверь с фанерной табличкой «Гримёрная».

— Войдите, пожалуйста, дверь не заперта, — раздался изнутри глуховатый, бархатный голос с мягким польским акцентом.

В тесной, скромно обставленной комнатке, освещённой одной лишь лампочкой над зеркалом в гримёрном столике, сидел невысокий худощавый человек в поношенном чёрном концертном костюме. У него была пышная, всклокоченная грива тёмных с проседью волос, крупный, выразительный нос и огромные, пронзительные, словно бездонные глаза, в которых, казалось, плескалась вековая, нечеловеческая усталость.

Увидев на пороге двоих незнакомцев в скромной одежде сороковых годов, Вольф Григорьевич Мессинг даже не удивился — он лишь устало прикрыл веки, прижал длинные, нервные пальцы к вискам и тихо проговорил:

— Не подходите слишком близко... От вас слишком сильно фонит чужим временем. Девяносто второй год? Боже правый, какая горечь и какая пустота в той Москве, откуда вы явились... Я вижу чужой флаг над Лубянкой и яд в хрустальном графине на даче. Так кто же вы?

— Мы пришли из будущего, Вольф Григорьевич, — тихо, но твёрдо сказала Кира, прикрывая за собой дверь и накидывая крючок. — Из девяносто второго года. Но из того девяносто второго года, где наша страна проиграла всё, что сейчас завоёвывает такой страшной кровью.

Мессинг медленно открыл глаза и в упор, не мигая, посмотрел сперва на Киру, затем на Андрея. Взгляд его был тяжёлым, пронзительным, словно рентгеновский луч, просвечивающий человека насквозь.

— Из будущего... — задумчиво повторил он, сцепив пальцы на коленях. — Забавно. Всякий вечер со сцены я читаю чужие мысли о письмах с фронта, о потерянных хлебных карточках и о том, скоро ли возьмут Берлин. Но впервые в жизни передо мной стоят люди, чьи воспоминания ещё не случились. Позвольте мне проверить, не искусные ли вы гипнотизёры, подосланные ко мне с Лубянки.

Не дожидаясь разрешения, Мессинг подался вперёд, протянул сухую, горячую ладонь и коснулся запястья Андрея. Лицо телепата мгновенно напряглось, по лбу пробежала глубокая морщина, а дыхание стало частым и прерывистым.

— Вижу... — глухо заговорил он, глядя куда-то сквозь стену гримёрной. — Вижу странную серую площадь... Над большим серым зданием висит полосатый флаг со звёздами. Чужие солдаты в белых касках. Унижение... Огромная, богатая страна превращена в сырьевой рудник, а её великие умы торгуют папиросами в подземных переходах... И всё это начинается здесь, в Москве, через два дня!

Мессинг отдёрнул руку, словно обжёгшись, и тяжело откинулся на спинку стула, доставая из кармана платок, чтобы вытереть выступившую на лбу испарину.

— Ответьте мне на два вопроса, молодые люди, — тихо, но властно потребовал он, впиваясь в Киру горящим взглядом. — Во-первых, почему вы пришли именно ко мне, а не пошли прямиком в Кремль? И во-вторых — скажите честно, глядя мне в глаза: если вы сломаете этот страшный ход событий, что станет со мной самим в вашей настоящей истории?

— Мы пришли к вам, Вольф Григорьевич, потому что яд на ближней даче в Кунцеве через два дня должен подсыпать человек из ведомства Лаврентия Павловича Берии, — честно ответил Андрей. — Любой наш шаг к воротам Кремля приведёт нас прямо в подвалы Лубянки,

откуда мы уже не выйдем. А вы — единственный человек в Москве, к которому Иосиф Виссарионович прислушивается без посредников и охраны.

Мессинг медленно кивнул, принимая ответ, и перевёл вопрошающий взгляд на Киру:

— А мой второй вопрос, милая девушка? Я знаю, что многие в этой стране считают меня шарлатаном или прислужником власти, хотя я всего лишь несчастный еврей, потерявший в Польше всю свою семью и пытающийся выжить среди волков. Что скажут обо мне люди в вашем настоящем девяносто втором году?

Кира посмотрела на великого гипнотизёра с искренней теплотой и тихо улыбнулась:

— В нашем девяносто втором году ваше имя стало легендой, Вольф Григорьевич. О вас пишут книги, снимают фильмы, а ваши предсказания о скором конце войны и падении Гитлера в мае сорок пятого года помнит каждый человек в России. Вы проживёте долгую жизнь, будете собирать полные залы до самой старости и останетесь для всех загадкой, которую так никто и не сумел разгадать.

На усталом, измождённом лице Мессинга впервые за весь разговор появилась тихая, благодарная и чуть грустная улыбка. Он снова прикрыл глаза, на несколько мгновений погрузившись в глубокий транс — пытаясь заглянуть туда, за грань грядущих дней, где решалась судьба страны.

— Я вижу тёмный особняк за Москвой-рекой... — прошептал он, открывая глаза. — Зелёную лампу и человека с трубкой, который никому не верит, но носит в сердце тяжёлую отцовскую рану. Я помогу вам, дети мои. Завтра же утром я пробьюсь к Хозяину и передам ему то, что увидел в ваших мыслях. Будьте готовы к полуночи: за вами придут люди, которым он доверяет больше, чем собственной тени.

— ✦ —

Слово своё Мессинг сдержал. На следующий день он прошёл в Кремль и передал Сталину то, что увидел в сознании двух странных пришельцев. Сталин, обладавший звериным чутьём на опасность и давно подозревавший, что вокруг него сгущается невидимая тень, не стал вызывать ни охрану, ни наркомвнудел. Он приказал устроить тайную встречу глубокой ночью — не в Кремле и не в Кунцеве, где каждый шаг фиксировали ищейки Берии, а в старом, неприметном замоскворецком особнячке в глухом переулке за Ордынкой, где ещё с подпольных дореволюционных времён сохранилась конспиративная квартира, известная лишь двоим самым преданным ординарцам вождя.

Ровно в полночь Киру и Андрея провели через тёмный заснеженный двор в небольшую, скромно обставленную комнату с зашторенными окнами, книжным шкафом и зелёной настольной лампой.

Скрипнула боковая дверь — и на пороге появился он.

Сталин оказался совсем невысоким, даже меньше, чем выглядел на парадных портретах, в простом сером френче без погон, с мягкими кавказскими сапогами, ступавшими по половицам почти бесшумно. Но едва он поднял голову и в упор поглядел на вошедших из-под густых, насупленных бровей своими тяжёлыми, жёлто-карими глазами, в комнате словно стало тесно от незримой, давящей силы. От этого негромкого человека исходила такая ледяная, гипнотическая мощь, внушающая одновременно и невольное уважение, и животный страх, что у Андрея мгновенно пересохло в горле.

Сталин молча прошёл к столу, раскурил погасшую трубку, выпустил густое облако сизого дыма и тихо, с отчётливым грузинским акцентом произнёс:

— Мессинг рассказал мне удивительную сказку. Про девяносто второй год, про яд на моей даче и про то, что мой ближайший соратник продаст Победу за американские кредиты. Говорите. У вас есть десять минут, прежде чем я решу, кто вы — сумасшедшие или вражеские агенты.

Стараясь унять дрожь в голосе, Андрей шагнул вперёд и выложил на стол всё: и про отравленный напиток, который через два дня должен подменить на ближней даче завербованный капитан охраны Дроздов, и про Потсдамскую сдачу Восточной Европы, и про хищнический «План Маршалла», превративший великую страну в сырьевую колонию, где в космос первыми полетели американцы. Кира молча положила на зелёное сукно привезённые из 1992 года колониальные центы, фотографии чужого флага над Лубянкой и схему резонатора Целовского.

Сталин слушал, не перебивая. Ни один мускул не дрогнул на его рябоватом, усталом лице. Когда Андрей замолчал, вождь долго смотрел на разложенные перед ним бумаги и монеты, затем медленно покачал головой:

— Бумажки напечатать нетрудно. Фотографии подделать — ещё проще. А предателей вокруг меня всегда хватало, я в них и без пришельцев из будущего разбираюсь. Не верю я в ваши сказки про машину времени, товарищи.

Он отвернулся к зашторенному окну, заложив левую руку за борт френча, и тихо, словно проверяя их на прочность, проговорил:

— Впрочем... ежели вы и впрямь умеете шагать сквозь годы и можете сделать всё, о чём рассказываете...

Сталин вдруг осёкся. Плечи его чуть опустились, а когда он снова повернулся к ним, в его суровом голосе зазвенел металл, за которым скрывалась такая глубокая, нечеловеческая отцовская боль и страдание, что у Киры болезненно сжалось сердце. В этот миг перед ними стоял не всесильный вождь половины мира, а постаревший, измученный войной отец, потерявший первенца:

— Достаньте мне моего сына Якова, — глухо, почти шёпотом приказал Сталин, впиваясь в них тяжёлым, горящим взглядом. — Вытащите его из немецкого плена и верните живым. И сделайте это так, чтобы ни одна живая душа — ни в Берлине, ни в Москве, ни тем более Лаврентий — об этом не узнала. Спасёте Якова — тогда я поверю каждому вашему слову и сам раздавлю гадину. А нет... — он коротко махнул трубкой в сторону двери, — значит, пустая вы болтовня.

В тихой замоскворецкой комнате повисла звенящая тишина.

— ✦ —

Вернувшись глубокой ночью на Мясницкую, Кира и Андрей разбудили Андрея Викентьевича Целовского-старшего. Узнав, какое условие поставил вождь, старый физик лишь крякнул, натянул поверх ночной рубашки тёплый халат и немедленно спустился с ними в свою подземную лабораторию.

Прежде чем запускать генератор, все трое уселись за старый чертёжный стол под зелёной лампой, разложив перед собой потрёпанную карту Германии и подробный план-схему окрестностей Ораниенбурга, который за полчаса до их прихода доставил в лабораторию молчаливый ординарец из Замоскворечья — вместе с небольшим фибровым чемоданом.

— Прыгать вслепую в лес под Берлином нельзя, — твёрдо сказал Андрей, водя карандашом по схеме концлагеря Заксенхаузен. — Вокруг лагеря три ряда колючей проволоки под током, минные поля и вышки с пулемётами. Снаружи мы внутрь не пробьёмся. Значит, Андрей Викентьевич, вам придётся навести рубиновый луч с ювелирной точностью — **прямо внутрь периметра**, в пустующий ночью угол санитарного барака у особого сектора «А», где немцы держат важных пленных, включая Якова Джугашвили.

— Задача не из лёгких, но выполнимая, — пробормотал Целовский, поправляя очки и прикидывая углы склонения на логарифмической линейке. — Координаты лагеря в сорок третьем году мне известны до метра. Но как вы там продержитесь целые сутки, пока изотопный сердечник в вашем резонаторе будет набирать заряд для обратного прыжка?! Ведь вас схватят при первой же проверке!

— Не схватят, если мы явимся туда не как беглецы, а как хозяева, — тихо усмехнулась Кира, открывая присланный из Кремля фибровый чемодан.

Внутри лежали безупречно выглаженный тёмно-серый мундир гауптштурмфюрера медицинской службы СС, строгий женский костюм, белые врачебные халаты, стетоскоп и папка с подлинными трофейными бланками берлинского Главного санитарно-гигиенического управления, скреплёнными гербовыми печатями со свастикой.

— Я с университетских лет свободно говорю по-немецки — без акцента, на берлинском диалекте, ещё со времён стажировок и чтения немецкой технической литературы, — пояснил Андрей, прикидывая на себя мундир. — По легенде я — доктор Отто Рихтер, инспектор из берлинского Института гигиены, прибывший с внеплановой ночной проверкой в связи со вспышкой сыпного тифа в соседних бараках. А Кира — моя ассистентка и стенографистка фройляйн Клара Вебер.

— А мой немецкий куда скромнее, — добавила Кира, улыбнувшись. — Но по легенде строгая берлинская стенографистка вообще не обязана разговаривать с лагерной охраной — она лишь молча записывает показания в журнал и носит саквояж с инструментами, в котором как раз и спрятан наш резонатор!

— Блестяще! — одобрительно кивнул Целовский-старший. — Под предлогом срочного карантинного осмотра вы потребуете отвести вас в особый барак к старшему лейтенанту Джугашвили, объявите, что у него подозрение на опасную инфекцию, и прикажете перевести его в пустой бокс изолятора под ваш личный надзор. Там вы и переждёте сутки, пока прибор не будет готов к возвращению!

Профессор поднялся, подошёл к латунным шкалам стационарного генератора-маяка и строго посмотрел на обоих поверх очков:

— Изотопный сердечник в вашем переносном приборе полностью восстановился, заряда на прыжок в Германию и обратно хватит с избытком. Но запомните главное правило: после материализации в сорок третьем году прибору понадобится ровно двадцать четыре часа на регенерацию. Раньше этого срока вы не сможете включить обратный луч. А ровно через сутки — завтра в полночь по московскому времени — я здесь, в лаборатории, запущу несущую частоту маяка на пятнадцать минут. Если вы успеете активировать резонатор в это окно, луч вернёт вас вместе с сыном вождя прямиком сюда, на этот самый ковёр. Опоздаете хоть на минуту — маяк выключится, и вы останетесь в руках гестапо.

Кира и Андрей переоделись, спрятали резонатор на дно медицинского саквояжа под стерильными бинтами и сверили стрелки на командирских часах. Встав в центр лаборатории, они взялись за руки, и Андрей повернул медный лимб до упора. Воздух загудел, ослепительный рубиново-золотой луч ударил из кварцевого глазка — и военная Москва сорок четвёртого года растворилась в сияющей мгле.

Глава 3

Глава первая, в которой в холодном Смольном заключают сделку с вечностью, а двое пришельцев находят в себе чужую память

В феврале восемнадцатого года Петроград стоял заиндевелый, строгий и неузнаваемо тихий, словно огромный гранитный корабль, вышедший из жестокого шторма на ровную, глубокую воду. Не было на Невском ни погромных костров, ни голодного воя, ни озверелых патрулей, срывающих с прохожих шубы. Новая власть, с первых же дней пошедшая по мудрой, гибкой колее — оставив за собой банки, заводы-гиганты и железные дороги, но не тронув ни лавочника, ни ремесленника, ни крепкого пахаря, — сумела удержать страну на краю бездны. По торцовым мостовым деловито цокали копытами извозчичьи рысаки, в витринах кондитерских уже снова зажигались тёплые жёлтые огни, а над всем этим притихшим, работящим городом гудел студёный балтийский ветер.

В один из таких морозных вечеров к величественному бело-голубому фасаду бывшего Смольного института благородных девиц, где по обе стороны парадного подъезда дымили два небольших костра, у которых грелись красногвардейцы в тулупах с винтовками на ремне, подкатили лёгкие сани. Из них, поправляя сбившееся пенсне и прижимая к груди потёртый кожаный саквояж, вышел высокий, худощавый господин в бобровой шапке и длинной шубе — Андрей Викентьевич Целовский.

Узнав о том, что Россия избежала кровавой смуты и встала на невиданный доселе путь разумного созидания, московский чудак-изобретатель не усидел в благополучном Цюрихе. Свернув свою швейцарскую лабораторию, он первым же поездом через Швецию и Финляндию вернулся на родину — и не успел ещё толком разобрать чемоданы в своей квартире на Мясницкой, как получил из Петрограда короткую, но настоятельную телеграмму за подписью Председателя Совнаркома.

Пройдя по длинным, гулким, пахнущим карболкой, махоркой и мокрыми шинелями коридорам Смольного, мимо спешащих курьеров с портфелями и грохочущих за дверями пишущих машинок, Целовский поднялся на второй этаж. Секретарь, сверившись со списком, молча распахнул перед ним белую филёнчатую дверь.

Кабинет Владимира Ильича оказался на удивление скромным: простой письменный стол, заваленный газетами, декретами и гранками, жёсткие венские стулья, большая карта России на стене, испещрённая цветными карандашными пометками, да старенький кожаный диван у перегородки. Едва Целовский переступил порог, навстречу ему из-за стола стремительно поднялся сам Ленин — в неизменном тёмном костюме-тройке, с живым, быстрым блеском прищуренных глаз.

— А, батенька мой! Андрей Викентьевич! Наконец-то явились! — воскликнул Владимир Ильич с тем характерным, энергичным грассированием, в котором слышалась неподдельная радость. Он крепко тряхнул руку учёного и усадил его в кресло у стола. — Слышал, слышал о вашем возвращении! И весьма рад, что не остались в швейцарском болоте. Ну-с, признавайтесь сразу: саквояж-то тот самый привезли?

Целовский смущённо кашлянул, погладил бородку клинышком и похлопал ладонью по тугой коже саквояжа:

— Тот самый, Владимир Ильич. Усовершенствованный. В Цюрихе я почти довёл до совершенства калибровочный лимб. Теперь я могу отправлять материальные тела в любую точку грядущего столетия без прежних сбоев. Готов поставить сие открытие на службу новой России!

Ленин вдруг перестал улыбаться. Он опустился на свой жёсткий стул, сцепил пальцы на столе и долго, пристально смотрел на изобретателя тем пронзительным, тяжёлым взглядом, от которого у видавших виды комиссаров порой холодело под ложечкой.

— На службу России, говорите? — тихо и веско переспросил он. — А вы подумали, батенька, что случится с нашей Россией, ежели мы оставим эту вашу калиточку в будущее открытой?

Целовский растерянно моргнул за стёклами пенсне:

— Помилуйте, Владимир Ильич, но ведь наука... Мы сможем заглядывать вперёд, избегать ошибок, заимствовать передовые технологии...

— И тем самым в два счёта свернём себе шею! — отрезал Ленин, стукнув ребром ладони по столу. Он подался вперёд, понизив голос почти до шёпота, словно опасаясь, что даже стены старого института могут подслушать эту тайну: — Послушайте меня внимательно, Андрей Викентьевич. Вы человек умный, физик, а я — политик и практик. Я своими глазами видел в цюрихской гостиной, как из воздуха вывалились гости из девяносто второго года. И я своими глазами прочёл тетрадь милой Киры. Мы сейчас с вами получили величайший, неслыханный в истории шанс — построить могучую, справедливую, богатую державу без братоубийственной бойни. Конструкция эта сейчас — тоньше паутины! Любой неосторожный шаг, любой новый «путешественник» из грядущего, который сунется сюда со своими советами, или, упаси бог, какой-нибудь авантюрист, который проберётся к вашему прибору, — и вся наша новая история рассыплется в прах! Река времени снова сорвётся в кровавый омут!

В кабинете Смольного повисла тишина, нарушаемая лишь тихим потрескиванием дров в белой изразцовой печи да глухим стуком часового за дверью.

Целовский медленно опустил голову, глядя на свой кожаный саквояж. В памяти его вдруг всплыли его собственные слова, сказанные когда-то Кире на цюрихской набережной: о том, что реку времени нельзя поворачивать вспять по прихоти человека, ибо история беспощадно карает дерзких экспериментаторов.

— Выходит... вы предлагаете закрыть проект? — глухо спросил учёный.

— Не просто закрыть, Андрей Викентьевич, — мягче, с той особой, убеждающей теплотой, перед которой не мог устоять ни один собеседник, ответил Ленин. — Мы заключим с вами государственный договор. Вы собственными руками разберёте ваш хроно-излучатель и уничтожите все калибровочные таблицы, чтобы ни у одной живой души не осталось соблазна дёргать судьбу за хвост. А взамен... Взамен Советское правительство сегодня же подпишет декрет об основании в Москве Государственного института квантовой оптики и энергетики под вашим бессменным руководством! Направляйте ваш гениальный рубиновый луч не в прошлое и не в будущее, а сюда, в настоящее! Дайте стране невиданную связь, новые станки, чистую энергию, лазерную хирургию! Сделайте так, чтобы через семьдесят лет наша Россия сияла, как алмаз!

Целовский поднял глаза. Лицо его просветлело, в серых глазах вспыхнул знакомый лихорадочный, творческий огонь — но теперь в нём не было прежней тревоги за сломанные судьбы.

— По рукам, Владимир Ильич! — твёрдо произнёс изобретатель, протягивая руку через стол. — Слово русского физика: ни один луч больше не пробьёт завесу времени. Мы построим будущее своими руками, здесь и сейчас.

Сделка была скреплена в тот же вечер. Вернувшись в Москву, Андрей Викентьевич Целовский честно выполнил обещание: он разобрал цюрихский прототип до последнего винтика, сжёг в камине тетради с расчётами временных контуров и наложил негласный, священный запрет на любые опыты со временем. Основанный им институт за несколько десятилетий преобразил облик страны, подарив миру чудеса квантовой оптики и чистой энергетики, а о «цюрихском эксперименте» в семье академика Целовского-младшего сохранилась лишь полузабытая домашняя легенда.

И никто в этом новом, сияющем и безупречном мире не подозревал, что спустя семьдесят четыре года тишину Москвы всё-таки прорежет запретный рубиновый луч — потому что из исчезнувшей, горькой реальности в этот рай вернулись двое, принеся с собой последний, чужеродный хроно-резонатор.

На следующий день после возвращения в обновлённую Москву 1992 года Кира и Андрей сидели в просторной, залитой утренним солнцем гостиной её новой квартиры на Ломоносовском проспекте. За окном шумели широкие, утопающие в зелени проспекты незнакомой, процветающей столицы, но внутри комнаты царила напряжённая, почти звенящая тишина.

На полированном ореховом столе перед ними лежали две стопки документов: их собственные потрёпанные паспорта, с которыми они шагнули из старой реальности, и безупречно оформленные удостоверения этого нового мира — с дипломными корочками МГУ, пропусками в закрытые академические институты и свежими американскими визами.

— Я никак не могу уложить это в голове, Андрей, — тихо проговорила Кира, прижимая ладони к вискам. — Куда делись *те* Кира и Андрей, которые жили здесь до вчерашнего вечера? Мы ведь не могли просто вытолкнуть их в небытие, правда?

Андрей устало потёр переносицу и подошёл к окну, задумчиво глядя на бесшумно скользящие внизу элегантные автомобили.

— Я всю ночь думал об этом, опираясь на записи старого Целовского, — глухо ответил он. — Похоже, сработал закон сохранения личности, своего рода квантовая склейка. Во Вселенной не может существовать двух абсолютно тождественных сознаний в одной точке пространства-времени. Когда наш луч замкнул контур, наши с тобой личности не уничтожили местных двойников, а слились с ними, поглотили их, как река поглощает ручей. Для всего остального мира мы никуда не исчезали: вчера вечером младший научный сотрудник Кира Навроцкая и лаборант Андрей Громов просто вернулись домой, слегка утомлённые после работы. Само Время сгладило швы, чтобы не допустить логического разрыва.

— Значит, их память теперь внутри нас... — прошептала Кира и с внезапной тревогой потянулась к толстому кожаному фотоальбому, стоявшему на книжной полке.

Едва её пальцы коснулись тиснёного переплёта, в голове словно прорвало невидимую плотину. На неё хлынул мощный, но странно плоский поток чужих воспоминаний — будто она за одну секунду просмотрела длинный документальный фильм о жизни другой женщины, носившей её имя.

Кира открыла альбом, и перед глазами ожила новая, блестящая хроника рода Навроцких. Вот на пожелтевшем снимке двадцатых годов её прадед Николай Андреевич стоит в Нью-Йорке рядом с легендарным авиаконструктором Игорем Сикорским у первых опытных образцов летающих лодок. В памяти тут же всплыли семейные рассказы, которые в этом мире ей с детства пересказывала бабушка Алевтина: о том, как прадед, послушав совета «ростовской кузины», вложил весь вывезенный из Швейцарии капитал в зарождающуюся американскую авиацию; как в тридцатые годы, когда в Америке бушевала депрессия, компания Навроцкого устояла благодаря государственным заказам и поддерживала русскую эмиграцию. В альбоме бережно хранилась программка концерта в Карнеги-холле с дарственной надписью Сергея Васильевича Рахманинова — великому композитору прадед не раз помогал деньгами и устраивал гастроли, а в сорок четвертом году семья Навроцких на собственные средства построила и передала союзникам тяжёлый бомбардировщик для открытия второго фронта.

Кира перевернула страницу, и сердце её болезненно сжалось. Со следующей фотографии на неё смотрели красивые, счастливые молодые люди: её отец Сергей, сын Алевтины, приехавший в шестидесятые годы в открытую, процветающую Россию как представитель семейного авиационного концерна, и её мама — талантливый московский математик. В этой реальности

отец не бросил семью; они с матерью построили в Москве совместное русско-американское конструкторское бюро, и Кира выросла в любви, достатке и окружении книг.

Но чем дальше она листала альбом, тем яснее видела неумолимый закон сохранения судьбы. Время не отменило её потерь, лишь сменило декорации. В памяти всплыла страшная осенняя телеграмма: когда Кире исполнилось семнадцать, её родители погибли при испытательном полёте нового трансатлантического лайнера. Бабушка Алевтина звала её в Нью-Йорк, но упрямая Кира осталась в Москве, с отличием окончила мехмат МГУ, устроилась в Институт прикладной математики и по вечерам играла на рояле в Доме учёных. Даже тяжёлая болезнь в юности и трусливый побег бывшего мужа Вадима повторились здесь почти точь-в-точь — разве что лечили её лучшие врачи, а за спиной стояла поддержка могущественного клана.

Кира закрыла альбом и подняла на Андрея растерянные, полные странной тоски глаза.

— Я всё это помню, Андрей... — тихо сказала она. — Помню, как мы с отцом запускали модели планеров на Воробьёвых горах, помню лекции на мехмате, помню шифр от институтской библиотеки. Но эти воспоминания какие-то... картонные, как раскрашенная открытка. А вот наша старая тесная кухня, где мы с бедной, уставшей бабушкой Алевтиной лепили пельмени, и холодный вечер у стены Цоя — это болит по-настоящему. Это моё.

Андрей подошёл, присел на край кресла и крепко сжал её холодные пальцы.

— У меня то же самое, Кира, — глухо признался он. — Я помню, как защищал диплом в Институте квантовой оптики имени Целовского, знаю имена всех коллег и расположение корпусов. Но внутри я всё равно тот самый парень из нищего девяносто второго, который паял резонатор на кухонном столе под борщ деда Варфоломея. Мы — чужеродные вкрапления в этом гладком мире. И что хуже всего — я не знаю, долго ли он будет терпеть нас такими.

Едва Андрей договорил, в прихожей зазвонил телефон. Кира вздрогнула и сняла трубку, услышав в мембране далекий, но удивительно бодрый голос с легким американским акцентом — звонили из Нью-Йорка.

— Кирочка, детка, я не разбудила тебя? — защебетала пожилая Алевтина Навроцкая. — У меня совершенно невероятная новость! Ко мне на Пятую авеню приезжали представители самого Фрэнсиса Форда Копполы. Они затевают в Москве грандиозную экранизацию «Войны и мира» и умоляют меня стать главным консультантом по старинному русскому быту и дворянскому этикету! Я уже почти согласилась, представляешь? На следующей неделе, если врачи разрешат перелет, я вылетаю в Москву! Наконец-то обниму тебя и познакомлюсь с твоим Андреем!

Положив трубку, Кира растерянно посмотрела на Андрея. В этом новом мире жизнь сама стягивала вокруг них невидимые нити, связывая прошлое и настоящее в один тугой узел.

Глава вторая, в которой на стерильном Арбате гремит запретный рок-н-ролл, «Вершина» срывает овации, а потомки жандармов попадают в околоток

Тоска по утраченному черновику жизни оказалась штукой до того едкой, что уже через три дня Андрей не выдержал. Ему до смерти осточертели чинные академические коридоры, вежливые разговоры о симфонических вечерах в Консерватории и пресная, безупречная скука этого благополучного мира, где даже уличные музыканты играли по нотам с печатью городской управы.

— Знаешь, Кира, если этот мир не знает ни Цоя, ни «Наутилуса», ни настоящего Высоцкого, мы ему их подарим! — заявил он однажды вечером, горящими глазами глядя на свой старый электронный синтезатор в углу комнаты. — Хватит ходить по струнке! Вспомним молодость!

Сказано — сделано. На другой день в перерыве между опытами Андрей обшарил лаборатории своего Института квантовой оптики и в два счёта сколотил подпольную музыкальную артель из троих таких же заскучавших молодых аспирантов: длинноволосого теоретического физика Пашки, лихо терзавшего контрабас в институтском оркестре, очкарика-электронщика Сени и ударника-лаборанта Митьки, который с первого раза уловил непривычный, рваный ритм.

По вечерам, заперевшись в пустой актовой зале института, они устроили настоящую репетиционную базу. Кира, с радостью сбросив с себя маску солидной сотрудницы Академии наук, села за клавиши, а Андрей взял в руки переделанную под электрогитару акустику. По крупицам, строчка за строчкой, они восстанавливали из своей «старой» памяти то, чего в этом сытом, спокойном мире никогда не существовало: чеканный, шагающий ритм «Группы крови» Виктора Цоя, надрывный, гипнотический марш «Скованных одной цепью» Вячеслава Бутусова и щемящее, ироничное «Прощальное письмо» — то самое «Гудбай, Америка, о-о, где я не буду никогда...». А напоследок Андрей вывел хриплыми, тугими аккордами суровую балладу Владимира Высоцкого о горах и высоте — в этом мире благополучный народный артист Высоцкий ставил спектакли на Таганке и писал изящные театральные куплеты, даже не подозревая о том, какие песни пел его двойник в другой реальности.

Для благовоспитанных советских аспирантов эти тексты звучали как дикая, немыслимая ересь: о каких цепях, о какой войне и о каком прощании с Америкой идёт речь, когда за окном сияет мир, достаток и дружба народов?! Но в самой музыке билась такая живая, неукротимая сила, что к пятнице вся четвёрка загорелась желанием выйти на люди.

В субботний вечер, прихватив переносные усилители на аккумуляторах, компания выгрузилась аккурат посреди Старого Арбата — напротив той самой гладко оштукатуренной стены, где в прежней реальности чернели надписи поклонников Цоя.

Не спрашивая ни у кого дозволения, Митька ударил по тарелкам, Сеня вывел тяжелый, рокочущий бас, пальцы Киры побежали по клавишам, а Андрей шагнул к микрофону и во всю мощь лёгких грянул:

— Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве!..

А следом, не давая публике опомниться, ударил по струнам жёстким, рубленым ритмом «Наутилуса»:

— Скованные одной цепью, связанные одной целью!..

Эффект оказался ошеломляющим. Прохожие на чинном европейском бульваре замерли как вкопанные. Уличный скрипач в накрахмаленной манишке, игравший в двадцати шагах менуэт Боккерини, так дёрнул смычком, что порвал струну. Пожилые дамы в шляпках в ужасе прижали руки к груди, солидные господа в котелках и галстуках вытаращили глаза, не понимая, на каком наречии кричат эти безумцы. А когда Андрей, поймав кураж, перешёл на «Прощальное письмо» и с отчаянным надрывом запел: *«Гудбай, Америка, о-о, где я не буду никогда...»*, — вокруг собралась огромная, ошалевшая толпа, а какой-то интурист в клетчатом пиджаке испуганно замахал руками, приняв песню за антиамериканский митинг.

Видя растерянность публики, Андрей хитро подмигнул Кире, перехватил гитару поудобнее и ударил по струнам стремительным, тревожным боем:

— Здесь вам не равнина, здесь климат иной —

Идут лавины одна за одной,

И здесь за камнепадом ревёт камнепад...

И тут произошло настоящее чудо. Едва над вечерним Арбатом зазвучали эти чеканные, полные ветра, риска и мужского братства строки «Вершины» Высоцкого, недоумение на лицах прохожих мгновенно сменилось заворожённым восторгом. В сытой, размеренной, лишённой

великих потрясений жизни этим людям мучительно не хватало именно такой высоты, такого чистого, сурового порыва, от которого захватывает дух.

Когда Андрей, вложив в голос всю душу, закончил последнюю строфу и замер последний аккорд, над Арбатом на секунду повисла звенящая тишина — а затем площадь взорвалась настоящим фурором.

— Браво! — кричали солидные господа, срывая с голов котелки и шляпы.

— Ещё раз! Просим на бис! Спойте про горы ещё раз! — скандировали студенты и барышни, неистово аплодируя и бросая к ногам музыкантов цветы, купленные у арбатских цветочниц.

Сияющие Кира и Андрей переглянулись и, подхваченные всеобщим ликованием, грянули «Вершину» во второй раз, а толпа вокруг уже вовсю подпевала припеву, притопывая в такт на безупречной брусчатке.

Именно в этот разгар всеобщего триумфа из переулка с мелодичным, вежливым перезвоном подкатил сияющий лаком автомобиль городской полиции — в этом мире стражи порядка носили тёмно-синие мундиры с серебряным шитьём и назывались на старинный манер городовыми и приставами.

Двое рослых, безупречно вежливых полицейских с белыми перчатками с трудом протиснулись сквозь плотное кольцо восторженных зрителей, выключили усилитель и с выражением крайнего недоумения воззрились на взъерошенного Андрея и раскрасневшуюся от счастья Киру.

— Господа хорошие, — строго, но учтиво произнёс усатый пристав, под гул неодобрения публики. — Позвольте поинтересоваться: на каком основании вы устраиваете несанкционированное народное гуляние в неустановленном месте и исполняете произведения, не прошедшие регистрацию в Музыкальном обществе? И что это, позвольте спросить, были за подозрительные призывы насчёт Америки и каких-то цепей перед тем, как вы запели про альпинистов?

— Это искусство, господин пристав! — весело крикнул Андрей, чувствуя, как впервые за эти дни в груди разливается настоящее, живое тепло. — Рок-н-ролл! Голос поколения!

— Вот в участке мы и разберёмся, какого именно поколения сей голос, — вздохнул пристав и, невзирая на уговоры публики отпустить талантливых артистов, вежливо попросил всю компанию проследовать в экипаж.

В светлом, пахнущем свежей краской и хорошим табаком дежурном отделении Арбатской части, куда доставили всю рок-группу в полном составе вместе с контрабасом и синтезатором, царил полный переполох. Пожилой околоточный надзиратель в очках долго переписывал в журнал паспорта задержанных, качая головой при виде академических пропусков Института квантовой оптики и МГУ, и с недоумением перечитывал записанные со слов Андрея строчки про «группу крови на рукаве».

— Учёные люди, а ведёте себя хуже футуристов четырнадцатого года! — ворчал надзиратель, но без злобы — в этом благополучном мире серьёзных преступлений почти не случалось, и выходка молодых физиков стала для отделения настоящим развлечением.

Отделались они лёгким штрафом за нарушение тишины и торжественным обещанием впредь петь исключительно в стенах институтского клуба. Но когда глубокой ночью Кира и Андрей вышли из дверей полицейского участка на прохладный ночной Арбат, волоча за собой синтезатор, оба они смеялись так звонко и счастливо, как не смеялись с самого возвращения из Цюриха. Впервые за всё время они почувствовали, что даже в этом выглаженном, чужом раю можно оставаться самими собой.

Глава третья, в которой фамильный сундук уходит с молотка в Атлантик-Сити, в Вашингтоне двое циников придумывают троянского коня, а в Калифорнии синьор Коппола собирает голливудскую армию

Всякая достойная и славная фамилия, сколь бы высоко ни вознесла её судьба, рано или поздно обзаводится собственной паршивой овцой — и могучий американский клан Навроцких не стал в этом смысле исключением.

В то время как старшая дочь Николая Андреевича, красавица Алевтина, преумножала славу отцовского авиационного дела, блистала в нью-йоркских благотворительных обществах и бережно хранила память о старой Москве, её младший брат, родившийся уже за океаном и крещённый Максимом, удался в совершенно иную породу. С малых лет Максим Николаевич питался не любовью к чертежам и аэропланам, а жгучей, лихорадочной страстью к зелёному сукну игорных домов и скаковому тотализатору.

После кончины старика Николая Андреевича в середине пятидесятых годов Максим, получив свою долю наследства, спустил её на бирже и в рулетку Атлантик-Сити с той лихой, бесшабашной скоростью, с какой проматывают состояния лишь русские повесы, оторванные от родной почвы. Оказавшись к началу девяностых годов по уши в долгах у сомнительных кредиторов, постаревший, обрюзгший Максим втайне от сестры Алевтины забрался на чердак старого фамильного особняка в Коннектикуте и выволок оттуда тяжёлый, окованный потемневшей медью дорожный сундук, с которым их семья когда-то бежала из Москвы в четырнадцатом году.

Не утруждая себя разбором пожелтевших от времени бумаг, Максим сбыл весь сундук со старыми фотографиями, квитанциями швейцарских банков и семейными дневниками заезжему перекупщику антиквариата за жалкие три тысячи долларов — аккурат на одну вечернюю ставку в блэкджек.

Так бы и сгинули эти реликвии в частных коллекциях, если бы осенью девяносто второго года перекупщик не попался на крупной контрабанде старинного русского серебра и редких икон. При обыске на его складе в Нью-Джерси агенты Федерального бюро расследований конфисковали весь товар, включая и медный сундук Навроцких.

Когда пыльные папки передали для описи в аналитический отдел в Вашингтоне, скучающий эксперт-архивист, владеющий русским языком, наткнулся на самом дне сундука на толстую кожаную тетрадь с серебряным замочком. Раскрыв её, он сперва принял записи за черновик какого-то дореволюционного фантастического романа, но уже через полчаса, бледный и взъерошенный, бежал по коридору в кабинет начальника специального отдела.

Каллиграфическим, бисерным почерком купца Николая Андреевича в тетради были зафиксированы июньские беседы 1914 года с таинственной «гостьей из 1992 года» по имени Кира. Там были и точные даты будущих мировых потрясений, и расчёты по развитию авиации, и упоминания о секретном письме, заложенном в депозитную ячейку Московского Главпочтамта, и — самое главное — наброски схем портативного рубинового излучателя физика Целовского, способного пронзать толщу времени!

В закрытом кабинете на Пенсильвания-авеню, где воздух, казалось, был насквозь пропитан казённой тайной, крепчайшим чёрным кофе и холодным, как лезвие бритвы, расчётом, за длинным столом, заваленным спутниковыми снимками Москвы и фотокопиями тетради купца Навроцкого, восседали двое: Маркус Торн и Саймон Грей.

Следует заметить, что оба принадлежали к той редкой и неприятной породе людей, которых во всех разведках мира держат для самых деликатных и беспощадных поручений. Маркус Торн, выпускник Гарварда с пятнадцатилетним стажем тайных игр в Восточной Европе, изъяснялся по-русски так чисто и сочно, что любой московский профессор филологии прослезился бы от умиления. Он мог по памяти цитировать Толстого и Достоевского, но смотрел на

человеческие души исключительно как на вскрытые консервные банки. Его напарник, Саймон Грей — поджарый, жилистый технарь с повадками степного волка, перекочевавший в полевой отдел спецопераций из закрытых оборонных лабораторий, — искренне презирал всякую гуманитарную лирику и верил лишь в три вещи на свете: в безотказность приборов, в хруст купюр и в бесшумный пистолет с глушителем.

— Вломиться в Москву с группой захвата мы не сможем, Саймон, — глухо произнёс Торн, брезгливо листая фотокопию дневника четырнадцатого года. — Нынешняя Россия — не расхлябанная страна, а перекормленная, зубастая держава с дьявольски цепкой контрразведкой. Любой наш боевик под видом дипломата или торговца окажется под колпаком в первую же минуту, не успев даже распаковать чемодан.

— Значит, подарим им пышный балаган, Маркус, — холодно усмехнулся Грей, постукивая карандашом по спутниковому снимку центра Москвы. — Мне плевать, под каким соусом мы туда зайдём. Мне нужен этот русский прибор. Ежели этот полоумный Целовский ещё в четырнадцатом году научился резать пространство рубиновым лучом, а его девчонка перекроила историю целой империи, мы обязаны утащить технологию в Лэнгли. Представь, что мы сотворим, когда получим доступ к временному контуру!

— Оставь бредни о мировом господстве для отчётов начальству, — цинично скривил губы Торн. — Сначала надо подобраться к объекту на расстояние вытянутой руки так, чтобы русские сами распахнули перед нами ворота и пропустили в центр города фуры с твоими пеленгаторами. И я знаю, как это устроить. Нам нужно великое, шумное искусство. Голливуд.

Грей недоверчиво прищурился:

— Ты на старости лет решил заделаться в продюсеры?

— Ни больше ни меньше, — улыбнулся одними губами Торн. — Мы учредим подставную компанию «Атлантик-Пикчерз», прогоним через швейцарские банки восемьдесят миллионов долларов и предложим лучшему режиссёру Америки снять новую, невиданную по размаху экранизацию толстовской «Войны и мира» на подлинной русской натуре.

— Крупный художник сразу почует фальшь, коли ему начнут диктовать условия, — буркнул Грей.

— А мы не станем диктовать! — парировал Торн. — Мы сыграем на его главном тщеславии. Нам нужен Фрэнсис Форд Коппола. После двух «Крёстных отцов» и «Апокалипсиса» он бредит грандиозными историческими полотнами. Ежели подкинуть ему готовый сценарий, пообещать полную творческую свободу и ни цента не пожалеть на массовку и пушки, этот шумный итальянский вулканический гений сам понесётся в Москву на всех парусах! А мы поедем в его свите: я — как исполнительный продюсер по связям с русскими властями, а ты — как главный инженер по лазерным спецэффектам. Внутри твоих кофров с софитами мы провезём в Москву квантовые пеленгаторы и уловим след прибора сквозь любые кирпичные стены.

Адская машина закрутилась с точностью швейцарского хронометра. Спустя неделю в солнечной долине Напа в Калифорнии, где в своём роскошном поместье среди виноградников Фрэнсис Форд Коппола лениво листал присланные студиями бездарные сценарии, попивая собственное каберне, раздался телефонный звонок от старого, проверенного голливудского агента, которого ФБР втёмную использовало как приманку.

На следующий день в калифорнийское поместье пожаловали двое респектабельных господ в безупречных костюмах — якобы представители европейского культурного фонда и новой независимой студии «Атлантик-Пикчерз». Они положили на дубовый стол перед режиссёром пухлую папку в тиснёном переплёте и чек с таким неприличным количеством нулей, что у бывалого маэстро, привыкшего вечно выбивать гроши у жадных студийных боссов, перехватило дыхание.

— Синьор Коппола, — вкрадчиво запел Маркус Торн, пока режиссёр недоверчиво вертел в пухлых пальцах незажжённую сигару. — В девяносто втором году исполняется сто восемьдесят лет Бородинскому сражению. Россия сегодня открыта миру как никогда. Никто в истории кино не снимал Толстого с тем эпическим, шекспировским трагизмом, на который способны только вы. Никаких фанерных декораций в Италии, как у Кинга Видора в пятьдесят шестом! Только подлинные московские усадьбы, настоящие русские гусары и бескрайние поля под Москвой.

Коппола сперва хмурился, сопел, качал бородатой головой и ворчал, что сыт по горло историческими баталиями и комарами на натуре. Но стоило ему вечером, оставшись в одиночестве на веранде с бокалом густого красного вина, раскрыть привезённый сценарий и перечитать несколько глав старого томика Толстого, как его горячая итальянская кровь мгновенно вскипела, словно молодое вино в бочке.

— *Madonna mia...* — прошептал он, вскакивая из плетёного кресла и начиная стремительно мерить шагами террасу. — *Che tragedia! Che grandezza!* Какой размах!

В его распалённом воображении уже вспыхивали грандиозные, ослепительные картины, от которых захватывало дух. Он видел не просто пышный костюмированный маскарад, а трагедию целого поколения, затянутого в кровавую воронку истории.

— Я сниму это не как открытку, нет! *Mai!* — бормотал маэстро, размахивая руками в темноте калифорнийской ночи, точно дирижёр перед невидимым оркестром. — Первый бал Наташи Ростовой — это должен быть *un sogno*, золотой сон, где камера кружится в вальсе так, чтобы у зрителя в зале закружилась голова! А потом — *il fuoco!* Пожар Москвы! Багровое небо, рушащиеся стропила, раненый Андрей Болконский, глядящий в бездонное небо Аустерлица! *Magnifico!* Это будет мой главный шедевр, моя «Сикстинская капелла» в кинематографе!

К утру режиссёр уже не спал. Обложившись энциклопедиями по войне двенадцатого года, он лихорадочно строчил в блокноте заметки, рисуя раскадровки батальных сцен, и сам позвонил в офис «Атлантик-Пикчерз», потребовав немедленно начать кастинг и готовить экспедицию в Москву.

— У меня есть только одно условие, *amici miei*! — гремел Коппола в телефонную трубку так, что дребезжали стёкла. — Никакой дешёвой бутафории! И сыщите мне в Нью-Йорке настоящую русскую аристократку из старой эмиграции, которая помнит, как в те времена держали веер и кланялись на балах! Без этого я в Москву не полечу!

Едва получив карт-бланш от щедрых продюсеров, Фрэнсис Форд Коппола с истинно итальянским темпераментом принялся собирать свою голливудскую армию для похода на Москву. Кастинг превратился в сущий балаган и театральное представление, о котором вскоре гудел весь Лос-Анджелес, а Торн и Грей вынуждены были с каменными, постными физиономиями наблюдать за этими творческими муками, мысленно подсчитывая каждый потерянный день.

Первым делом маэстро позвонил своему давнему другу и любимому актёру — Аль Пачино, предложив ему ни много ни мало роль императора Наполеона Бонапарта. Но реакция великого трагика оказалась поистине вулканической. На другом конце провода повисла ледяная, гробовая пауза, после которой Пачино взорвался гневной тирадой с неподражаемым нью-йоркским акцентом:

— Послушай, Фрэнсис, ты что, решил поиздеваться надо мной на старости лет?! Сперва ты сделал из меня короля мафии Майкла Корлеоне, потом я сыграл кубинского гангстера Тони Монтану, а теперь ты хочешь нацепить на меня треуголку и заставить снова играть невысокого, нервного диктатора с манией величия?! *Basta!* С меня хватит мелких тиранов, Фрэнсис! Я хочу играть Гамлета или страдающего поэта, а не коротышку, который поджёг Москву!

Сколько Коппола ни уговаривал друга, расписывая трагизм одиночества Бонапарта на Поклонной горе, гордый сицилиец остался непреклонен и с треском бросил трубку, смертельно оскорблённый намёком на свой рост и амплуа.

С юной Вайноной Райдер, которую режиссёр видел идеальной Наташей Ростовой, приключилась прямо противоположная беда. Когда двадцатилетняя актриса приехала в калифорнийское поместье маэстро на пробы, она была бледна от ужаса и едва не плакала, нервно теребя в пальцах бахрому своей потёртой замшевой куртки:

— Мистер Коппола, я боюсь, что я всё испорчу, — искренне призналась она, глядя на режиссёра огромными испуганными глазами оленёнка. — Посмотрите на меня! Я выросла в коммуне хиппи в Северной Калифорнии, мои родители дружили с Тимоти Лири и битниками, я ношу рваные джинсы и слушаю панк-рок! Какая из меня русская графиня девятнадцатого века?! Я же запутаюсь в кринолинах на первом же шагу и свалюсь носом в паркет при первом же реверансе!

Коппола растроганно расхохотался, по-отечески обнял девушку за худенькие плечи и подвёл её к старинному зеркалу:

— Дорогая моя *bambina*, именно поэтому ты и есть настоящая Наташа! В ней нет ни капли чопорной салонной куклы — она живая, дикая, искренняя душа, которая готова петь и танцевать босиком на траве! А манерам и реверансам тебя обучит настоящая русская княгиня из Нью-Йорка, поверь моему слову!

Куда большее благоговение — смешанное, впрочем, с лёгким суеверным ужасом — вызывал у Копполы исполнитель роли князя Андрея Болконского. С Дэниелом Дэй-Льюисом не требовалось долгих уговоров: едва прочитав сценарий, британский актёр прислал короткую, учтивую телеграмму о согласии и в тот же день испарился из поля зрения прессы, приступив к своей знаменитой, пугающей системе полного перевоплощения.

— *Madonna mia*, этот англичанин доведёт меня до инфаркта ещё до первого дубля! — со смехом и ужасом жаловался Коппола на совещании в офисе «Атлантик-Пикчерз», крутя в пальцах незажжённую сигару. — Вы же знаете его дьявольские фокусы! Три года назад на съёмках «Моей левой ноги» он наотрез отказался вставать из инвалидного кресла даже во время обеда, сломал себе два ребра и заставлял ассистентов кормить его с ложечки! А перед «Невыносимой лёгкостью бытия» за полгода выучил чешский язык так, что пражские профессора принимали его за своего!

— И что же он вытворяет сейчас, мистер Коппола? — с деланым участием осведомился Маркус Торн, пока Саймон Грей у окна раздражённо постукивал пальцами по подоконнику, словно отбивая похоронный марш.

— Он уже месяц не снимает белый кавалергардский мундир и сапоги со шпорами у себя в лондонском доме! — в отчаянии развёл руками режиссёр. — Жена говорит, что он спит на походной солдатской койке, читает исключительно дореволюционную русскую классику, учится фехтовать на старинных шпагах и запретил прислуге обращаться к нему иначе как «ваше сиятельство»! Я боюсь, что к моменту прилёта в Москву он начисто забудет английский язык, потребует себе крепостного денщика и вызовет меня на дуэль, ежели ему не понравится освещение на Бородинском поле!

— Похоже, в этом цирке собрались одни буйнопомешанные, — процедил сквозь зубы Саймон Грей по-английски, когда за режиссёром закрылась дверь. — Ещё неделя таких сборов, и мы упустим русский след!

— Спокойнее, Саймон, — ледяным тоном ответил Торн, поправляя запонки. — Без этого балагана мы не провезём в Москву ни одного твоего датчика. Потерпи ещё немного — маэстро как раз заканчивает набор труппы.

И действительно, с ролью холодной, ослепительной светской львицы Элен Курагиной у Копполы не возникло ни секунды сомнений. Весной девяносто второго года весь мир сходил с ума по новой голливудской звезде — Шэрон Стоун, чей хищный, ледяной взгляд и скандальная слава роковой красавицы гремели на всех континентах. Увидев её на закрытом показе, Коппола восхищённо щёлкнул пальцами:

— *Ecco!* Вот она, Элен! Вы посмотрите на эту женщину: мраморная античная статуя без единой живой мысли в голове, но с таким дьявольским магнетизмом, что мужчины готовы ради неё стреляться на дуэлях и спускать в карты целые губернии! Она сыграет порочную московскую сирену так, что у зрителей мороз пойдёт по коже!

Шэрон Стоун приняла приглашение с царственным снисхождением, тут же потребовав от костюмеров сшить ей дюжину бальных платьев с самым глубоким декольте, какое только позволяли приличия тысяча восемьсот двенадцатого года.

Но тяжелее всего пришлось с поисками Пьера Безухова. Коппола перебрал добрый десяток голливудских красавцев, но все они выглядели слишком подтянутыми, спортивными и самодовольными — ни в ком не было той трогательной, неуклюжей русской душевности и мучительного поиска смысла жизни. Отчаявшись, маэстро по совету своего нью-йоркского кастинг-директора отправился на крошечный офф-бродвейский спектакль в Манхэттене — и там, на тесной, пыльной сцене, увидел никому ещё не известного двадцатипятилетнего театрального самородка по имени Филип Сеймур Хоффман.

Едва пухловатый, светловолосый юноша в толстых роговых очках вышел к рампе, неловко поправил сползающий пиджак и заговорил тихим, удивительно глубоким, полным скрытой боли голосом, Коппола едва не вскочил с кресла.

— *Madonna mia...* Да это же живой Пьер! — прошептал режиссёр, впившись пальцами в подлокотники. — Посмотрите, как он неуклюже поворачивается, как щурится сквозь очки, сколько в нём этой детской, беззащитной искренности и скрытой медвежьей силы! К чёрту голливудских манекенщиков — я беру этого парня!

Молодой Хоффман, который ещё вчера перебивался случайными заработками и мечтал хотя бы о крошечной роли рядом с Аль Пачино, не поверил своим ушам, когда сам великий Коппола предложил ему главную роль в экранизации Толстого, и в тот же вечер засел за многотомный роман, обложившись словарями.

А на роль старого, мудрого и лукавого фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова Коппола без колебаний позвал великого валлийца Энтони Хопкинса, который как раз в ту весну получил свой первый «Оскар» за леденящую душу роль доктора Ганнибала Лектера в «Молчании ягнят». Узнав о том, что ему предстоит сыграть русского полководца, засыпающего на военных советах, но переигравшего самого Бонапарта, Хопкинс пришёл в тихий, сдержанный восторг. Обладая феноменальной, почти колдовской фотографической памятью — в молодости, работая в театре, он заучивал целые страницы текста наизусть, пробежав их глазами два-три раза, а потом развлекался тем, что мог процитировать любую главу с любого места, — сэр Энтони за одну неделю вызубрил все речи Кутузова так, что на репетициях даже не заглядывал в сценарий. Более того, увлёкшись русской культурой, Хопкинс, который в свободное от съёмок время серьёзно сочинял классическую музыку для симфонического оркестра и часами играл на фортепиано, принялся напевать русские народные мелодии и пообещал Копполе сыграть Кутузова так, чтобы зритель видел в одном его глазу хитрую крестьянскую мудрость, а в другом — бездонную усталость старого воина.

Когда список звёзд был окончательно утверждён и в Голливуде затрещали швейные машинки костюмеров, Маркус Торн и Саймон Грей приступили к финальной стадии своей хищной затеи. Внутри гигантских кофров с голливудскими софитами и кинокамерами Грей лично разместил сверхчувствительные американские пеленгаторы остаточного квантового излучения, замаскировав их под блоки питания для лазерных проекторов.

Оставался последний, самый изящный штрих — наживка, на которую Кира Навроцкая должна была клюнуть сама. Перед вылетом группы из Нью-Йорка Маркус Торн, надев маску безупречного светского джентльмена, нанёс визит в роскошный особняк на Пятой авеню к восьмидесятилетней Алевтине Навроцкой. От имени мистера Копполы он с приторной учти-

востью пригласил её поехать в Москву в качестве главного консультанта картины по дворянскому этикету, балам и старинному русскому быту.

— Поверьте, графиня, без вашего тонкого вкуса наш итальянский гений превратит московский бал в цыганский карнавал, — мягко ворковал Торн, целуя сухую, аристократическую руку старушки, а про себя хладнокровно отмечая: *«Старая лиса заглотила крючок. Через сорок восемь часов мы выйдем на её московскую внучку»*.

Пожилая аристократка, всю жизнь тосковавшая по родным местам и мечтавшая повидать свою московскую внучку Киру, с восторгом приняла приглашение — даже не подозревая, что в тот самый миг, когда её самолёт приземлится в Шереметьево, она станет главной приманкой в охоте двух циничных хищников на призраков черновика.

Глава четвёртая, в которой на Пречистенке воскресает двенадцатый год, дон Корлеоне демонстрирует павильону спину, а двое продюсеров задают лишний вопрос

На следующее утро после ночного концерта на Арбате и сердечного расставания с околоточными надзирателями в квартире Киры на Ломоносовском проспекте снова залился телефон. Звонили уже не из далёкого Нью-Йорка, а вполне по-московски, чисто и звонко.

— Кирочка, радость моя, мы прибыли! — пропел в трубке бодрый, чуть грассирующий голос бабушки Алевтины. — Врачи сжалились, самолёт перенесла превосходно, сижу в «Метрополе» и пью утренний кофе. К полудню жду вас с Андреем в усадьбе на Пречистенке. Сам Фрэнсис Коппола жаждет познакомиться с моей московской внучкой!

Ровно в двенадцать Кира и Андрей миновали чугунные ворота старинной усадьбы и попали в самую гущу великой голливудской суматохи. Площадка представляла собой диковинную помесь Бородинского поля с цирком шапито. По гравийным дорожкам чинно прогуливались заморские кирасиры, которые в перерывах между дублями с ненавистью стягивали с голов медные каски и жадно хлебали минеральную воду из пластиковых бутылок. Пожилой гусар, судя по выправке, нанятый из бывших мосфильмовских реквизиторов, поучал на чистом арбатском наречии ассистента режиссёра, как правильно вешать саблю, чтобы не запутаться в собственных ногах. Осветители тащили толстые удавы кабелей прямо через клумбы с анютиными глазками, а из-за мраморной беседки доносился отборный, сочный голливудский мат, означавший, что искусство требует жертв.

Бабушка Алевтина, элегантная и прямая, словно гвардейский полковник на параде, сияла от удовольствия. Она обняла Киру с такой искренней, тёплой нежностью, что у той мгновенно растаял ледок в груди, и принялась водить внучку по площадке, как редкий музейный экспонат. Чуть поодаль у осветительного фургона крутились двое безупречно одетых американцев — исполнительный продюсер Маркус Торн и главный инженер по комбинированным съёмкам Саймон Грей, не сводившие с гостей холодного, цепкого взгляда.

Первыми им представили главных звёзд. Юная Вайнона Райдер, утопающая в кружевах бального платья Наташи Ростовой, с жадным любопытством расспрашивала Алевтину, как именно русские барышни обмахивались веером, чтобы довести кавалера до белого каления, и искренне восхитилась серебряным браслетом Киры. Рядом стоял Дэниел Дэй-Льюис в белоснежном мундире князя Андрея. В роль он вжился с такой пугающей основательностью, что, казалось, вообще забыл, как сгибается позвоночник; говорил он тихо, с лёгким прононсом, и приложился к ручкам обеих дам с таким видом, словно сейчас пойдёт стреляться за их честь на Чёрную речку.

— А вот и наш великий кормчий, — улыбнулась Алевтина, когда к ним вразвалку подошёл коренастый, бородатый мужчина в клетчатой рубашке и твидовом пиджаке, с неизменной дымящейся сигарой в зубах.

Фрэнсис Форд Коппола оказался человеком шумным, радушным и до крайности экспансивным. Узнав, что Кира — математик, он захохотал и схватился за голову:

— О, боюсь, моя бухгалтерия на этой картине доведёт до инфаркта любого профессора! Пятьсот лошадей, тридцать пушек, и каждый статист требует двойной оклад за съёмку в пыли! Но, знаете, после того, как я воевал со студией на съёмках «Крёстного отца» и второй части, меня уже голыми руками не возьмёшь. Там боссы хотели уволить меня каждый вторник, а в итоге мы сняли классику!

— Я обожаю ваши фильмы, мистер Коппола, — совершенно искренне, забыв обо всякой конспирации, ответила Кира. — Особенно то, как глубоко вы показали трагедию Майкла Корлеоне.

Маэстро сокрушённо вздохнул, покрутил сигару и поглядел на колонны усадьбы с видом человека, которого мучает великая творческая засуха:

— Знаете, милая Кира, студия уже пятый год сидит у меня на шее и требует третью часть. Мол, публика желает завершения саги. А я упёрся рогом. Не вижу, куда вести Майкла! Душу он продал, семью растерял, сидит себе в кресле как каменный истукан. О чём снимать? Очередную пальбу в Бруклине? Скукота смертная!

Кира, расслабленная тёплым солнцем и обаянием живого классика, начисто забыла, что в этом сытом, благополучном девяносто втором году Коппола так и не снял фильм, который она сама смотрела в душном видеосалоне два года назад в своём прежнем мире.

— Ну зачем же пальбу, мистер Коппола? — с жаром возразила она, увлекаясь собственной мыслью. — Это же должна быть высокая античная трагедия об искуплении, которое не купишь ни за какие миллионы! Представьте: постаревший, больной диабетом Майкл пытается отмыть фамилию и легализовать империю через сделку с Ватиканским банком. Он хочет передать дела племяннику — горячему внебрачному сыну Сонни, Винсенту, но ставит жёсткое условие: тот должен отказаться от любви к дочери Майкла, Мэри.

Коппола замер с поднесённой ко рту сигарой, которая от изумления едва не вывалилась у него из пальцев.

— Постойте... Ватиканский банк? Сын Сонни? — просипел он, подаваясь вперёд всем корпусом. — А дальше?! Чем дело кончится?!

— А кончится всё в Сицилии, на ступенях оперного театра в Палермо, — продолжала Кира, не замечая, как вокруг них замерли даже осветители. — Майкл верит, что наконец очистился от грехов, но прошлое настигает его. Наёмный убийца стреляет на лестнице театра, но пуля попадает в его любимую дочь Мэри. И самый страшный крик Майкла на ступенях оперы — беззвучный, когда он держит её на руках. А спустя годы он умирает в полном одиночестве во дворе старого сицилийского дома, просто свалившись со стула, и рядом только маленькая собачка.

На площадке повисла такая гробовая тишина, что было слышно, как в кустах чирикает воробей. Дэниел Дэй-Льюис медленно выдохнул и с благоговением снял несуществующую шляпу, Вайнона Райдер прижала ладони к губам, а сам Фрэнсис Форд Коппола стоял бледный, как полотно, глядя на скромную московскую девушку так, словно перед ним явился сам дух Софокла в современной кофточке.

— Боже правый... — прошептал режиссёр, лихорадочно шаря по карманам в поисках карандаша. — Беззвучный крик на ступенях оперы... Это же гениально! Кира, дорогая, бросайте свою математику, я беру вас в соавторы на полный оклад!

И лишь двое людей в десяти шагах от них не впали в творческий экстаз. Маркус Торн, стоявший у фургона с аппаратурой рядом с Саймоном Греем, медленно опустил стаканчик с кофе и обменялся с напарником коротким, ледяным взглядом. Они только что услышали готовый сценарий фильма, о котором сам Коппола ещё утром не имел ни малейшего понятия.

Дневные съёмки затянулись до самых сумерек, и когда вечерняя прохлада окутала усадьбу, Коппола наотрез отказался отпускать дорогих гостей, затащив всех на ужин. В просторном шатре в глубине липовой аллеи зажгли гирлянды тёплых фонариков. Пахло жареным мясом, дорогим коньяком и влажной травой. Гусары и кирасиры давно разъехались по домам, и за длинным столом остались только свои: бабушка Алевтина, Кира, Андрей, актёры и сам маэстро. Исполнительный продюсер Маркус Торн и инженер Саймон Грей скромно примостились на самом краю — они почти не пили, лишь крутили в пальцах бокалы с содовой и с вежливыми улыбками навострили уши.

Режиссёр скинул твидовый пиджак, расстегнул воротник клетчатой рубашки и, откинувшись в плетёном кресле, с удовольствием раскурил свежую сигару.

— Знаете, друзья, глядя на эти тихие московские липы, я вспоминаю, какой кромешный ад творился в Нью-Йорке в семьдесят первом году, — заговорил Коппола, пустив к небу густое облако дыма. — Сейчас «Крёстный отец» — гордость студии. А тогда боссы Paramount хотели вышвырнуть меня с площадки каждый день. Но студия — это ещё цветочки. Хуже всего было, когда за дело взялись настоящие ребята из нью-йоркских семей. Сперва они требовали вычеркнуть из сценария слово «мафия», били стёкла в наших машинах. А потом им, наоборот, так понравился размах, что они решили: картину надо выпустить в прокат как можно скорее, чтобы весь мир поглядел на их величие.

Режиссёр глотнул коньяку и обвёл взглядом притихших собеседников.

— Как-то поздним вечером возвращаюсь я один со студии монтажа в Бруклине, — понизил голос Коппола. — Иду через старый мост над Ист-Ривер. Вдруг рядом с визгом тормозит чёрный «Кадиллак». Выскакивают трое амбалов в длинных плащах, скручивают меня так, что я и мяукнуть не успел, переваливают через перила моста и хватают за лодыжки!

Вайнона Райдер ахнула, а бабушка Алевтина возмущённо всплеснула руками:

— Боже мой, Фрэнсис, какой варварский произвол!

— Вишу я вниз головой над чёрной ледяной водой, кровь прилила к лысине, в ушах шумит, — продолжал Коппола, дирижируя сигарой. — А один из них наклоняется через перила и так ласково, с сицилийским прононсом мурлычет: «Слушай сюда, режиссёр. Наш дон очень хочет поглядеть кино про нашу семью к Рождеству. Если ты не поторопишься со съёмками, в следующий раз мы отпустим левую ногу, а потом правую. Capisce?»

За столом повисла секунда тишины, а затем все дружно грохнули от смеха — уж больно артистично маэстро изобразил голос гангстера.

— И как вы выкрутились? — спросил Андрей, невольно поглядывая на часы.

— Пришлось монтировать по восемнадцать часов в сутки, — улыбнулся Коппола. — Нервы у всей группы звенели как струны. На площадке стояла такая похоронная тишина, будто мы и впрямь хоронили настоящего дона, а не снимали кино. Я сам уже готов был лезть на стену. И знаете, кто спасал нас от коллективного помешательства? Великий Марлон Брандо!

Дэниел Дэй-Льюис усмехнулся в усы, явно зная эту голливудскую байку, а Вайнона Райдер с любопытством подалась вперёд.

— Марлон ведь был страшным хулиганом, — с теплотой в голосе продолжал Коппола. — Когда он видел, что у меня от усталости уже дёргается глаз, а массовка спит на ходу, он выжидал самую драматическую паузу — прямо в своём строгом чёрном смокинге дона Вито Корлеоне, с седыми висками и ватой за щеками. Потом с самым царственным, невозмутимым видом поворачивался к камере и ко всей съёмочной группе спиной, низко наклонялся, одним движением сдёргивал брюки и во всей красе демонстрировал нам свой голый зад!

Бабушка Алевтина ахнула, густо покраснев, но тут же не выдержала и рассмеялась в кружевной платочек, а Кира и Андрей хохотали в голос вместе с актёрами.

— Представляете эту картину?! — разводил руками Коппола, сам покатываясь со смеху. — Грозный крёстный отец сицилийской мафии, перед которым трепещет весь Нью-Йорк, стоит

нагнувшись без штанов посреди павильона! После такой разрядки вся группа лежала вповалку, напряжение снимало как рукой, и мы могли работать ещё шесть часов подряд!

Отсмеявшись, режиссёр повернулся к Кире, снова становясь серьёзным:

— Так что после гангстеров на мосту и проделок Брандо никакие ваши российские бюрократы мне не страшны. Но вот твоя идея для третьей части, Кира... Знаешь, она не выходит у меня из головы. Откуда в тебе такое точное чувство сицилийской трагедии, а?

Кира смутилась, почувствовав, как под столом Андрей осторожно сжал её колено, предупреждая о лишних словах.

— Просто очень люблю ваши первые два фильма, мистер Коппола, — уклончиво ответила она. — И, наверное, сработала математическая логика: любое уравнение должно приходить к закономерному финалу.

— Прекрасный ответ, — раздался с края стола ровный, бархатный голос Маркуса Торна. Он поднялся с бокалом в руке и с безупречной вежливостью кивнул своему напарнику Саймону Грею, который тут же обратился к Андрею: — Прошу прощения, что прерываем столь увлекательную беседу. Андрей, Маркус сказал мне, что вы занимаетесь квантовой оптикой и лазерами. Дело в том, что наша американская проекционная установка в соседнем фургоне весь вечер даёт странный сбой — словно рядом работает какой-то мощный посторонний резонатор. Не окажете ли любезность взглянуть на приборы свежим взглядом специалиста?

Андрей и Кира переглянулись. В тихом, благополучном девяносто втором году никто в Москве не мог знать слова «резонатор» применительно к их тайне — если только эти двое вежливых голливудских продюсеров не искали их намеренно.

Глава пятая, в которой ночная Москва хранит тревожные тайны, медный прибор угасает, а единственная надежда скрывается в стенах академического института

Ужин в усадьбе на Пречистенке закончился за полночь. Вежливо уклонившись от приглашения Маркуса Торна и Саймона Грея пройти в фургон с аппаратурой — сославшись на поздний час и утреннюю лекцию в институте, — Андрей взял Киру под руку, и они поспешили проститься с маэстро Копполой и растроганной бабушкой Алевтиной.

Однако стоило им выйти за чугунные ворота усадьбы на пустынную, залитую ровным светом фонарей Пречистенку, как оба словно по команде ускорили шаг, то и дело оглядываясь по сторонам. Тихая, благополучная Москва девяносто второго года вдруг перестала казаться им уютной гаванью.

— Ты видел их глаза, Андрей? — заговорила Кира, едва они захлопнули за собой тяжёлую дверь квартиры на Ломоносовском проспекте и щёлкнули английским замком. — Когда я, дура набитая, разболтала Копполе весь сюжет «Крёстного отца», этот Торн и его приятель-инженер переглянулись так, словно я только что выдала им шифр от сейфа Пентагона!

— А вопрос Грея про резонатор? — мрачно отозвался Андрей, снимая пиджак и проходя в гостиную. — В этом мире ни один киношник не употребит это слово применительно к осветительным софитам! Они никакие не продюсеры, Кира. Они знают, кто мы, и они ищут наш прибор. Я почти уверен, что от самой Пречистенки за нашим такси хвостом шёл тёмно-синий «Форд».

Не зажигая верхнего света, чтобы не привлекать внимания с улицы, Андрей прошёл к старинному книжному шкафу, отодвинул нижнюю полку и извлёк из тайника тяжёлый кожаный футляр. Опустив его на письменный стол, он откинул крышку и включил зелёную настольную лампу.

В тусклом свете тускло блеснула полированная медь, кварцевые линзы и стеклянная трубка самодельного хроно-резонатора. Андрей подсоединил к клеммам маленький лабораторный тестер, щёлкнул тумблером — и лицо его мгновенно потемнело. Стрелка прибора едва

заметно дрогнула у самого нуля, а внутри стеклянной трубки вместо привычного, живого рубинового сияния промелькнула лишь слабая, угасающая розовая искра.

— Плохо дело, Кира, — глухо произнёс он, откладывая щупы тестера. — Двойной переход из Цюриха выжал кварцевый накопитель досуха. Прибор почти полностью разрядился. Здесь не хватит энергии даже на один короткий скачок в прошлое, не говоря уже о том, чтобы вернуться обратно.

Кира опустилась в кресло, обхватив плечи руками. В комнате повисла тяжёлая тишина, нарушаемая лишь тиканьем настенных часов.

— А ведь нам нужно сделать именно двойной прыжок, Андрей, — тихо, но с твёрдой решимостью произнесла она, глядя на угасший прибор. — Я всё обдумала за эти дни. Мы не сможем стать здесь счастливыми. Этот гладкий, сытый рай — чужой, мы в нём призраки с украденной памятью, а теперь за нами ещё и охотятся американцы.

— Но как вернуть всё назад? — Андрей присел на край стола напротив неё. — Даже если мы попадём в октябрь четырнадцатого года, Ленин уже знает о тебе, он уже вцепился в твои идеи!

— Нет, — покачала головой Кира. — Вся его новая программа держится на той самой тетради, которую он унёс из гостиной Навроцких в октябре. До революции остаётся ещё три года бурь, подполья и арестов. Без точных записей и расчётов, которые он унёс в кармане, он не сможет удержать партию от прежнего пути — всё пойдёт по нашему настоящему, суровому руслу. Мне нужно вернуться в тот самый цюрихский вечер, незаметно выкрасть или подменить эту тетрадь у Ленина, пока мы не исчезли — и тут же вместе с тобой прыгнуть обратно в наш настоящий девяносто второй год!

— Задумка дерзкая, — вздохнул Андрей, поглядывая на мёртвый резонатор. — Но для такого двойного скачка сквозь семьдесят восемь лет нам потребуется колоссальный импульс энергии. Домашняя розетка и старые конденсаторы тут не помогут — мы просто спалим проводку во всём доме. Нужен мощный промышленный квантовый генератор.

Оба на мгновение замолчали, и в один и тот же миг их взгляды встретились. Имя единственного человека в этой реальности, который мог им помочь, повисло в воздухе без всяких слов.

— Академик Целовский-младший, — одновременно выдохнули они.

— Внук нашего старого чудака с Мясницкой, — оживился Андрей, начиная быстро расхаживать по комнате. — Он возглавляет Государственный институт квантовой оптики и энергетики — тот самый, который его дед основал по договору с Лениным в восемнадцатом году! В их подземных лабораториях стоят сверхмощные импульсные лазеры, о которых в нашем мире физики могли только мечтать!

— Но согласится ли он помочь нам? — усомнилась Кира. — Ведь его дед дал слово Ленину навсегда закрыть опыты со временем и уничтожил все чертежи!

— Внук — настоящий учёный, Кира. Я видел его глаза у подъезда института в первый день: он сразу почуял, что мы непростые гости, — уверенно сказал Андрей. — В семейном архиве Целовских наверняка сохранилась легенда о цюрихском эксперименте и о девушке из будущего. К тому же, если мы объясним ему, что за нами по пятам идут агенты ФБР, охотящиеся за технологией его деда, он ни за что не отдаст семейную тайну американцам!

Решение было принято. Уложив разряженный резонатор в неприметный брезентовый рюкзак, Кира и Андрей договорились, что с первым же утренним светом, не заходя ни на лекции, ни в свои лаборатории, отправятся прямиком в кабинет академика Целовского — пока вежливые «кинопродюсеры» Маркус Торн и Саймон Грей и их люди не успели захлопнуть вокруг них ловушку.

Глава шестая, в которой синьор Коппола не спит до рассвета, Кира едва не теряет голову от вальса, а бальный зал погружается во тьму под итальянские проклятия

Утром в квартире на Ломоносовском проспекте ни свет ни заря зазвонил телефон. Андрей, дежуривший у окна, за которым в утреннем тумане чернел знакомый «Форд» наружного наблюдения ФБР, вздрогнул и кивнул Кире.

Кира сняла трубку — и в тот же миг из мембраны на неё обрушился густой, взволнованный баритон с характерным итальянским акцентом, в котором слышались и бессонная ночь, и священный творческий восторг:

— Кира, дорогая моя, простите ради бога за столь ранний звонок, но я не сомкнул глаз ни на минуту! — гремел в трубке Фрэнсис Форд Коппола. — У меня перед глазами всю ночь вспыхивали кадры третьей части «Крёстного отца»! Этот Ватиканский банк, старый больной Майкл, ступени оперы в Палермо... *Madonna mia*, я вижу эту картину целиком! Умоляю, если вы не заняты сегодня утром, приезжайте ко мне на площадку, привезите ваши наброски и записи!

Кира на секунду замерла, глядя на Андрея, а затем в голове её мгновенно сложился дерзкий, спасительный план.

— Мистер Коппола, у меня нет никаких записей на бумаге, — мягко ответила она. — Но я с радостью приеду прямо сейчас, и мы всё подробно обсудим за чашкой кофе. Есть только одна маленькая просьба: не могли бы вы прислать за мной и Андреем ваш закрытый студийный лимузин с тонированными стёклами? На улице сегодня ужасно промозгло.

— *Subito!* Немедленно! — вскричал маэстро. — Через двадцать минут машина с охраной студии будет у вашего подъезда!

Саймон Грей и Маркус Торн, перехватившие звонок через аппаратуру прослушки, попали в собственную ловушку. Запретить режиссёру везти «соавтора» на площадку они не могли, не раскрыв своего прикрытия, а тонированный лимузин «Атлантик-Пикчерз» беспрепятственно проехал мимо постов наружного наблюдения. В салоне на коленях у Андрея скромно покоился брезентовый рюкзак с разряженным хроно-резонатором.

На съёмочной площадке в усадьбе на Пречистенке с самого утра кипела работа: готовили главную массовую сцену — первый бал Наташи Ростовой. Коппола встретил Киру как родную дочь, увёл в свой режиссёрский шатёр и полтора часа, жадно дымя сигарой и исписывая блокнот, расспрашивал её о деталях трагедии семьи Корлеоне. Маркус Торн и Саймон Грей крутились неподалёку, но подойти ближе не решались — маэстро рычал на любого, кто смел прервать его творческий транс.

Когда блокнот был исписан до последней страницы, растроганный Коппола с чувством сжал обе руки Киры:

— Кира, *bambina*, я хочу отблагодарить вас! Предлагать деньги внучке русской аристократки было бы оскорблением и мелочностью. У меня есть подарок получше: сегодня мы снимаем первый бал Наташи, а у меня с утра слегла с ангиной актриса на роль её кузины Сони! Роль без слов — нужно просто стоять в бальном платье рядом с Вайноной и смотреть, как танцует Болконский. Сделайте мне честь, войдите в историю кино!

Кира растерялась, но поймав быстрый, одобрительный взгляд Андрея, поняла: вот он, единственный шанс затеряться в толпе и ускользнуть от Торна и Грея!

Через полчаса костюмеры затянули Киру в воздушное шёлковое платье ампир цвета утренней зари, соорудили на голове высокие локоны с жемчужной нитью и вывели в огромный, сияющий сотнями свечей и софитов бальный зал усадьбы. И тут на Киру напал такой лютый, ледяной мандраж, какого она не испытывала даже на допросе в московской охранке в четырнадцатом году. Под прицелом трёх огромных кинокамер, в окружении сотни разодетых статистов и знаменитостей у неё задрожали колени, во рту пересохло, а руки словно налились свинцом.

Но стоило ей занять своё место у мраморной колонны, как рядом оказалась хрупкая Вайнона Райдер. Заметив, что новая «кузина Соня» готова вот-вот упасть в обморок, Вайнона незаметно для камер крепко сжала её ледяные пальцы своей тёплой ладошкой и лукаво шепнула на ухо:

— Эй, не дрейфь! Представь, что мы с тобой на рок-концерте, а эти ребята с камерами — просто зрители в первом ряду. Просто улыбайся мне!

А в следующую секунду мимо них торжественной, упругой походкой прошествовал Дэниел Дэй-Льюис в ослепительно белом кавалергардском мундире. Не выходя из образа князя Андрея ни на миллиметр, он на мгновение склонил голову в безупречном аристократическом поклоне, посмотрел на Киру своими глубокими, проницательными глазами и тихо произнёс по-русски с лёгким, благородным акцентом:

— Держите спину, кузина Соня. Весь этот свет сегодня смотрит только на нас.

И грянула музыка. Симфонический оркестр, укрытый за живой изгородью из оранжерейных пальм, заиграл такой упоительный, кружащий голову вальс, что у Киры захватило дух. В свете сотен восковых свечей зашуршали шёлковые шлейфы, зазвенели шпоры, закружились в зеркалах блестящие пары. Кире до слёз, до щемящей боли в груди захотелось забыть обо всём на свете — отдаться этой волшебной музыке, впитать каждый звук и блеск этого сказочного бала, в который она попала вопреки всем законам физики. *Но холодный разум математика неумолимо напоминал: у выходных дверей уже маячат мрачные фигуры Маркуса Торна и Саймона Грея. Кира бросила долгий, прощальный взгляд на статную, сияющую бабушку Алевтину у колонны — она знала, что видит её такой живой и счастливой в последний раз, но иного выбора не оставалось...»*

Едва Коппола крикнул в мегафон «Стоп! Снято!», американские агенты шагнули в зал, пробираясь сквозь толпу к Кире. Но Андрей, незаметно прокравшийся к щитовой и фургону реквизиторов с рюкзаком за плечом, действовал молниеносно.

Сначала он «случайно» задел локтем столик с пиротехническими дымовыми шашками, приготовленными для сцены пожара Москвы, и щёлкнул запалом — в ту же секунду из-под портьер повалили густые, непроглядные клубы белого дыма. А в следующее мгновение Андрей ухватился за толстые резиновые кабели у распределительного щита и с силой рванул их из разъёмов.

Брызнул сноп синих искр, и огромный бальный зал мгновенно погрузился в кромешную, абсолютную тьму!

И тут началось такое светопреставление, какое не снилось ни Льву Толстому, ни самому Булгакову. В темноте и густом дыму поднялся невообразимый гвалт: придворные фрейлины завизжали пронзительным фальцетом, какой-то дородный «генерал» с грохотом рухнул в кадку с оранжерейным фикусом, запутавшись в собственной сабле, двое гусар столкнулись лбами и покатились по паркету, опрокинув поднос с бутафорским шампанским, а массовка, обрадованная внезапным весельем и срывом утомительной съёмки, принялась хохотать, свистеть и улюлюкать в темноте.

Над всем этим хаосом, перекрывая визги и грохот, в мегафоне загремел отчаянный, срывающийся на фальцет голос Фрэнсиса Форда Копполы, который в порыве праведного гнева начисто забыл английский язык:

— *Porca miseria! Mannaggia la miseria!* Кто откусил провода, *diavolo*?! Всем стоять на месте! *Tutti fermi!* Не двигаться, безголовые макаронники, вы же мне в темноте все кринолины порвёте и Бородинскую панораму растопчете! *Madonna santa*, дайте свет! Где этот чёртов электрик?!

Под аккомпанемент этих сочных итальянских проклятий, всеобщего хохота и звона бьющейся посуды Андрей на ощупь пробрался к мраморной колонне, поймал Киру за руку по шуршанию её шёлкового платья и увлёк за собой. Прямо в пышном бальном наряде кузины Сони, придерживая подол обеими руками и сверкая атласными туфельками, Кира выскользнула вслед за ним через чёрный ход сада в пустынный переулок, где они поймали первое попавшееся такси и помчались в Институт квантовой оптики к академику Целовскому-младшему.

Такси с визгом затормозило у стеклянно-гранитного портала Государственного института квантовой оптики и энергетики имени А. В. Целовского. Ошарашенный таксист ещё долго провожал взглядом странную парочку: молодого человека в помятой куртке с брезентовым рюкзаком за плечом и бледную девушку, которая выпорхнула из машины в пышном шёлковом бальном платье ампир цвета утренней зари и атласных туфельках, придерживая подол обеими руками.

Миновав растерянного вахтёра благодаря пропуску Андрея, они взлетели на пятый этаж, проскочили мимо ошеломлённого секретаря и ворвались прямо в просторный, пахнущий старыми книгами, трубочным табаком и озоном кабинет директора.

Академик Андрей Викентьевич Целовский-младший — сухощавый, седовласый старик с живыми, проницательными глазами и такой же аккуратной бородкой клинышком, как у его знаменитого деда на портрете над столом, — не выказал ни малейшего изумления при виде необычных гостей. Едва тяжёлая дубовая дверь за ними затворилась, он снял очки в тонкой золотой оправе, оглядел Киру в наряде девятнадцатого века и тихо усмехнулся:

— А я, признаться, поджидал вас ещё вчера. Дед оставил в семейном архиве запечатанный пакет, вскрыть который завещал в сентябре девяносто второго года. Там значилось: *«Ежели явятся двое, чьи очи помнят другой, горький век, — выслушай их без утайки и ведай цену времени»*.

Не теряя ни минуты, Андрей выложил на зелёное сукно академического стола брезентовый рюкзак, извлёк оттуда потухший медный хроно-резонатор и сбивчиво, перебивая себя, рассказал старому учёному всё: и про охоту заокеанских сыщиков Торна и Грея, и про выдохшийся кварцевый кристалл, и про их твёрдое желание подключить прибор к институтскому квантовому генератору, чтобы вернуться в октябрь четырнадцатого года, незаметно забрать у Ленина заветную тетрадь и шагнуть обратно в свой настоящий, суровый 1992 год.

Академик Целовский долго молчал, поглаживая бородку и глядя на знакомые по дедовским чертежам кварцевые линзы. Затем он тяжело вздохнул и поднял на них строгий, испытующий взгляд:

— Откройте вам стальные врата в подземный бункер к реактору? Вы и впрямь намерены стереть этот наш мир и вернуть колесо истории в прежнюю колею? Вы хоть отдаёте себе отчёт, какую кровавую кашу собираетесь заварить заново?

Кира горько усмехнулась и сжала пальцы на подлокотнике кожаного кресла, расправив шуршащие складки бального шёлка.

— Мы не просто отдаём отчёт, Андрей Викентьевич — мы в этой каше выросли, — тихо ответила она. — Но это *наш* мир, понимаете? Наш настоящий дом, со всеми его шрамами и болями!

— Помилуйте, голубушка, но ведь после семнадцатого года у вас там разверзся настоящий ад! — возразил Целовский, подаваясь вперёд. — По дедовским записям я знаю лишь в общих чертах, что ожидало Россию без вашей тетради. Но вы-то, люди оттуда, неужели не помните, чем обернулась та дорога?

Кира и Андрей переглянулись, морща лоб и с трудом выуживая из памяти сухие строчки институтских лекций по истории, которые в их прежней жизни казались такими далёкими, а теперь вдруг обрели страшную, осязаемую плоть.

— Помним, конечно... — неуверенно начала Кира. — Сразу после октября семнадцатого всё посыпалось как карточный домик. Вспыхнула Гражданская война, навалилась иностранная интервенция с четырёх сторон...

— Да и внутри страны начался полный развал! — подхватил Андрей, перебивая её и начиная быстро ходить по кабинету. — Старая буржуазия, чиновники и инженеры ушли в глухой саботаж. Заводы и фабрики встали, транспорт парализовало, в Петрограде и Москве начался жуткий голод!

— А крестьяне наотрез отказывались везти хлеб в города! — добавила Кира. — Зачем им было отдавать зерно за обесцененные бумажки, когда городу совершенно нечего было предложить деревне взамен? Ни ситца, ни керосина, ни гвоздей!

— Вот-вот! — щёлкнул пальцами Андрей. — И чтобы спасти республику от гибели и накормить армию, Ленину пришлось ввести политику «военного коммунизма»: запретить частную торговлю, послать в деревню продотряды, силой выгребать хлеб по продразвёрстке!

— И полыхнули крестьянские восстания, а в двадцать первом году грянул страшный голод, унёсший миллионы жизней, — глухо продолжила Кира, опуская глаза. — А потом, Андрей Викентьевич, чтобы западные державы прекратили поддерживать белое движение и сняли блокаду, Советской России пришлось отдать им почти весь золотой запас империи! Эшелоны царского золота ушли за границу за гроши... А дальше — высылка кулаков, жестокая коллективизация, тридцать седьмой год...

Академик Целовский слушал их, не перебивая, и в его глазах сквозь стёкла очков светилась глубокая, почти булгаковская печаль мудреца.

— А теперь выслушайте меня, дорогие мои путешественники, — негромко произнёс он, сцепив сухощавые пальцы на столе. — Ваш визит в Цюрих вовсе не превратил нашу историю в лёгкую прогулку. В октябре семнадцатого перед Лениным разверзлись ровно те же бездны. Но в нагрудном кармане у него лежала ваша тетрадь, Кира! Он знал наперёд, где порвётся тонкая нить. В первые же дни после переворота Владимир Ильич наотрез запретил разгонять старую техническую интеллигенцию и вызвал в Смольный крупнейших русских промышленников и банкиров — братьев Рябушинских, текстильных магнатов Морозовых и бывшего министра торговли Коновалова.

— И он сумел с ними договориться? — недоверчиво переспросил Андрей.

— Ещё как! — кивнул академик. — Ленин предложил им жёсткий, но честный договор: государство берёт под контроль армию, железные дороги, недра и тяжёлую индустрию, но фабриканты сохраняют свои заводы лёгкой промышленности, торговые дома и честную прибыль, ежели немедленно запустят станки для снабжения страны. Более того, он привлёк к работе лучших русских инженеров — Генриха Графтио и Глеба Кржижановского, которые сразу взялись за электрификацию и восстановление транспорта.

— И заводы не встали... — прошептала Кира.

— Ни на один день! — с гордостью ответил Целовский. — Мануфактуры Морозовых гнали ситец, заводы Коновалова давали керосин, гвозди и плуги, а вместо обесцененных бумажек государство сразу ввело твёрдый, обеспеченный золотом рубль. У города нашлось что дать русскому мужику в обмен на хлеб! Не понадобились ни продотряды, ни продразвёрстка — зерно потекло в Петроград и Москву по рыночным ценам. Белое движение сдулось, не найдя опоры в народе, иностранная интервенция захлебнулась, а царское золото осталось в казне страны! Правда, пройти по лезвию ножа оказалось куда труднее внутри собственной партии. Иосиф Сталин сколотил целую коалицию радикалов, которые яростно возражали против ленинского курса и сохранения буржуазии. В двадцать втором году Сталин попытался поднять вооружённый мятеж — но Ленин, вооружённый вашей тетрадью, ударил первым. Мятеж подавили за одну ночь, а Сталин и его ближайшие соратники были расстреляны по приговору три-

бунала. А чуть позже, разгромив на съезде левую оппозицию, Ленин без лишнего шума выслал за рубеж и Троцкого, клеймившего его отступником от мировой революции.

Кира слушала, затаив дыхание, но вдруг взгляд её скользнул за спину академика — на огромную политическую карту мира, висевшую во всю стену. Кира сделала шаг ближе — и кровь отлила от её лица. Европа на этой карте была перекроена страшными, рваными шрамами: от самого Рейна до Одера тянулась широкая, заштрихованная красным полоса с надписью «Зона особого режима и карантина», а на полях висела таблица: *«Вторая мировая война: 1939–1948 гг.»*.

— Что это значит?! — прошептала Кира, чувствуя, как подкашиваются ноги. — Почему война кончилась в сорок восьмом?!

— А вы как думали, милочка? — жёстко усмехнулся Целовский-младший, и в его голосе вдруг исчезла всякая мягкость, сменившись ледяным, фанатичным металлом. — Ленин пощадил буржуазию, расстрелял Сталина и отказался от жестокой, надрывной индустриализации тридцатых годов. Страна жила сыто, варила масло вместо пушек и строила особняки вместо танковых заводов! И когда в сорок первом на нас обрушилась вся военная машина объединённой Европы, у России не оказалось ни уральских гигантов, ни тысяч танков! Мы воевали девять долгих, кровавых лет — до самого сорок восьмого, пока не выжгли пол-Европы атомным огнём! Вот цена вашего «мягкого пути»!

— Но тем не менее этот мир выстоял и стал властелином планеты! — продолжал академик, отступая к столу и тянясь рукой к скрытой кнопке тревоги. — И я ни за что не дам вам уничтожить его! Я не стану вам помогать. Ваш резонатор и вы сами сегодня же перейдёте в распоряжение специального отдела госбезопасности!

— Андрей Викентьевич, опомнитесь! — бросился к нему Андрей, пытаясь преградить путь к столу и убедить старика. — Посмотрите на эту карту! Это тупик, этот мир держится на штыках и радиации, мы должны вернуть всё на свои места, пока...

Андрей не успел договорить. За дубовой дверью в приёмной грохнули два глухих, приглушённых выстрела, зазвенело разбитое стекло, и раздался короткий вскрик секретаря. Тяжёлая дверь распахнулась от мощного удара ноги, и в кабинет ворвались запыхавшиеся, разъярённые после погони от Пречистенки Маркус Торн и Саймон Грей с бесшумными пистолетами в руках.

— Руки вверх, господа учёные! Охрана внизу нейтрализована! — рявкнул Саймон Грей, переводя чёрный ствол с ошеломлённого академика на Андрея и на замершую у карты Киру в её ослепительном бальном платье. — Спектакль окончен. Отдайте прибор, и никто не пострадает.

Глава седьмая, в которой бальное платье спускается в подземелье, пуля превращается в серебряную пыль, а рубиновый луч возвращает историю в прежнее русло

Дуло бесшумного пистолета Саймона Грея застыло в метре от груди Андрея, а Маркус Торн, закрыв за собой дубовую дверь кабинета и пряча во внутренний карман поддельные пропуска Министерства культуры, по которым они беспрепятственно прошли сквозь институтскую охрану под видом консультантов киностудии, брезгливо усмехнулся, окинув взглядом пышный наряд Киры:

— Надо же, как мило. Графиня Ростова собственной персоной. Я же говорил тебе, Саймон, что у этих русских всегда в запасе дешёвый театральный фокус. Рюкзак на стол, живо!

Академик Целовский-младший стоял ни жив ни мёртв, прижавшись спиной к страшной карте Европы, и смотрел на непрошеных гостей с выражением крайнего омерзения. Андрей же, внешне покорно поднимая руки, исподлобья оценивал расстояние до стола. Между ним и дулом пистолета стояло тяжёлое дубовое кресло академика, а на лацкане пиджака старика поблёскивал магнитный ключ от подземного уровня.

— Саймон, забери прибор и обыщи парня, — приказал Торн, не сводя холодных глаз с Киры. — Если дёрнется — прострели ему колено, он нам живым не особо нужен. Нам нужна только девчонка и её память.

Грей шагнул к столу, протянув левую руку за брезентовым рюкзаком. Этой доли секунды Андрею хватило. Резким, отчаянным движением ноги он с размаху толкнул тяжёлое кресло на колёсиках прямо под ноги Грею, одновременно рванув с лацкана оторопевшего академика магнитный ключ и схватив со стола рюкзак.

Грей с проклятием рухнул на паркет, запутавшись в ножках кресла, и выстрелил вслепую — пуля с сухим треском разнесла хрустальный графин на столе.

— В лифт! Скорее! — крикнул Андрей, хватая Киру за руку.

Кира, забыв обо всякой светской чинности, обеими руками подхватила пышный шёлковый подол бального платья ампир и вихрем вылетела вслед за Андреем в боковую дверь, ведущую к служебному лифту. В тот самый миг, когда тяжёлые стальные створки кабины начали сходиться, в коридор выскочил разъярённый Маркус Торн. Две пули с глухим звоном сплющились о сталь закрывшихся дверей, и кабина стремительно понеслась вниз, на минус четвёртый уровень, в святая святых института — зал промышленного квантового реактора.

Выскочив в огромный, гудящий от низкочастотной вибрации бетонный зал, в центре которого под толстым стеклянным куполом переливалось холодным синеватым пламенем сердце лазерной установки, Андрей подбежал к главному распределительному пульту.

— Кира, держи медные клеммы! Я подключаю наш резонатор напрямую к импульсному накопителю! — кричал он сквозь нарастающий гул турбин, лихорадочно скручивая провода и выставляя на латунном лимбе координаты октября четырнадцатого года. — Семь секунд на зарядку — мы прыгаем в Цюрих, уничтожаем тетрадь, пока Ленин её не унёс, и сразу домой!

Кира, в своём растрёпанном бальном платье и сбившейся жемчужной нитью в волосах, крепко сжимала тяжёлый силовой кабель, глядя на индикатор заряда, где стрелка стремительно ползла вверх. В голове её не осталось ни тени сомнений: страшная карта Европы, выжженной атомным огнём до сорок восьмого года, стояла перед глазами как приговор. Этот «идеальный» мир держался на чудовищной цене, и её долг перед собственным временем был ясен как день.

И тут с оглушительным лязгом и снопом автогенных искр распахнулись бронированные двери бункера. На пороге стояли запыхавшиеся Маркус Торн и Саймон Грей с пистолетами наизготовку.

— Стоять, оба! Ни с места! — рявкнул Грей, целясь прямо в спину Андрею. — Отойди от пульта, парень, или я разнесу тебе позвоночник!

— Не стреляй, Саймон, реактор разнесёт к чертям! — быстро бросил Торн, делая осторожный шаг вперёд и растягивая губы в своей фирменной циничной улыбке. — Послушайте меня, Кира, Андрей. Зачем вам возвращаться в вашу нищую, разваливающуюся страну, где по улицам бродят бандиты, а деньги превращаются в бумагу? Отдайте прибор нам. В Вашингтоне вас осыплют золотом, дадут лучшие лаборатории, виллу у океана. Не будьте дураками!

Кира подняла голову и посмотрела прямо в холодные серые глаза американца. В её взгляде вдруг проснулась та самая гордая, неукротимая сила, с какой она когда-то смотрела в лицо жандармам в зале московского суда.

— Мы не торгуем Родиной, господин продюсер, — звонко ответила она. — Ни старой, ни новой. Включай, Андрей!

С этими словами Кира обеими руками с силой вдавила медную клемму в гнездо накопителя, а Андрей рванул вниз главный рубильник.

Подземный зал залило ослепительным, нестерпимым рубиново-золотым сиянием. Воздух запел высоким, хрустальным звоном, от которого заложило уши. Саймон Грей в ярости спустил курок, но пуля, попав в закручивающуюся воронку хроно-луча, на глазах у остолбеневших американцев рассыпалась в мелкую серебристую пыль.

— Прыгаем! — крикнул Андрей, обнимая Киру за плечи и хватая раскалившийся докрасна резонатор.

В последнюю секунду, прежде чем ослепительный портал схлопнулся, оставив Маркуса Торна и Саймона Грея в пустом, дымящемся бункере прямо под дулами ворвавшихся сверху бойцов русской контрразведки, пространство вокруг Киры и Андрея закружилось в стремительном, беззвучном вихре.

Октябрь четырнадцатого года в Цюрихе встретил их пронизывающим до костей сырым туманом с озера и густым перезвоном трамваев на Банхофштрассе. Возникнув в тёмном переулке за углом от университетского пансиона, Кира и Андрей в первую же секунду поняли, что опоздали: тяжёлая дубовая дверь пансиона как раз захлопнулась, и по мокрой брусчатке быстрым, деловитым шагом удалялся невысокий коренастый человек в чёрном котелке и распахнутом пальто, прижимающий к груди тугой кожаный портфель.

— Унёс! — выдохнула Кира, чувствуя, как леденеют пальцы. — Тетрадь у него в портфеле! Если он дойдёт до конспиративной квартиры на Шпигельгассе и перепишет таблицы — всё пропало!

— Не дойдёт, — мрачно усмехнулся Андрей, оглядывая пустынную вечернюю улицу и пристраиваясь следом. — Держись за мной и подыгрывай.

Они нагнали Владимира Ильича у самого входа в уютную, пропахшую корицей, табачным дымом и свежими газетами швейцарскую кофейню «Одеон», куда вождь мировой революции имел привычку заглядывать по вечерам, чтобы просмотреть свежую прессу и сыграть партию в шахматы. Ленин уже уселся за угловой столик у мраморной колонны, положил портфель рядом на плюшевый диван и погрузился в чтение «Нойе Цюрхер Цайтунг», прихлёбывая горячий кофе из крошечной чашки.

План созрел мгновенно. Пока Андрей с самым невозмутимым видом прошёл вглубь зала и присел за соседний столик, раскрыв газету, Кира — всё ещё в своём шёлковом бальном платье ампир, накинув поверх плеч куртку Андрея — стремительно подошла к столику Ленина.

— Владимир Ильич! Слава богу, я вас застала! — воскликнула она взволнованным шёпотом, присаживаясь напротив.

Ленин вздрогнул, поверх газеты сверкнул на неё острым, прищуренным взглядом и мгновенно узнал недавнюю гостью из будущего:

— Батенька мой... Кира?! Вы снова здесь? Что стряслось? Неужели в расчётах прокралась ошибка?!

— Хуже, Владимир Ильич! — с самым трагическим видом зашептала Кира, бросая тревожные взгляды на входную дверь. — Царская охранка выследила наш пансион! Два филёра в штатском только что расспрашивали швейцара о «русском господине в котелке»! Они идут сюда с обыском!

Брови Ленина мгновенно сдвинулись. Будучи старым, битым конспиратором, привыкшим всю жизнь уходить от слежки, он поверил этой новости без малейших колебаний.

— Вот как? Негодяи и до Цюриха добрались! — глухо бросил он, машинально схватившись за ручку портфеля.

И в ту же секунду у соседнего столика грянул спектакль. Андрей, дождавшись нужного момента, громко чихнул, опрокинул на пол медный поднос с кофейником и, вскочив на ноги, принялся по-немецки с жаром спорить с подбежавшим кельнером, размахивая газетой и загородив собой проход к колонне.

Ленин на одно мгновение обернулся на грохот, прикидывая пути отхода через чёрный ход кофейни, — и этого мгновения Кире хватило. Бесшумно щёлкнув замком портфеля, она вытащила заветную кожаную тетрадь и спрятала её под курткой.

— Уходите через кухню, Владимир Ильич, я задержу их у входа! — шепнула она.

— Благодарю, милая Кира! Славная вы конспираторша! — быстро пожал ей руку Ленин, подхватил полегчавший портфель и быстрым, кошачьим шагом скрылся за дверью в глубине зала, даже не подозревая, что его главное сокровище осталось в руках беглянки.

Не теряя ни секунды, Кира и Андрей выскользнули из кофейни в глухой, заросший плющом тупик за собором Гроссмюнстер. Достав из кармана зажигалку, Андрей чиркнул колёсиком, и Кира поднесла к синему язычку пламени толстую кожаную тетрадь. Сухие страницы, на которых была записана иная, выглаженная судьба целого века, вспыхнули жадным оранжевым огнём; пепел закружился в сыром цюрихском воздухе и осел на мокрый булыжник.

Когда догорел последний уголок переплёта, Андрей достал из рюкзака раскалившийся докрасна резонатор, обнял Киру за плечи — и через мгновение рубиновый луч прочертил воздух в последний раз.

— Ну что, — тихо улыбнулся он, стискивая её ладонь. — Пойдём домой? На Старом Арбате у стены Цоя нас, наверное, уже заждались.

Глава восьмая, в которой на Лубянке развевается чужой флаг, учебник истории рассказывает о потсдамской измене, а двое пришельцев отправляются на поиски забытого учёного

Очнулись они на знакомой, облупленной чугунной скамье напротив станции метро «Лубянка» — но первое, что ударило в глаза Кире, когда рассеялся последний рубиновый отблеск, была не родная советская вывеска «Детский мир», а огромное, во весь фасад серого здания бывшего КГБ полотнище с белыми звёздами и красно-белыми полосами, вяло полоскавшееся на сыром осеннем ветру.

Сказка закончилась — исчезло роскошное бальное платье, уступив место её старой джинсовой юбке и тёплой кофте, а в кармане нащупался потрёпанный советский паспорт с пропиской в родной квартире. У ног их на асфальте лежал окончательно выгоревший, почерневший от перегрузки медный резонатор Целовского — стеклянная трубка его треснула, и больше он не годился ни на один скачок сквозь время.

Андрей осторожно поднял Киру со скамьи, вглядываясь в её лицо. Чужая, картонно-благополучная память навсегда растворилась, оставив только её собственный, живой и тёплый взгляд.

Кира медленно поднялась со скамьи, сжимая в руке почерневший, треснувший медный резонатор, и растерянно огляделась.

— Андрей... — тихо позвала она, чувствуя, как к горлу подкатывает холодный, липкий страх. — Посмотри наверх. Что это?

Андрей, потиравший ушибленное при падении плечо, поднял голову — и замер как вкопанный. Над массивным подъездом здания на площади висела свежая латунная доска на двух языках, где крупные английские буквы безоговорочно подавляли мелкую кириллицу внизу: *«U.S. High Commissioner Administration / Управление Верховного комиссара США. Московский сырьевой округ № 1»*.

Москва вокруг была до ужаса нищей, обшарпанной и какой-то придавленной. По разбитому асфальту с грохотом прополз ржавый, списанный американский школьный автобус с мутными стёклами, набитый угрюмыми людьми в заношенных пуховиках. На углу у подземного перехода стоял патруль: двое рослых американских военных полицейских в белых касках с аббревиатурой «MP» и винтовками наперевес лениво жевали резинку, а рядом с ними, услужливо заглядывая им в глаза, переминался с ноги на ногу местный полицай в мешковатой тёмно-синей шинели без звёзд на погонах.

— Мы промахнулись... — глухо выдохнул Андрей, судорожно ощупывая карманы. — Когда Саймон Грей выстрелил в бункере, пуля задела край воронки, сбила калибровку... Это девяносто второй год, Кира, но это *не наш* девяносто второй!

Спрятав мёртвый, бесполезный прибор в брезентовый рюкзак и стараясь не привлекать внимания патрулей, они почти бегом спустились в тёмное, пахнущее сыростью и дешёвым табаком метро. В вагонах горела лишь половина ламп, на стенах вместо привычных схем висели плакаты на английском языке с призывами записываться на вахтовые работы на нефтяные промыслы Сибири, а в переходе на «Университете» измождённые старики торговали с газет поштучными сигаретами и консервами из американской гуманитарной помощи, принимая в оплату исключительно засаленные однодолларовые бумажки и местные «колониальные центы».

К счастью, старый кирпичный дом на Ломоносовском проспекте стоял на месте, и ключ в кармане Киры подошёл к замку её тесной, запущенной двухкомнатной квартиры — здесь не было ни следа былой роскоши клана Навроцких, лишь облупившиеся обои, холодные батареи и густой слой пыли на книжных полках.

Едва захлопнув дверь на все засовы, Кира и Андрей бросились к письменному столу. На краю его, рядом с пожелтевшими тетрадями с математическими расчётами, лежал потёртый, в мягкой бумажной обложке школьный учебник «Новейшая история Евразийских территорий», изданный в Чикаго на русском языке. А рядом стоял старенький, громоздкий компьютер с гудящим модемом, подключённым к университетской телефонной сети — в начале девяностых сеть эта работала из рук вон плохо, обрываясь каждые пять минут, но всё же позволяла заглядывать в электронные каталоги публичной библиотеки.

До глубокой ночи, при тусклом свете настольной лампы, они листали глянцевые страницы учебника и вглядывались в мерцающий зелёный экран монитора, по крупицам восстанавливая страшную картину того, как рухнула их Родина.

Чикагский учебник «Новейшая история Евразийских территорий» был написан гладким, елейным, почти хвалебным слогом — в нём не было ни единого слова об измене или грабеже, но за каждым витиеватым абзацем проступала леденящая душу правда.

— Смотри сюда, Андрей... — прошептала Кира побелевшими губами, водя пальцем по длинной главе о завершении Второй мировой войны. — В нашей истории Сталин довёл страну до Победы и прожил до пятьдесят третьего года. А здесь написано: *«В ноябре 1944 года, в разгар тяжелейших боёв, верховный главнокомандующий И. В. Сталин, к великому сожалению, не выдержал колоссального нервного напряжения и скоропостижно скончался на ближней даче от апоплексического удара. Его достойным преемником на посту Генерального секретаря ЦК КПСС стал выдающийся государственный деятель Л. П. Берия, сумевший проявить невиданную политическую мудрость и гибкость»*.

— «Не выдержал напряжения» в сорок четвёртом году, когда фронт уже катился к Берлину и победа была в руках?! — мрачно усмехнулся Андрей, покачивая головой. — Слишком уж вовремя случился этот «удар». А в чём же заключалась хвалёная «гибкость» преемника?

— Читай дальше, тут целый гимн его миролюбию! — Кира перевернула страницу. — Летом сорок пятого на Потсдамской конференции Лаврентий Павлович Берия, как пишет учебник, *«отказался от имперских амбиций предшественника ради вечного мира и добрососедства»*. Он торжественно согласился немедленно вывести все советские войска с территорий Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Болгарии и Германии!

— Он сдал всю Восточную Европу одним росчерком пера?! — ахнул Андрей. — Да за что?!

— За то, что в следующей главе называют *«величайшим актом гуманизма Соединённых Штатов»* — за распространение на СССР американского «Плана Маршалла»! — с горькой иронией ответила Кира, переходя взглядом на экран компьютера, где после долгого писка модема наконец загрузились экономические таблицы из университетского архива. — В учеб-

нике поют дифирамбы американским инвестициям, спасшим страну от послевоенной разрухи. Но посмотри на сухие цифры в сети, Андрей!

Андрей наклонился к монитору, всматриваясь в столбцы статистики пятидесятых и шестидесятых годов. Картина складывалась без единого слова обвинений — чистая математика, от которой холодела кровь. Под видом «оптимизации и интеграции в мировой рынок» американские корпорации закрыли или перепрофилировали почти все советские машиностроительные, авиационные и приборостроительные гиганты. Кредиты «Плана Маршалла» шли исключительно в одно русло — в нефтяные вышки Западной Сибири, газопроводы, лесоповал и рудники. Все командные высоты в экономике перешли к заокеанским консорциумам, фундаментальные НИИ упразднили за ненадобностью, а в 1961 году на околоземную орбиту вышел не Юрий Гагарин, а американский астронавт Джон Гленн.

— Они просто купили Берию лестью и обещаниями золотых гор, сыграв на его тщеславии, — тихо, с холодной яростью проговорил Андрей, отрываясь от экрана. — А потом тихо превратили великую державу в бесправный сырьевой придаток. Без науки, без промышленности, без космоса и без собственного голоса.

В комнате повисла тяжёлая, звенящая тишина. За окном в ночной темноте провыла сирена американского военного патруля, напомнив о комендантском часе.

Андрей медленно перевёл взгляд на стол, где лежал треснувший, выгоревший хронорезонатор, а затем посмотрел на Киру. В его глазах больше не было растерянности — только твёрдая, упрямая решимость.

— Мы не можем оставить всё так, Кира, — сказал он. — Если в этом мире советскую науку удушили ещё в пятидесятых, то никакого величественного Института квантовой оптики здесь, скорее всего, нет. Но где-то в Москве обязан жить старик — Константин Викентьевич Целовский, внук нашего цюрихского изобретателя! Завтра с первым же рассветом, едва закончится комендантский час, мы найдём его. Чего бы нам это ни стоило.

Историческая справка

Потсдамская (Берлинская) конференция (в нашей реальности) прошла с 17 июля по 2 августа 1945 года во дворце Цецилиенхоф в Потсдаме (под Берлином) и стала третьей, заключительной встречей лидеров стран «Большой тройки» антигитлеровской коалиции после разгрома нацистской Германии.

Основные участники

СССР: Председатель Совнаркома И. В. Сталин (и нарком иностранных дел В. М. Молотов).

США: Президент Гарри Трумэн (сменивший умершего в апреле 1945 года Ф. Рузвельта; именно в Потсдаме Трумэн сообщил Сталину об успешном испытании в США нового сверхмощного оружия — атомной бомбы).

Великобритания: Премьер-министр Уинстон Черчилль (в середине конференции, после поражения консерваторов на выборах, его сменил новый премьер-министр Клемент Эттли).

Главные решения конференции

1. Судьба Германии (программа «четырёх Д»)

Союзники утвердили общие принципы оккупационной политики в Германии:

Демилитаризация — полное разоружение и роспуск германских вооружённых сил и военной промышленности.

Денацификация — ликвидация нацистской партии (НСДАП), отмена фашистских законов и предание главных военных преступников международному суду (будущему Нюрнбергскому трибуналу).

Демократизация — восстановление местного самоуправления, свободы слова, печати и демократических партий.

Демонополизация (декартелизация) — ликвидация крупных промышленных монополий и картелей, поддерживавших режим Гитлера.

2. Новые границы в Европе

Германия была разделена на четыре зоны оккупации (советскую, американскую, британскую и французскую), а Берлин — на четыре сектора.

Польша получила значительные германские земли к востоку от рек Одер и Западная Нейсе (Силезию, Померанию, южную часть Восточной Пруссии).

СССР получил город Кёнигсберг (ныне Калининград) и прилегающий к нему район Восточной Пруссии.

3. Репарации

Каждая держава-победительница должна была взимать репарации преимущественно из своей зоны оккупации. Дополнительно СССР получал 25% промышленного оборудования из западных зон (10% безвозмездно и 15% в обмен на продовольствие и сырьё из советской зоны).

4. Война с Японией и Потсдамская декларация

От имени США, Великобритании и Китая (26 июля 1945 года) была опубликована **Потсдамская декларация** с требованием безоговорочной капитуляции Японии.

Сталин подтвердил обязательство СССР вступить в войну против Японии ровно через три месяца после капитуляции Германии (СССР выполнил его 8–9 августа 1945 года).

Глава девятая, в которой храм науки превращается в сырьевую контору, на улицах гремит чужой рок девяностых, а великий физик торгует сигаретами в подземном переходе

Едва над серой, промозглой Москвой забрезжил мутный ноябрьский рассвет, Кира и Андрей вышли из подъезда. Утренняя столица встречала их суетливым, нервным гулом девяностых годов — но этот знакомый ритм был странным, вывернутым наизнанку, словно они попали в глухую провинцию заокеанской империи.

Вдоль разбитых тротуаров тянулись бесконечные ряды уродливых металлических ларьков и коммерческих палаток, обклеенных яркими импортными плакатами. Из хриплых динамиков, выставленных прямо на козырьки киосков, во всю мощь гремела американская музыка девяностых — надрывный гранж *Nirvana*, ритмичный рэп и слащавые поп-хиты, полностью вытеснившие привычные песни на русском языке. Над каждым вторым магазином и банком висели кричащие неоновые и пластиковые вывески исключительно на английском языке, где мелкий русский перевод ютился в самом низу, словно сноска в инструкции: *«Pacific Trust Bank»*, *«General Motors Service»*, *«Siberian Timber & Oil Corp»*.

По серой слякоти проспектов с ревом проносились чадящие, списанные из американских штатов жёлтые школьные автобусы, битком набитые угрюмыми москвичами, спешившими на смену, и старые, проржавевшие «Форды» и «Шевроле» восьмидесятых годов, привезённые сюда втридорога со свалок Нью-Джерси. Люди вокруг были одеты в пеструю, нелепую гуманитарную одежду из американского секонд-хенда — куртки с эмблемами чужих бейсбольных команд, растянутые свитера и стоптанные кроссовки.

На перекрёстках лениво прогуливались парные патрули: местные сотрудники муниципальной полиции в тёмно-синих куртках с нашивкой *«Municipal Security»* и рослые американские военные полицейские в белых фуражках с чёрными буквами **MP** на рукавах и рациями на

плече. Стоило из-за угла выскочить сверкающему чёрному внедорожнику с дипломатическими или корпоративными номерами США, как полицаи мгновенно вскидывали руку к козырьку, а водители старых «Жигулей» и «Фордов» шарахались к обочине, уступая дорогу хозяевам города.

По дороге к центру Кира и Андрей миновали квартал в районе Остоженки, наглухо отрезанный от остального города бетонными блоками и полосатым шлагбаумом с будкой частной американской охраны. За ограждением начинался другой мир — чистый, сытый, сияющий витринами супермаркетов и вывесками дорогих ресторанов, куда входили исключительно граждане США и сотрудники корпораций. На воротах висела латунная табличка: *«U.S. Personnel Only / Вход местному населению без пропусков воспрещён»*. А у самого шлагбаума уже с утра топталась длинная, молчаливая очередь москвичей — инженеров, учителей и бывших научных сотрудников, пришедших наниматься на подённую работу: разгружать фуры, мыть витрины и убирать дворы.

Чуть дальше, на углу Садового кольца, у бывшего гастронома, толпились люди с сумками и бидонами — там с утра открылся пункт выдачи гуманитарной помощи, где двое сержантов интендантской службы в камуфляже сгружали с грузовика коробки с сухим молоком, банками фасоли и дешёвыми соевыми концентратами, сверяя магнитные вкладыши в паспортах.

Первым делом Кира и Андрей направились к бывшему Институту квантовой физики — туда, где в прежнем девяносто втором году возвышался величественный стеклянно-гранитный дворец науки. Однако на знакомом месте их ждало горькое, удручающее зрелище. Парадный портал института был наглухо заложен кирпичом, позолоченные буквы названия сбиты с фасада так, что на сером граните остались лишь тёмные следы, а над главным входом кричала яркая пластиковая вывеска: *«Continental Oil & Timber Exchange / Континентальная нефтяная и лесная биржа»*. Во внутреннем дворе, где некогда прогуливались профессора, теперь громоздились ржавые морские контейнеры с маркировкой порта Хьюстона и деловито сновали грузчики под присмотром охранников с резиновыми дубинками.

Кира и Андрей долго бродили по окрестностям обнесённого оградой квартала, заглядывали в пустые переулки, расспрашивали редких прохожих, но никто ничего не знал: институт разогнали ещё в пятидесятые годы, уникальные лабораторные стенды вывезли за океан, и следы старых сотрудников давно затерялись в огромном, придавленном нуждой городе.

Озябшие и окончательно упавшие духом, они спустились в ближайший подземный переход у станции метро. Здесь, под тускло мигающими лампами дневного света, пахло сырым бетоном, мокрой синтетикой и дешёвым табаком. Вдоль облупленных кафельных стен плечом к плечу стояли молчаливые, измождённые москвичи — бывшие конструкторы, врачи, музыканты, — держа на картонных коробках нехитрый товар: поштучные сигареты, банки гуманитарной тушёнки, пожелтевшие книги из домашних библиотек и старинные фарфоровые статуэтки.

Кира и Андрей уже собирались пройти мимо к турникетам, как вдруг оба одновременно замедлили шаг. Неведомая, почти магнитная сила — то самое необъяснимое притяжение судьбы, которое в старой Москве порой сводит нужных людей на самом краю пропасти, — заставила их повернуть головы к сырой бетонной колонне в дальнем углу перехода.

Там, в стороне от шумного потока, стоял сухощавый, прямой, несмотря на глубокую старость, мужчина в поношенном, но аккуратно заштопанном твидовом пальто и старой каракулевой шапке. На шее у него на бечёвке висел фанерный лоток с тремя пачками американских сигарет «Лаки Страйк» и коробком спичек.

Андрей замер, вглядываясь в знакомый профиль — седую бородку клинышком, тонкие, аристократические пальцы в вязаных митенках и старенькие очки в роговой оправе, перемотанной синей изолентой.

— Кира... — тихо, едва шевеля губами, выдохнул Андрей, чувствуя, как по спине пробежал холодок. — Посмотри туда. Это же он... Константин Викентьевич!

Они подошли ближе, не веря собственным глазам. Старик, заметив остановившихся перед ним молодых людей, вежливо, с какой-то щемящей, старорежимной деликатностью приподнял шляпу и тихо произнёс:

— Сигареты поштучно, господа. Два колониальных цента за штуку, спички бесплатно. Прошу прощения, сдачи с бумажного доллара у меня, к сожалению, нет.

Кира посмотрела в его ясные, пронзительные серые глаза — в них не было ни попрошайничества, ни злобы, лишь тихая, гордая усталость человека, прожившего долгую жизнь в чужом, враждебном мире, но не утратившего достоинства.

— Здравствуйте, Константин Викентьевич, — негромко, с внезапно севшим от волнения голосом сказал Андрей, склоняясь к самому уху старого физика, чтобы их не услышали в шуме толпы. — Нам не сигареты нужны. Мы пришли к вам по делу вашего деда, Андрея Викентьевича Целовского. По поводу цюрихского эксперимента четырнадцатого года.

Старый академик вздрогнул всем телом, словно от удара током. Фанерный лоток в его руках едва не перевернулся. Медленно, очень медленно он снял перемотанные изолентой очки и в упор поглядел на непрошеных гостей — сперва на потёртую куртку Андрея, затем на бледное, взволнованное лицо Киры.

— Вы из тайной полиции комиссариата? — тихо, без всякого страха, но с ледяным презрением спросил он. — Опять явились вынюхивать, не припрятал ли старик Целовский дедовские чертежи? Можете не стараться. Ваши заокеанские хозяева перерыли у меня всё ещё в пятидесятом, когда вывезли в Техас все наши архивы. Я обычный пенсионер, господа. Оставьте меня в покое.

— Мы не из полиции, Константин Викентьевич, — мягко сказала Кира, делая шаг ближе и прикрывая собой старика от любопытных глаз прохожих. — Мы пришли оттуда, куда ваш дед отправлял свой рубиновый луч. У нас в рюкзаке прибор его конструкции. Пожалуйста, пойдёмте отсюда в тихое место — нам больше не к кому обратиться.

Старик Целовский долго молчал, вглядываясь в их честные, измученные лица, и вдруг в его выцветших серых глазах вспыхнул знакомый, острый, живой огонёк — огонёк настоящего русского учёного, всю жизнь ждавшего чуда.

— Стало быть, не врала семейная легенда... — едва слышно прошептал он, аккуратно снимая с шеи фанерный лоток и пряча пачки сигарет в карман пальто. — Пойдёмте, дети мои. Здесь неподалёку, в Кривоколенном переулке, у меня каморка в полуподвале. Там и поговорим без лишних ушей.

Глава десятая, в которой под стук старинных ходиков в Кривоколенном переулке открывается тайна Пятого интернационала, а миллионер из Америки оказывается во главе коммунистов

Каморка Константина Викентьевича Целовского в Кривоколенном переулке представляла собой крошечное, сводчатое подземелье со слепым окошком под самым потолком, заложенным старыми подшивками газет. В углу мерно, с усталым скрипом тикали большие напольные часы без маятника, на столе теплилась керосиновая лампа — электричество в этом квартале давали лишь на два часа по вечерам, — а в воздухе густо пахло сушёными яблоками, книжной пылью и дешёвым табаком.

Едва тяжелая обитая войлоком дверь закрылась на засов и старик поставил на электроплитку закопчённый чайник, Андрей извлёк из рюкзака почерневший от перегрузки медный хроно-резонатор. Целовский долго, благоговейно гладил сухими пальцами холодный металл и

треснувшую кварцевую линзу, то и дело снимая и снова надевая свои перемотанные изолентой очки.

— Дедовская работа... — тихо повторял он, покачивая седой головой. — Никаких сомнений. Я мальчишкой видел точно такой же в его домашней мастерской на Мясницкой, перед тем как дед в сорок девятом году скоропостижно скончался, так и не смирившись с разгромом нашего института. Выходит, в вашем мире всё пошло иначе?

— Совсем иначе, Константин Викентьевич, — горько усмехнулся Андрей, присаживаясь на продавленный венский стул. — В нашем девяносто втором году Россия — пусть и переживающая тяжёлый, болезненный перелом — оставалась великой промышленной и космической державой. Но мы никак не можем взять в толк: как же так вышло у вас? В чикагском учебнике мы прочли про смерть Сталина в сорок четвёртом и про Потсдамскую уступку Берии. Но ведь в сорок пятом году СССР был страной-победителем с огромной армией! Неужели народ и партия так безропотно позволили превратить державу в сырьевую колонию?

Старый физик грустно усмехнулся, разливая по треснувшим фаянсовым чашкам бледный, едва заваренный кипяток, и опустился на табурет напротив.

— Эх, дети мои, в том-то и дьявольская хитрость истории, что никто не вводил сюда оккупационные войска сразу после Победы! Напротив — всё начиналось как сладкая, упоительная сказка, от которой у измученного войной народа закружилась голова!

Целовский отпил глоток горячей воды, прикрыв глаза, словно вглядываясь в далёкие сороковые годы.

— Едва в сорок пятом году Лаврентий Павлович подписал в Потсдаме соглашение о выводе наших войск из Восточной Европы и принятии американского «Плана Маршалла», на страну обрушился настоящий золотой дождь! Американцы не жалели средств: они наводнили Москву, Ленинград и всю страну первоклассными продуктами, добротной одеждой, лекарствами, тушёнкой и шоколадом. Люди, четыре года пухнувшие от голода и ходившие в залатанных телогрейках, вдруг увидели сытую, красивую жизнь!

— Они купили народ сытостью? — тихо спросила Кира.

— Не только сытостью, милая Кира — они покорили души! — вздохнул старик. — В каждом кинотеатре, в каждом сельском клубе с утра до ночи крутили трогательные, светлые американские фильмы: «Сестру его дворецкого», «Встречу на Эльбе», весёлые мюзиклы, где улыбчивые люди поют о дружбе и братстве. Из каждого репродуктора лилась зажигательная американская музыка, джаз, эстрада. Американские инженеры и строители действительно приехали в Москву и Ленинград — они помогали восстанавливать разрушенные кварталы, строили новые светлые жилые дома, школы, больницы, заново запускали стоявшие заводы. Казалось, наступил век всеобщего братства и вечного мира!

— Постойте, — нахмурился Андрей, сбитый с толку. — Но при чём тут тогда компартия и красные флаги, которые мы видели на старых плакатах? Если американцы так активно наводили свои порядки, куда делась советская власть?

При этом вопросе на лице Константина Викентьевича появилась такая едкая, по-настоящему булгаковская ироническая усмешка, что даже в полумраке каморки стало жутко.

— А вот тут-то и разыгрался самый смешной и страшный фарс двадцатого века, молодые люди! В начале пятидесятых годов, на волне этой великой «дружбы народов», Коммунистическая партия Соединённых Штатов официально перенесла свою штаб-квартиру из Нью-Йорка прямиком в Москву! Они объявили о теснейшем братском сотрудничестве с КПСС, и на торжественном конгрессе в Кремле обе партии слились в единый, нерушимый **Пятый интернационал**!

— Пятый интернационал?! — в один голос переспросили Кира и Андрей, не веря своим ушам.

— Именно так! — кивнул Целовский. — Под громкие лозунги о «мировом пролетарском единстве без границ» американские товарищи вошли в самые высшие эшелоны нашей власти, в Политбюро и Госплан. А спустя несколько лет, когда старая гвардия окончательно сошла со сцены, представитель американских коммунистов был единогласно избран Генеральным секретарём ЦК КПСС! Вы не ослышались: сегодня нашу родную Коммунистическую партию возглавляет стопроцентный американец — господин Макдуглас! И, что самое пикантное, этот пламенный борец за мировой коммунизм одновременно является нашим главным мультимиллионером и единоличным владельцем баснословно прибыльных промыслов по добыче каменного угля, золота и руды в Нерюнгри!

Кира потрясённо покачала головой: такого гротеска не придумал бы ни один сатирик.

— Но как же при всём этом у вас исчезли и наука, и машиностроение, и космос?! — спросил Андрей. — Ведь в конце сороковых они сами помогали восстанавливать заводы!

— А всё решил знаменитый **съезд ЦК КПСС в шестьдесят первом году**, который в газетах торжественно окрестили «съездом реформаторов», — глухо, с горькой болью ответил Целовский. — К тому времени американские «товарищи» в Политбюро окончательно прибрали к рукам управление экономикой. На том съезде они выдвинули гениальную в своём цинизме теорию: зачем, мол, Советскому Союзу тратить колоссальные народные средства на дорогостоящую фундаментальную науку, тяжёлое машиностроение, авиацию и пустые космические гонки, когда всё это можно дёшево купить у братских корпораций на Западе? А нашей стране природа даровала несметные богатства — нефть, газ, лес и уголь!

Старик сжал сухие кулаки на коленях, глядя на мигающий язычок керосиновой лампы:

— На съезде утвердили грандиозное планирование на несколько пятилеток вперёд — исключительно по ускоренному развитию нефтегазовых и добывающих отраслей Сибири и Дальнего Востока. Нам обещали, что на потоке нефтедолларов мы построим светлый коммунизм уже через двадцать лет! Под эти лозунги тихо прикрыли мой институт, разогнали конструкторские бюро, продали на металлолом уникальные стенды, а лучших наших физиков и ракетчиков вывезли по контрактам в Америку — именно благодаря им в шестьдесят первом году в космос первым полетел американец Джон Гленн! А когда через двадцать лет мировые цены на сырьё рухнули, выяснилось, что у нас не осталось ни своих станков, ни электроники, ни науки — только трубы, уходящие на Запад, да американская военная полиция, охраняющая интересы акционеров мистера Макдугласа!

В каморке повисла долгая, гнетущая тишина. Старинные напольные часы в углу хрипло пробили полдень, словно отсчитывая последние минуты уходящего времени.

Кира слушала старого физика, сжав кулаки так сильно, что побелели костяшки пальцев. В груди всё кипело от горького, бессильного возмущения.

— Неужели наш народ вот так просто смирился с тем, что им управляют из-за океана?! — не выдержала она, подаваясь вперёд над столом. — Неужели фронтовики, офицеры, прошедшие всю войну от Москвы до Берлина, не поняли, что страну тихо превратили в колонию?!

Константин Викентьевич Целовский вздрогнул, тревожно покосился на занавешенное газетами слепое окошко и приложил сухой палец к губам. Затем он наклонился через стол и заговорил совсем тихо, почти шёпотом — тем особым, заговорщическим тоном, каким в старой Москве привыкли говорить о запретном:

— Не все смирились, милая Кира. Ох, не все... Сопротивление вспыхивало не раз и не два, но всякий раз его топили в крови. Первое, самое страшное восстание поднялось летом пятьдесят третьего года, когда армейским командирам стало окончательно ясно, что под вывеской «Пятого интернационала» армию разоружают, а страну распродают по кускам. Возглавила заговор группа боевых генералов во главе с самим маршалом Георгием Константиновичем Жуковым. За одну июльскую ночь верные полки захватили узлы связи и военные аэродромы вокруг Москвы, блокировали казармы американских «советников»... Но к рассвету из Вашинг-

тона передали ультиматум: ежели русские части не сложат оружие, стратегические бомбардировщики сотрут с лица земли Москву и Ленинград атомными бомбами — точно так же, как в сорок пятом сожгли Хиросиму и Нагасаки. Чтобы не погубить миллионы ни в чём не повинных людей, маршал Жуков отдал приказ сложить оружие. Через неделю его и всех его боевых товарищей расстреляли по приговору закрытого трибунала.

— И после этого все замолчали? — глухо спросил Андрей.

— Нет, — покачал седой головой Целовский. — В шестьдесят первом году, сразу после того самого «съезда реформаторов», когда цены на хлеб и мясо взлетели втрое, а заводы по всей стране начали закрывать один за другим, вспыхнуло восстание на юге России, на Дону — в городе Новочеркасске. Рабочих электровозостроительного завода тогда поддержали донские казаки — казачьи станицы на Дону ещё сохраняли остатки прежней автономии и старинной вольницы. Люди вышли с оружием против марионеточной администрации. Но против них бросили регулярные американские военные подразделения с бронетехникой и авиацией. Восстание подавили с чудовищной, звериной жестокостью: людей расстреливали из пулемётов прямо на площади, а ночью трупы рабочих и казаков сбрасывали в глубокие рвы за городом и закапывали бульдозерами. До сих пор никто не знает, где именно лежат те безымянные могилы...

Старик перевёл дух, глядя на мигающий язычок керосиновой лампы, и продолжил ещё тише:

— А в августе шестьдесят восьмого года на Красную площадь вышли восемь смельчаков — молодых московских учёных и поэтов, так называемых диссидентов. Они сели прямо на брусчатку у Лобного места и развернули рукописный плакат: *«За нашу и вашу свободу! Долой колониальную администрацию! Россия — свободная страна!»*. Через три минуты всю шестёрку схватили агенты тайной полиции и бросили в закрытые спецтюрьмы. Никто не знает, живы ли они и где находятся сейчас. После этого всякий открытый протест в стране задушили на корню.

Кира ошеломлённо откинулась на спинку стула, глядя на старого учёного широко раскрытыми глазами:

— Постойте, Константин Викентьевич... Но как же американцы могли грозить нам атомной бомбой в пятьдесят третьем году?! Ведь у нас к тому времени уже была своя водородная бомба, а первую атомную мы испытали ещё в сорок девятом! Неужели у вас не было академика Курчатова и нашего ядерного щита?!

При этих словах Целовский в крайнем недоумении снял свои перемотанные изолентой очки и уставился на Киру так, словно она заговорила на марсианском наречии:

— Своя атомная бомба? У нас?! Помилуйте, детка, откуда бы ей взяться? Впервые слышу, чтобы в Советском Союзе вообще велись подобные разработки! Да, припоминаю, в сороковые годы мелькала в академических кругах фамилия ленинградского физика Игоря Васильевича Курчатова — талантливый был специалист по ядерной физике, но совсем молодой, мало кому известный. В самом конце сорок четвёртого года, вскоре после смерти Сталина, Курчатов погиб при каких-то тёмных, загадочных обстоятельствах — то ли в авиакатастрофе, то ли просто бесследно исчез, и все его лабораторные журналы сгинули без следа. Всякий, кто пытался после войны заикнуться о самостоятельных ядерных исследованиях, тут же объявлялся «поджигателем новой мировой войны» и отправлялся в лагеря. Так что против американского атомного кулака нам нечего было выставить, кроме голых рук.

В каморке повисла мёртвая, леденящая душу тишина. Только старые ходики в углу мерно, безжалостно отстукивали секунды. Кира с болью в голосе сжала ладони на столе:

— А как же наши писатели, Константин Викентьевич?! Как же наши режиссёры, поэты, артисты — вся наша великая русская культура?! Неужели и они все склонились перед Америкой и ничего не делают, чтобы разбудить народ и помочь России снова стать независимой страной?!

Старый физик горько усмехнулся, поправил перемотанные изолентой очки и развёл сухими руками:

— Эх, милая Кира... Кого не сломали в лагерях в пятидесятые, тех приручили долларовыми гонорарами и путёвками в Калифорнию. Признаться, я давно не слежу за нынешними театрами и книгами — да у меня, старого пенсионера, и средств-то нет в кино ходить. Помню только, лет тридцать назад вышел один удивительный, очень громкий фильм — снял его наш знаменитый режиссёр Сергей Бондарчук, назывался картина «Судьба человека». Весь мир тогда плакал!

— «Судьба человека»?! — оживилась Кира, на мгновение обрадовавшись знакомому названию. — Но ведь это же великий фильм о нашем русском солдате Андрее Соколове!

— О русском солдате? Помилуйте, детка, с чего вы взяли? — искренне удивился Целовский. — Это трогательнейшая история о простом американском солдате, который во время Второй мировой войны попал в плен, чудом выжил и вышел из госпиталя в Германии — а дома в Америке жена, получив ложную похоронку, ушла от него к другому и увезла с собой двоих детей. Солдат остался совершенно одинок на чужбине, не понимая, к кому и зачем ему теперь возвращаться за океан. Устроился он шофёром, колесил на грузовике по разбитым дорогам послевоенной Германии — и вдруг встретил у разрушенной чайной маленького русского мальчишку-сироту, беспризорника Ванюшу. Пожалел его американец, сказал ему: *«Я твой отец»*, усыновил и увёз с собой в солнечную Америку, в новую счастливую жизнь! Очень трогательный, гуманный фильм, скажу я вам. Бондарчук после этого триумфа, по-моему, даже в Голливуде весьма успешно работал, «Оскара» получил...

В каморке снова повисла тяжёлая, удушливая тишина. Андрей отвернулся к сырой стене, стиснув зубы так, что заходили желваки. Даже великая боль и подвиг русского солдата в этом вывернутом наизнанку мире были переписаны в красивую сказку о добром заокеанском благодетеле.

Кира медленно подняла глаза на Андрея, а затем перевела взгляд на почерневший хронорезонатор на столе.

— Значит, корень всего этого балагана лежит там — в ноябре сорок четвёртого года, — твёрдо произнесла она. — Если Сталин не умрёт на ближней даче в Кунцеве и Берия не станет генсеком, не будет ни Потсдамской сдачи Европы, ни Пятого интернационала, ни мистера Макдугласа.

— Верно, детка, — кивнул Константин Викентьевич, поднимаясь со стула и подходя к старым напольным часам в углу. — Вот только чтобы запустить дедовский прибор и пробить дорогу в сорок четвёртый год, нам понадобится колоссальный заряд энергии... и кое-что из тайника моего деда.

Справочная информация:

1

Новочеркасское восстание (Новочеркасский расстрел, реальные события в нашем времени) — это массовая забастовка и антиправительственные выступления рабочих в городе Новочеркасске (Ростовская область) 1–3 июня 1962 года, жестко подавленные армией и КГБ**.** **Причины.** Резкое повышение розничных цен на мясо и масло (в среднем на 30%) совпало со снижением расценок на труд на Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ). Ситуацию накалил грубый ответ директора завода Бориса Курочкина, предложившего рабочим вместо мяса есть «пирожки с ливером».

Ход событий. 1 июня началась забастовка на НЭВЗе, к которой присоединились другие жители города. Утром 2 июня многотысячная колонна протестующих двинулась к центру города и зданию горкома КПСС.

Подавление. По приказу руководства СССР во главе с Никитой Хрущёвым в город ввели войска и танки. При попытке толпы ворваться в здание горкома и горотдела милиции военные открыли огонь на поражение. (При этом генерал-лейтенант Матвей Шапошников отказался выполнять приказ об атаке демонстрантов танками).

Жертвы и последствия. По официальным данным, при разгоне демонстрации погибли 26 человек, ещё 87 получили ранения. Последующий суд приговорил семерых активных участников к смертной казни (расстрелу), а более 100 человек получили длительные лагерные сроки.

Засекречивание и реабилитация. Информация о трагедии была строго засекречена вплоть до конца 1980-х годов. В 1996 году указом президента РФ все осужденные по этому делу были официально реабилитированы.

Бойня в Новочеркасске: "Но был один, который не стрелял"

Отказ от исполнения приказа в Новочеркасске стоил генерал-лейтенанту Матвею Шапошникову военной карьеры, партбилета и привел к уголовному преследованию, а реабилитирован он был только в эпоху перестройки**.**







На момент восстания в июне 1962 года Шапошников был Героем Советского Союза, прошедшим всю Великую Отечественную войну (включая Сталинград, Курскую дугу и форсирование Днепра), и занимал пост первого заместителя командующего Северо-Кавказским военным округом (СКВО).

Как развивалась его судьба после 2 июня 1962 года

Поступок на мосту. Получив приказ атаковать танками многотысячную колонну рабочих у моста через реку Тузлов, он ответил: *«Не вижу перед собой такого противника, которого следовало бы атаковать нашими танками»*. Чтобы исключить случайную стрельбу, генерал приказал танкистам и мотострелкам разрядить оружие и сдать боеприпасы.

Опала и отставка. Сразу после событий его не арестовали — помешали огромный боевой авторитет и звание Героя СССР. Однако карьерный рост остановился, за ним установили негласный надзор, а в июне 1966 года 59-летнего генерала отправили в запас.

Попытка предать правду огласке. Не смирившись с замалчиванием трагедии, Шапошников написал несколько писем в ЦК КПСС, писателям и студентам, где рассказывал о расстреле рабочих и критиковал партийную верхушку. Он подписывался псевдонимом «Неистовый Виссарион».

Уголовное дело. В 1967 году КГБ вычислил автора писем. Шапошникова исключили из КПСС, провели у него дома обыск (изъяв личные дневники) и возбудили уголовное дело за «антисоветскую агитацию и пропаганду». От тюрьмы или психбольницы его спасло лишь вмешательство боевых товарищей-фронтовиков и прежние военные заслуги — в конце 1967 года дело прекратили.

Годы забвения и реабилитация. Более двадцати лет генерал жил в Ростове-на-Дону в фактической изоляции. О его поступке молчали. Лишь в 1988 году с него сняли все обвинения и восстановили в партии, а в 1989 году о его подвиге впервые написала советская пресса.

Матвей Кузьмич Шапошников скончался 25 июня 1994 года в Ростове-на-Дону и был похоронен на Северном кладбище с воинскими почестями. На его памятнике выбита эпитафия: *«У каждого есть своя война и свой Новочеркасск, но не каждый выходит из них так, как Матвей Кузьмич Шапошников»*.

2

25 августа 1968 года в полдень на Красной площади в Москве восемь советских диссидентов провели мирную демонстрацию против ввода войск СССР и стран Варшавского договора в Чехословакию («Пражская весна»).

Основные факты

Дата и место: 25 августа 1968 года, около 12:00, у Лобного места на Красной площади.

Причина: протест против подавления реформ «Пражской весны» и введения иностранных войск в Чехословакию.

Ход акции: участники развернули плакаты и флаги (в том числе чехословацкий) и сели на парапет. Через несколько минут они были задержаны сотрудниками КГБ и милиции в штатском.

Участники («семеро» и Татьяна Баева)

В акции приняли участие восемь человек, но в историю она чаще вошла как «демонстрация семерых», поскольку Татьяну Баеву вывели из дела по ходатайству родителей и общественности:

Константин Бабицкий
Татьяна Баева
Лариса Богораз
Наталья Горбаневская
Вадим Делоне
Владимир Дремлюга
Павел Литвинов
Виктор Файнберг [1, 2]

Последствия и приговоры

Суд (октябрь 1968 года): пятерых участников осудили по статьям Уголовного кодекса РСФСР (в частности, за «клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй» и нарушение общественного порядка) на сроки лишения свободы и ссылки.

Принудительное лечение: Виктора Файнберга и Наталью Горбаневскую признали невменяемыми и направили в специальные психиатрические больницы.

Значение: акция стала одним из самых известных событий советского правозащитного и диссидентского движения.

Участники держали самодельные плакаты и чехословацкий флаг, который принесла Наталья Горбаневская. Точные формулировки лозунгов были следующими:

«За вашу и нашу свободу!» (знаменитый польский революционный девиз XIX века, ставший главным символом акции).

«Позор оккупантам!»

«Руки прочь от ЧССР!»

«Свободу Дубчеку!» (Александр Дубчек — первый секретарь ЦК КПЧ, лидер реформ «Пражской весны»).

«Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!» (написан на чешском языке: *«Ať žije svobodné a nezávislé Československo!»*).

Глава одиннадцатая, в которой трое заговорщиков ищут правду о кремлёвском враче, открывают тайник в старых часах и намечают прыжок в сорок четвёртый год

Когда первый шок от рассказа о гибели маршала Жукова и таинственном исчезновении Курчатова немного улёгся, в полуподвальной каморке в Кривоколенном переулке повисла напряжённая, сосредоточенная тишина. Керосиновая лампа на столе потрескивала, отбрасывая на сводчатый потолок длинные, причудливые тени.

— Значит, вот где находится точка перелома, — негромко произнесла Кира, сцепив пальцы на коленях и глядя на остывший чайник. — Ноябрь сорок четвёртого года. Ближняя дача в Кунцеве.

— Погоди, Кира, давай рассуждать трезво, как математики и физики, — возразил Андрей, начиная нервно мерить шагами тесную комнату от верстака до напольных часов. —

Первая мысль, которая приходит в голову: Сталин в сорок четвёртом году был полон сил и железной воли. В нашей истории он прожил ещё девять лет. Слишком уж удачно для Берии и его заокеанских друзей случился этот «апоплексический удар» накануне Победы! Если его отравили — нам нужно прыгать в октябрь сорок четвёртого года и любым способом предупредить вождя или его личную охрану о готовящемся покушении.

— А если нет? — тихо, но веско перебил его Константин Викентьевич Целовский, протирая свои перемотанные изолентой очки. — А ежели в этой реальности, где история и без того дала трещину, у Иосифа Виссарионовича и впрямь не выдержало сердце? Представьте себе: вы прорвётесь сквозь кордоны НКВД в военную Москву, попадёте в застенки Лубянки с криками «Берия — изменник!», а Сталин возьмёт да и умрёт у вас на глазах от обычного инсульта! И что тогда? Вас расстреляют как американских шпионов, а Лаврентий Павлович всё равно сядет в кресло генсека и подпишет в Потсдаме ту же самую бумагу!

Кира и Андрей переглянулись. Довод старого академика был убийственно точным: прыгать в сорок четвёртый год вслепую, не зная истинной причины смерти Сталина и не понимая, кто именно в окружении Берии дёргал за ниточки, было чистым самоубийством.

— Нужно узнать правду здесь, в девяносто втором году, прежде чем мы выставим координаты на лимбе, — твёрдо сказала Кира. — В колониальном учебнике нам правду не напишут, там сплошной елей. Но в Москве обязаны были сохраниться свидетели, старые врачи из Кремлёвской больницы, архивные протоколы вскрытия или закрытые мемуары!

— Архивы Лубянки и Кремля американцы вывезли или опечатали ещё в пятидесятых, — покачал головой Целовский. — Туда простому смертному не пробраться. Но... — старик на мгновение замолчал, внимательно, с прищуром вглядываясь в лица Киры и Андрея, словно всё ещё взвешивая, можно ли до конца доверять этим нежданным пришельцам. — Но у нас в Москве есть тайное научное подполье, дорогие мои. Немного нас осталось, но мы держимся друг за друга. Есть среди нас старые историки, выгнанные из университетов за отказ переписывать учебники под диктовку из Чикаго, а есть и кремлёвские врачи. Одному из них, Григорию Самойловичу, в ноябре сорок четвёртого года было всего двадцать пять лет — он работал молодым ординатором при Кремлёвской больнице и лично присутствовал в качестве ассистента при вскрытии тела Сталина. Сейчас ему уже за семьдесят, но память у старика острее бритвы. Думаю, о той ночи в Кунцеве он расскажет вам такое, чего вы не найдёте ни в одной газете.

Кира на секунду задумалась, теребя край старой скатерти, а затем подняла на физика тревожный, полный горечи взгляд:

— А как же простые люди, Константин Викентьевич? Рабочие, студенты, инженеры на заводах и стройках — неужели они все смирились с этой жизнью и в стране совсем нет никакого сопротивления?

Старый академик долго молчал. В его выцветших серых глазах всё ещё читалась привычная, выработанная десятилетиями слежки осторожность человека, который привык сто раз отмерить, прежде чем открыть душу. Наконец он негромко вздохнул, поправил перемотанные изолентой очки и заговорил чуть тише:

— Как нет? Есть, конечно. Народ наш не сломать ни сытыми подачками, ни дубинками полицаев. По утрам на заборах и стенах заводов постоянно появляются рукописные и отпечатанные на ксероксах листовки, призывающие не мириться с грабежом страны. Даже в этой их компьютерной сети, в университетском интернете, то и дело всплывают подпольные сайты и форумы, где люди объединяются, спорят и призывают к всеобщей забастовке — правда, американские службы их тут же блокируют, но назавтра появляются новые. Сопротивление есть, и по всей стране оно очень мощное — и в Сибири, и на Урале, и здесь, в Москве. Люди доведены до отчаяния и готовы восстать хоть завтра. Беда лишь в том, что нет пока единого объединяющего центра, нет лидера и настоящей силы, способной выстоять против их военной машины.

Андрей медленно кивнул, обмениваясь с Кирой взглядом: теперь они видели, что страна не мертва — она лишь ждёт искры, но дать ей шанс можно только там, в ноябре сорок четвёртого года.

— И второе, Константин Викентьевич, — Андрей остановился у стола и положил ладонь на треснувший медный корпус хроно-резонатора. — Даже если мы узнаем всю правду до последней запятой — на чём мы полетим в сорок четвёртый год? Стеклянная трубка лопнула, кварцевый накопитель выгорел дотла.

Старый академик загадочно улыбнулся, поднялся с табурета и подошёл к большим напольным часам в углу каморки. Отодвинув тяжёлый дубовый корпус от сырой кирпичной стены, он нащупал за резным карнизом скрытую деревянную задвижку, щёлкнул ею — и открыл узкую, сухую нишу в толще кладки.

Оттуда Целовский бережно извлёк завёрнутый в промасленную вощёную бумагу свёрток и потрёпанную кожаную тетрадь в клеёнчатой обложке.

— Дед мой, Андрей Викентьевич, был человеком слова и честно сжёг чертежи машины времени в восемнадцатом году, — негромко произнёс старик, разворачивая шуршащую бумагу на верстаке. — Но как всякий истинный русский физик, он не мог выбросить на помойку редчайшие материалы, которые вырастил собственными руками. Здесь — запасной монокристалл искусственного рубина, выточенный им ещё в семнадцатом году, и две неиспользованные кварцевые линзы. Починить прибор и заменить сгоревший сердечник я смогу за две ночи, благо часовой инструмент у меня под рукой.

— А энергия? — быстро спросила Кира. — В прошлый раз нам потребовался промышленный квантовый генератор!

— С этим сложнее, — вздохнул Целовский, разглаживая ладонью обложку дедовской тетради. — Своих реакторов у нас не осталось. Единственная установка во всей Москве, способная выдать нужный импульсный разряд такой мощности, находится в закрытой «Зелёной зоне» на Тверской — в главном технологическом центре корпорации «Американ Энерджи», куда наши заокеанские благодетели свезли лучшее оборудование со всей страны. Охраняют её, как Форт-Нокс.

— Значит, у нас две задачи, — подвёл итог Андрей, глядя то на Киру, то на старого физика. — Первая: через ваших людей из подполья выяснить, от чего на самом деле умер Сталин в ноябре сорок четвёртого и кто стоял за спиной Берии. И вторая — придумать, как пробраться в «Зелёную зону» и прикурить наш резонатор от американского генератора.

Старик Целовский молча кивнул, сдвигая на лоб перемотанные изолентой очки, и придвинул к себе часовую лупу. Работа началась.

Глава двенадцатая, в которой рублевая ассигнация из иного мира открывает двери тайного общества «Хранители», учёные узнают о украденной славе послевоенных десятилетий, а кунцевская ночь обретает имена

Прежде чем вести Киру и Андрея к своим товарищам, Константин Викентьевич Целовский решил действовать по всем правилам старой, проверенной десятилетиями конспирации. Оставив гостей дожидаться в своей полуподвальной каморке в Кривоколенном переулке, старый физик застегнул на все пуговицы потрёпанное твидовое пальто, нахлобучил каракулевую шапку и в одиночку отправился на другой конец города.

Сначала он долго шёл пешком по заснеженным, промозглым переулкам, то и дело останавливаясь у витрин и оглядываясь, нет ли за спиной «хвоста» из тайной полиции комиссариата, затем спустился в тёмное, сырое метро и с двумя пересадками добрался до старого профессорского дома на Соколе. Там жил его ближайший друг ещё с довоенных университетских

времён — бывший историк-архивист Алексей Петрович, один из основателей и негласных руководителей подпольного общества «Хранители».

Вообще-то тайное общество «Хранители» насчитывало по всей Москве и области несколько сотен человек: опальных академиков, уволенных конструкторов, старых врачей и преподавателей, сорок лет сберегавших по домашним тайникам запрещённые книги, архивы и русскую научную мысль. Но ради безопасности организации на экстренные сборы никогда не выходили всей массой — созывался лишь узкий **представительский комитет из шести старейшин**, каждый из которых отвечал за своё направление и передавал решения по цепочке.

Когда Целовский переступил порог квартиры на Соколе и шепотом сообщил другу, что в Москве объявились двое пришельцев из параллельного, несломленного 1992 года, Алексей Петрович сперва с тревогой поглядел на старого товарища, решив, что у того от голода и многолетнего одиночества помутился рассудок.

— Помилуй, Костя, какие ещё пришельцы из другого мира?! — тихо воскликнул историк, усаживая гостя у остывшей батареи. — Уж не провокация ли это комиссариата? Они нынче хитрые стали, подсылают молодёжь под видом подпольщиков...

— Я ручаюсь за них собственной головой, Алёша! — твёрдо ответил Целовский и торжественно выложил на стол взятую у Андрея бумажную купюру — **советскую банкноту образца 1991 года** с профилем Ленина, водяными знаками и гербом несуществующего в этом мире могучего Советского Союза, а рядом положил свой старый потрёпанный паспорт с пропиской из параллельной Москвы. — Погляди на бумагу, на типографскую краску, на серию! В нашем мире с сорок шестого года в ходу одни лишь американские доллары и колониальные боны! Никакая тайная полиция не станет печатать в подполье деньги несуществующей державы ради одного старого часовщика!

Алексей Петрович долго разглядывал купюру через увеличительное стекло, щупал хрустящую бумагу сухими пальцами и наконец тихо, потрясённо выдохнул:

— Невероятно... Настоящий государственный знак! Хорошо, Костя. Я сейчас же запущу оповещение по цепочке. Завтра в девять вечера, сразу после начала комендантского часа, представительский комитет «Хранителей» соберётся в старом месте — в подземелье анатомического корпуса на Моховой. Приводи своих гостей.

— ✦ —

Поздним вечером следующего дня, когда над притихшей Москвой повалил густой, мокрый снег, Константин Викентьевич провёл Киру и Андрея через заснеженный хозяйственный дворик старого университета на Моховой и трижды условно постучал в обитую железом дверь бывшей котельной.

В просторном сводчатом подземелье, освещённом двумя самодельными аккумуляторными фонарями, за длинным дубовым столом уже сидели шестеро пожилых людей — цвет и гордость той русской науки, которую сорок лет назад попытались задушить заокеанские ревизоры. Одеты они были бедно — в потрёпанные шерстяные свитера, заштопанные пиджаки и валенки, — но держались с тем спокойным, величественным достоинством, какое не отнимут никакие патрули.

Едва Кира и Андрей уселись за стол и продемонстрировали старейшинам свои паспорта, несколько советских купюр и медный хроно-резонатор с новым рубиновым кристаллом, настороженность мгновенно сменилась жгучим, почти детским волнением. Старики засыпали гостей вопросами о том **гордом тридцатилетии — с сорок пятого по конец семидесятых годов**, которое в их реальности обернулось временем сырьевой кабалы, а в мире Киры и Андрея стало эпохой величайшего триумфа. При этом старые учёные спрашивали с трогательной осторожностью, отталкиваясь от своей горькой, обкраденной действительности:

— Скажите, молодые люди... — с дрожью в голосе начал седовласый физик-теоретик в очках с толстыми линзами. — В нашей реальности после Потсдамской сделки нас убедили, что

разоренная войной Россия не потянет ни атомную энергетику, ни ракетную технику. А у вас? Неужели наша страна всё-таки сумела подняться из руин без заокеанских подачек?

— Не просто поднялась, профессор! — с горячим волнением ответила Кира, глядя в их светящиеся надеждой глаза. — Уже через четыре года после Победы, в сорок девятом, наши физики под руководством академика Курчатова испытали собственную атомную бомбу и создали ядерный щит, так что никто в мире больше не смел грозить нам ультиматумами! В пятьдесят четвёртом в Обнинске заработала первая в мире атомная электростанция, а следом мы спустили на воду первый атомный ледокол «Ленин»!

— Атомный ледокол?! Наш, советский?! — потрясённо переспросил бывший кораблестроитель на краю стола, сжав кулаки так, что затрещали суставы. — Боже правый... А космос? У нас в шестьдесят первом на орбиту вышел американец Джон Гленн, а нам сказали, что русским в небе делать нечего...

— В нашем мире первым в космосе был наш, русский парень — Юрий Гагарин, двенадцатого апреля шестьдесят первого года! — с гордой улыбкой сказал Андрей, видя, как по морщинистым щекам стариков текут слёзы. — А за четыре года до него, в пятьдесят седьмом, мы запустили первый искусственный спутник Земли — и всё человечество заучило русское слово «спутник» без перевода! В шестидесятые и семидесятые годы наши автоматические станции первыми достигли Луны и Венеры, Алексей Леонов первым в мире вышел в открытый космос, а на орбите работали наши пилотируемые станции «Салют»!

— Слышите, коллеги?! «Салют»! — прошептал историк Алексей Петрович, вытирая тыльной стороной ладони набежавшую слезу. — А что же наша литература, театр, кинематограф? У нас после войны всё свелось к перепевкам голливудских мелодрам...

— У нас в конце пятидесятых и в шестидесятые случился настоящий расцвет искусства! — подхватила Кира. — Фильм «Летят журавли» взял «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, Сергей Бондарчук снял грандиозную эпопею «Война и мир», получившую «Оскара», а его «Судьба человека» была честной, великой трагедией о русском солдате Андрее Соколове, а не сказкой об американском шофёре! Весь мир зачитывался нашими поэтами, смотрел наши фильмы и слушал нашу музыку!

В подвале на несколько секунд повисла торжественная, светлая тишина. Казалось, в сыром подземелье вдруг стало теплее и светлее от одной только мысли, что их народ способен на такое величие.

— Знать, что наше дело и наши жертвы не пропали даром хотя бы в соседней реальности — это лучшее лекарство, которое мы получали за последние сорок лет, — негромко произнёс грузный, седой мужчина в старом шерстяном кардигане, бывший врач Четвёртого главного управления Минздрава Григорий Самойлович. — Говорите, дети мои, чем наш комитет может помочь вам, чтобы вы вернули нашей стране её украденную судьбу?

— Нам нужна правда о ноябре сорок четвёртого года, — твёрдо сказал Андрей, опускаясь на табурет у стола. — Официальный чикагский учебник утверждает, что Сталин умер на ближней даче в Кунцеве от естественного апоплексического удара. Мы должны знать наверняка: был ли это инсульт или убийство?

Вперёд выступили двое: Григорий Самойлович и историк-архивист Алексей Петрович.

— Никакого естественного удара не было, молодые люди, — глухо, с горькой уверенностью произнёс старый врач, опуская на стол потёртую кожаную папку. — В ноябре сорок четвёртого года мне было всего двадцать пять лет, я работал молодым ординатором при Кремлёвской больнице и присутствовал в качестве ассистента при вскрытии тела Иосифа Виссарионовича.

В подвале стало тихо-тихо. Все невольно подались ближе к свету фонаря.

— Официально нам приказали записать в протокол кровоизлияние в мозг, — продолжал Григорий Самойлович. — Но мой наставник, старый профессор-патологоанатом, сразу пока-

зал мне характерные следы на слизистой и зрачках. У Сталина были все клинические признаки острого отравления редчайшим органическим ядом растительного происхождения — веществом без вкуса и запаха, которое вызывает мгновенный спазм сосудов головного мозга и через несколько часов полностью распадается в крови, имитируя обычный инсульт!

— Яд? — выдохнула Кира. — Но кто мог подсыпать его на самой охраняемой даче страны?!

— А вот на этот вопрос ответит наш тайный архив, — подхватил историк Алексей Петрович, раскрывая кожаную папку и доставая оттуда пожелтевшие копии шифровок и протоколов, вынесенные им из спецхрана в пятьдесят первом году. — Вся охрана ближней дачи и даже прислуга подчинялись непосредственно ведомству Лаврентия Павловича Берии. За два дня до трагедии на даче сменили дежурного офицера охраны — им стал капитан **Сергей Дроздов**, человек из ближнего круга Берии, который за полгода до этого таинственным образом выезжал по спецзаданию в нейтральную Швейцарию. В Женеве резидентура американской разведки вышла на эмиссаров Берии и предложила дьявольскую сделку: устранить неуступчивого Сталина, который ни за что не уступил бы ни пяди освобождённой Европы, а взамен пообещали новому генсеку личную неприкосновенность, поддержку Вашингтона и триллионные кредиты по будущему «Плану Маршалла».

— И Берия согласился... — прошептала Кира. — А как же ваш профессор, который понял про яд?

— На следующее утро профессор погиб под колёсами грузовика прямо у ворот больницы, а я дал подписку о неразглашении под страхом расстрела всей семьи, — мрачно усмехнулся Григорий Самойлович. — А через месяц при столь же «случайных» обстоятельствах в авиакатастрофе погиб и Игорь Васильевич Курчатов — Берия убрал всех, кто мог помешать его сделке с заокеанскими партнёрами.

Кира и Андрей переглянулись. Теперь у них на руках были не догадки, а железные факты: **начало ноября 1944 года, ближняя дача в Кунцеве, офицер охраны Сергей Дроздов и яд, привезённый из Швейцарии**.

— Значит, мы знаем точную цель, — твёрдо сказал Андрей, поднимаясь из-за стола. — Теперь осталось одно: зарядить прибор Целовского от американского генератора в «Зелёной зоне» на Тверской и шагнуть в осень сорок четвёртого года.

— В этом вам поможет весь наш комитет, — поднялся седовласый профессор-физик, и остальные старейшины дружно кивнули. — У «Хранителей» есть свои люди среди ночных русских техников, обслуживающих подстанции в «Зелёной зоне». Завтра ночью мы проведём вас внутрь.

Далее вставить главу как Они перелетели в 1944 год

Глава, в которой в военной Москве пахнет жареной картошкой и озоном, гипнотизёр Мессинг читает чужие мысли, а хозяин Кремля ставит пришельцам невыполнимое условие

Выброшенные рубиновым лучом в ноябрьскую Москву сорок четвёртого года, Кира и Андрей в первые минуты едва не закоченели: после сырого подвала девяностых суровый, колючий ветер военной столицы пробирал до самых костей. Чтобы не привлекать внимания военных патрулей на пустынных, затемнённых улицах, они поскорее нырнули в переполненный, гудящий зал ожидания пригородных поездов у Белорусского вокзала — там от чугунных батарей и плотной толпы в мокрых шинелях шло спасительное тепло, пахло махоркой, дешёвым мылом и горячим кипятком из титана.

Присев на краешек дубовой скамьи в углу, подальше от глаз дежурного милиционера, они перевели дух и быстро наметили первый шаг. Идти прямиком в Кремль или на ближнюю дачу в Кунцеве с предупреждением о заговоре Берии было чистым самоубийством — любая попытка подойти к охране закончилась бы в ту же минуту в застенках Лубянки, в руках людей

самого Лаврентия Павловича. К тому же им обоим требовались надёжный кров, документы, одежда по эпохе и горячая еда — со вчерашнего вечера у них во рту не было ни крошки.

— На Мясницкую, к деду Целовского, — тихо сказал Андрей, поправляя за спиной лямки брезентового рюкзака с резонатором. — В сорок четвёртом Андрей Викентьевич жив, здоров и работает здесь, в Москве. Если мы покажем ему прибор его собственной конструкции и записку от его внука из девяносто второго года, он без лишних вопросов приютит нас, накормит и поможет легализоваться.

Спустя полчаса они уже стояли у знакомого дореволюционного особняка на Мясницкой, окна которого были крест-накрест заклеены бумажными полосками светомаскировки. Когда на условный стук дверь открыл сам Андрей Викентьевич Целовский-старший — ещё бодрый, подтянутый шестидесятилетний профессор с аккуратной седой бородкой клинышком, в старом вязаном жилете поверх косоворотки, — и увидел в руках Андрея усовершенствованный медный резонатор и письмо от своего внука Кости, старый физик едва не лишился дара речи.

Он молча втащил их в свою тёплую, заставленную книжными шкафами и приборами квартиру при лаборатории, запер дверь на все засовы и первым делом усадил продрогших гостей за обеденный стол. Спустя четверть часа на клеёнке уже дымилась большая чугунная сковорода с рассыпчатой картошкой, поджаренной на постном масле с луком, стояла миска хрустящей квашеной капусты, ломти тяжёлого чёрного хлеба, выкупленного по профессорским карточкам, и заварной чайник с ароматным морковным чаем. Кира и Андрей ели так, словно не видели пищи неделю, чувствуя, как с каждым глотком горячего чая отступает ледяное напряжение последних дней.

За ужином они вкратце поведали профессору, какая страшная беда грозит стране через несколько дней в Кунцеве и во что превратится Россия через полвека, если Берия захватит власть. Целовский-старший слушал, нахмурив седые брови, затем бережно осмотрел принесённый ими резонатор, покачав головой от восхищения перед мастерством своего будущего внука.

— Костя превзошёл меня, чертяка... — пробормотал он, разглядывая через лупу компактный радиоизотопный блок питания, вмонтированный в медный корпус. — Автономный изотопный сердечник! С таким накопителем вам не нужно искать электростанцию в полевых условиях — заряда хватит ещё на три или четыре полноценных прыжка во времени! Правда, судя по нагреву кварцевого контура, после каждого скачка прибору потребуется ровно двадцать четыре часа на остывание и регенерацию. А чтобы вы не сбились с координат при возвращении, я подключу здесь, в своей лаборатории, стационарный генератор-маяк и буду подавать несущую частоту строго по расписанию.

Поужинав и впервые за долгое время выспавшись в тепле на мягких диванах в кабинете профессора, утром Кира и Андрей облачились в добытую Целовским скромную одежду сороковых годов и получили временные командировочные удостоверения сотрудников его лаборатории.

Оставался главный вопрос: как донести правду о заговоре Берии до самого Сталина, минуя всесильного наркома внутренних дел?

— Нам нужен человек, которому Сталин доверяет, но который не подчиняется ведомству Берии, — задумчиво сказала Кира за утренним чаем. — Человек, для которого слова «путешествие во времени» не прозвучат как бред сумасшедшего или шпионская легенда.

Андрей выглянул в окно на заснеженную Мясницкую, где на афишной тумбе у перекрёстка белела свежая театральная афиша, — и вдруг хлопнул себя ладонью по лбу:

— Мессинг! Вольф Мессинг! Легендарный телепат и гипнотизёр! Он же сейчас в Москве, даёт концерты для фронта, и весь город шепчется, что сам Сталин принимает его без доклада! Ему не нужно доказывать на бумаге, откуда мы пришли — он сам прочтёт наши мысли!

— ✦ —

В тот же вечер, разыскав по афише, что сеанс «психологических опытов» Вольфа Мессинга проходит в переполненном зале клуба имени Зуева на Лесной улице, Кира и Андрей дождались окончания выступления и, воспользовавшись суматохой у служебного входа, проскользнули за кулисы.

За сценой пахло пыльным бархатом кулис, дешёвой пудрой, мокрой шерстью шинелей и свежесрезанными хризантемами, которые преподнесли артисту раненые офицеры из первого ряда. Пройдя по узкому коридору, они тихо постучали в дверь с фанерной табличкой «Гримёрная».

— Войдите, пожалуйста, дверь не заперта, — раздался изнутри глуховатый, бархатный голос с мягким польским акцентом.

В тесной, скромно обставленной комнатке, освещённой одной лишь лампочкой над зеркалом в гримёрном столике, сидел невысокий худощавый человек в поношенном чёрном концертном костюме. У него была пышная, всклокоченная грива тёмных с проседью волос, крупный, выразительный нос и огромные, пронзительные, словно бездонные глаза, в которых, казалось, плескалась вековая, нечеловеческая усталость.

Увидев на пороге двоих незнакомцев в скромной одежде сороковых годов, Вольф Григорьевич Мессинг даже не удивился — он лишь устало прикрыл веки, прижал длинные, нервные пальцы к вискам и тихо проговорил:

— Не подходите слишком близко... От вас слишком сильно фонит чужим временем. Девяносто второй год? Боже правый, какая горечь и какая пустота в той Москве, откуда вы явились... Я вижу чужой флаг над Лубянкой и яд в хрустальном графине на даче. Так кто же вы?

— Мы пришли из будущего, Вольф Григорьевич, — тихо, но твёрдо сказала Кира, прикрывая за собой дверь и накидывая крючок. — Из девяносто второго года. Но из того девяносто второго года, где наша страна проиграла всё, что сейчас завоёвывает такой страшной кровью.

Мессинг медленно открыл глаза и в упор, не мигая, посмотрел сперва на Киру, затем на Андрея. Взгляд его был тяжёлым, пронзительным, словно рентгеновский луч, просвечивающий человека насквозь.

— Из будущего... — задумчиво повторил он, сцепив пальцы на коленях. — Забавно. Всякий вечер со сцены я читаю чужие мысли о письмах с фронта, о потерянных хлебных карточках и о том, скоро ли возьмут Берлин. Но впервые в жизни передо мной стоят люди, чьи воспоминания ещё не случились. Позвольте мне проверить, не искусные ли вы гипнотизёры, подосланные ко мне с Лубянки.

Не дожидаясь разрешения, Мессинг подался вперёд, протянул сухую, горячую ладонь и коснулся запястья Андрея. Лицо телепата мгновенно напряглось, по лбу пробежала глубокая морщина, а дыхание стало частым и прерывистым.

— Вижу... — глухо заговорил он, глядя куда-то сквозь стену гримёрной. — Вижу странную серую площадь... Над большим серым зданием висит полосатый флаг со звёздами. Чужие солдаты в белых касках. Унижение... Огромная, богатая страна превращена в сырьевой рудник, а её великие умы торгуют папиросами в подземных переходах... И всё это начинается здесь, в Москве, через два дня!

Мессинг отдёрнул руку, словно обжёгшись, и тяжело откинулся на спинку стула, доставая из кармана платок, чтобы вытереть выступившую на лбу испарину.

— Ответьте мне на два вопроса, молодые люди, — тихо, но властно потребовал он, впиваясь в Киру горящим взглядом. — Во-первых, почему вы пришли именно ко мне, а не пошли прямиком в Кремль? И во-вторых — скажите честно, глядя мне в глаза: если вы сломаете этот страшный ход событий, что станет со мной самим в вашей настоящей истории?

— Мы пришли к вам, Вольф Григорьевич, потому что яд на ближней даче в Кунцеве через два дня должен подсыпать человек из ведомства Лаврентия Павловича Берии, — честно ответил Андрей. — Любой наш шаг к воротам Кремля приведёт нас прямо в подвалы Лубянки,

откуда мы уже не выйдем. А вы — единственный человек в Москве, к которому Иосиф Виссарионович прислушивается без посредников и охраны.

Мессинг медленно кивнул, принимая ответ, и перевёл вопрошающий взгляд на Киру:

— А мой второй вопрос, милая девушка? Я знаю, что многие в этой стране считают меня шарлатаном или прислужником власти, хотя я всего лишь несчастный еврей, потерявший в Польше всю свою семью и пытающийся выжить среди волков. Что скажут обо мне люди в вашем настоящем девяносто втором году?

Кира посмотрела на великого гипнотизёра с искренней теплотой и тихо улыбнулась:

— В нашем девяносто втором году ваше имя стало легендой, Вольф Григорьевич. О вас пишут книги, снимают фильмы, а ваши предсказания о скором конце войны и падении Гитлера в мае сорок пятого года помнит каждый человек в России. Вы проживёте долгую жизнь, будете собирать полные залы до самой старости и останетесь для всех загадкой, которую так никто и не сумел разгадать.

На усталом, измождённом лице Мессинга впервые за весь разговор появилась тихая, благодарная и чуть грустная улыбка. Он снова прикрыл глаза, на несколько мгновений погрузившись в глубокий транс — пытаясь заглянуть туда, за грань грядущих дней, где решалась судьба страны.

— Я вижу тёмный особняк за Москвой-рекой... — прошептал он, открывая глаза. — Зелёную лампу и человека с трубкой, который никому не верит, но носит в сердце тяжёлую отцовскую рану. Я помогу вам, дети мои. Завтра же утром я пробьюсь к Хозяину и передам ему то, что увидел в ваших мыслях. Будьте готовы к полуночи: за вами придут люди, которым он доверяет больше, чем собственной тени.

— ✦ —

Слово своё Мессинг сдержал. На следующий день он прошёл в Кремль и передал Сталину то, что увидел в сознании двух странных пришельцев. Сталин, обладавший звериным чутьём на опасность и давно подозревавший, что вокруг него сгущается невидимая тень, не стал вызывать ни охрану, ни наркомвнудел. Он приказал устроить тайную встречу глубокой ночью — не в Кремле и не в Кунцеве, где каждый шаг фиксировали ищейки Берии, а в старом, неприметном замоскворецком особнячке в глухом переулке за Ордынкой, где ещё с подпольных дореволюционных времён сохранилась конспиративная квартира, известная лишь двоим самым преданным ординарцам вождя.

Ровно в полночь Киру и Андрея провели через тёмный заснеженный двор в небольшую, скромно обставленную комнату с зашторенными окнами, книжным шкафом и зелёной настольной лампой.

Скрипнула боковая дверь — и на пороге появился он.

Сталин оказался совсем невысоким, даже меньше, чем выглядел на парадных портретах, в простом сером френче без погон, с мягкими кавказскими сапогами, ступавшими по половицам почти бесшумно. Но едва он поднял голову и в упор поглядел на вошедших из-под густых, насупленных бровей своими тяжёлыми, жёлто-карими глазами, в комнате словно стало тесно от незримой, давящей силы. От этого негромкого человека исходила такая ледяная, гипнотическая мощь, внушающая одновременно и невольное уважение, и животный страх, что у Андрея мгновенно пересохло в горле.

Сталин молча прошёл к столу, раскурил погасшую трубку, выпустил густое облако сизого дыма и тихо, с отчётливым грузинским акцентом произнёс:

— Мессинг рассказал мне удивительную сказку. Про девяносто второй год, про яд на моей даче и про то, что мой ближайший соратник продаст Победу за американские кредиты. Говорите. У вас есть десять минут, прежде чем я решу, кто вы — сумасшедшие или вражеские агенты.

Стараясь унять дрожь в голосе, Андрей шагнул вперёд и выложил на стол всё: и про отравленный напиток, который через два дня должен подменить на ближней даче завербованный капитан охраны Дроздов, и про Потсдамскую сдачу Восточной Европы, и про хищнический «План Маршалла», превративший великую страну в сырьевую колонию, где в космос первыми полетели американцы. Кира молча положила на зелёное сукно привезённые из 1992 года колониальные центы, фотографии чужого флага над Лубянкой и схему резонатора Целовского.

Сталин слушал, не перебивая. Ни один мускул не дрогнул на его рябоватом, усталом лице. Когда Андрей замолчал, вождь долго смотрел на разложенные перед ним бумаги и монеты, затем медленно покачал головой:

— Бумажки напечатать нетрудно. Фотографии подделать — ещё проще. А предателей вокруг меня всегда хватало, я в них и без пришельцев из будущего разбираюсь. Не верю я в ваши сказки про машину времени, товарищи.

Он отвернулся к зашторенному окну, заложив левую руку за борт френча, и тихо, словно проверяя их на прочность, проговорил:

— Впрочем... ежели вы и впрямь умеете шагать сквозь годы и можете сделать всё, о чём рассказываете...

Сталин вдруг осёкся. Плечи его чуть опустились, а когда он снова повернулся к ним, в его суровом голосе зазвенел металл, за которым скрывалась такая глубокая, нечеловеческая отцовская боль и страдание, что у Киры болезненно сжалось сердце. В этот миг перед ними стоял не всесильный вождь половины мира, а постаревший, измученный войной отец, потерявший первенца:

— Достаньте мне моего сына Якова, — глухо, почти шёпотом приказал Сталин, впиваясь в них тяжёлым, горящим взглядом. — Вытащите его из немецкого плена и верните живым. И сделайте это так, чтобы ни одна живая душа — ни в Берлине, ни в Москве, ни тем более Лаврентий — об этом не узнала. Спасёте Якова — тогда я поверю каждому вашему слову и сам раздавлю гадину. А нет... — он коротко махнул трубкой в сторону двери, — значит, пустая вы болтовня.

В тихой замоскворецкой комнате повисла звенящая тишина.

— ✦ —

Вернувшись глубокой ночью на Мясницкую, Кира и Андрей разбудили Андрея Викентьевича Целовского-старшего. Узнав, какое условие поставил вождь, старый физик лишь крякнул, натянул поверх ночной рубашки тёплый халат и немедленно спустился с ними в свою подземную лабораторию.

Прежде чем запускать генератор, все трое уселись за старый чертёжный стол под зелёной лампой, разложив перед собой потрёпанную карту Германии и подробный план-схему окрестностей Ораниенбурга, который за полчаса до их прихода доставил в лабораторию молчаливый ординарец из Замоскворечья — вместе с небольшим фибровым чемоданом.

— Прыгать вслепую в лес под Берлином нельзя, — твёрдо сказал Андрей, водя карандашом по схеме концлагеря Заксенхаузен. — Вокруг лагеря три ряда колючей проволоки под током, минные поля и вышки с пулемётами. Снаружи мы внутрь не пробьёмся. Значит, Андрей Викентьевич, вам придётся навести рубиновый луч с ювелирной точностью — **прямо внутрь периметра**, в пустующий ночью угол санитарного барака у особого сектора «А», где немцы держат важных пленных, включая Якова Джугашвили.

— Задача не из лёгких, но выполнимая, — пробормотал Целовский, поправляя очки и прикидывая углы склонения на логарифмической линейке. — Координаты лагеря в сорок третьем году мне известны до метра. Но как вы там продержитесь целые сутки, пока изотопный сердечник в вашем резонаторе будет набирать заряд для обратного прыжка?! Ведь вас схватят при первой же проверке!

— Не схватят, если мы явимся туда не как беглецы, а как хозяева, — тихо усмехнулась Кира, открывая присланный из Кремля фибровый чемодан.

Внутри лежали безупречно выглаженный тёмно-серый мундир гауптштурмфюрера медицинской службы СС, строгий женский костюм, белые врачебные халаты, стетоскоп и папка с подлинными трофейными бланками берлинского Главного санитарно-гигиенического управления, скреплёнными гербовыми печатями со свастикой.

— Я с университетских лет свободно говорю по-немецки — без акцента, на берлинском диалекте, ещё со времён стажировок и чтения немецкой технической литературы, — пояснил Андрей, прикидывая на себя мундир. — По легенде я — доктор Отто Рихтер, инспектор из берлинского Института гигиены, прибывший с внеплановой ночной проверкой в связи со вспышкой сыпного тифа в соседних бараках. А Кира — моя ассистентка и стенографистка фройляйн Клара Вебер.

— А мой немецкий куда скромнее, — добавила Кира, улыбнувшись. — Но по легенде строгая берлинская стенографистка вообще не обязана разговаривать с лагерной охраной — она лишь молча записывает показания в журнал и носит саквояж с инструментами, в котором как раз и спрятан наш резонатор!

— Блестяще! — одобрительно кивнул Целовский-старший. — Под предлогом срочного карантинного осмотра вы потребуете отвести вас в особый барак к старшему лейтенанту Джугашвили, объявите, что у него подозрение на опасную инфекцию, и прикажете перевести его в пустой бокс изолятора под ваш личный надзор. Там вы и переждёте сутки, пока прибор не будет готов к возвращению!

Профессор поднялся, подошёл к латунным шкалам стационарного генератора-маяка и строго посмотрел на обоих поверх очков:

— Изотопный сердечник в вашем переносном приборе полностью восстановился, заряда на прыжок в Германию и обратно хватит с избытком. Но запомните главное правило: после материализации в сорок третьем году прибору понадобится ровно двадцать четыре часа на регенерацию. Раньше этого срока вы не сможете включить обратный луч. А ровно через сутки — завтра в полночь по московскому времени — я здесь, в лаборатории, запущу несущую частоту маяка на пятнадцать минут. Если вы успеете активировать резонатор в это окно, луч вернёт вас вместе с сыном вождя прямиком сюда, на этот самый ковёр. Опоздаете хоть на минуту — маяк выключится, и вы останетесь в руках гестапо.

Кира и Андрей переоделись, спрятали резонатор на дно медицинского саквояжа под стерильными бинтами и сверили стрелки на командирских часах. Встав в центр лаборатории, они взялись за руки, и Андрей повернул медный лимб до упора. Воздух загудел, ослепительный рубиново-золотой луч ударил из кварцевого глазка — и военная Москва сорок четвёртого года растворилась в сияющей мгле.